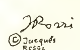


Сергей Снегов

ЯЗЫК, КОТОРЫЙ НЕНАВИДИТ



ПРОСВЕТ



Сергей Снегов

ЯЗЫК, КОТОРЫЙ НЕНАВИДИТ

МОСКВА «ПРОСВЕТ» 1991

ББК 81.2
С 53
УДК 88.00.864.5

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ

Малое издательство «Просвет» разработало и осуществляет издание серии книг под названием «Преступление и наказание в мировой практике». В серии выйдет не менее двадцати книг, рассказывающих об истории пенитенциарных систем всех времен и народов. Изучая их, читатель убедится, что все познается в сравнении.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СЛОВО ЕСТЬ ДЕЛО

•

РАССКАЗЫ

СЛОВО ЕСТЬ ДЕЛО

Кто-то нудно плакал надо мной молодым жалким голоском. Плач начался вчера вечером — наверное, сразу, как привезли из суда — и продолжался уже ровно двадцать часов; было по-человечески удивительно, откуда берется столько влаги на слезы. Чужое рыдание выводило меня из себя. Я метался по узкой каморке в «Пугачевской» башне Бутырской тюрьмы и, задирая лицо в потолок, ругался, кричал и требовал перестать — нельзя же так по-бабьему распускаться! И мне нелегко, и я после суда, тоже выслушал чудовищно несправедливый приговор, ложь на лжи, а не суд, но ведь держусь же... Перестань, будь ты проклят, своим плачем ты сводишь с ума! Но парень, рыдавший в камере надо мной, не слышал ни моих просьб, ни проклятий. Он слышал только свое рыдание, он выплакивал свое горе, — чужое горе, которое он усиливал своими слезами, до него не доходило. Как громко я ни старался орать, что и у меня тоже несчастье — десять лет объявленного мне ни за что, ни про что тюремного заключения.

— Лучше уж умереть, чем так надрывать горло, — сказал я себе в отчаянии. — И точно, почему бы не умереть, жизни больше не будет! Десять лет мне не вынести! А и вынес бы, так незачем.

Эта мысль — покончить расчеты с жизнью — явилась мне уже в тот момент, когда я закричал на своих судей: «Вы лжецы, ваш приговор — ложь, ложь, ложь!», и рванулся к ним, а два бойца охраны завернули мне руки за спину и придавили голову к коленям, а потом вытащили из судейской камеры в коридор и еще долго волокли по бесконечному лефортовскому коридору, пока не бросили в одиночку — тут можешь

разоряться, сколько хватит дурного голоса! Но там я уже не орал и не проклинал судей, а молчаливо метался на койке и в бешенстве кусал подушку, чтобы дать какой-то выход душившему меня отчаянию. Вот тогда и появилась мысль: а не прервать ли так неудачно скривившуюся жизнь? Не натянуть ли нос злобной судьбе — и полный расчет! Но в камере все было привинчено и туго закреплено — никакого способа самоумертвиться, да и времени не стало — вызвали, посадили в машину багровой окраски, грузовую, закрытую, с камуфлирующей — чтобы не смущать москвичей на улицах, — надписью на боку «Мясо», и воротили в Бутырку, но не в старую камеру, а сюда, в одну из комнаток знаменитой «Пугачевской» башни — в ней, по слухам, сидел сам Пугачев.

И под непрерывный плач верхнего соседа я с ожесточенной деловитостью стал выяснять в новой камере, годится ли она для окончательного решения жизненной проблемы. Камера была маленькая, на три койки, с высоким потолком, с окошком, защищенным снаружи щитком-"намордником".

Я подпрыгнул на койке, уцепился за решетку окна, прутья держали хорошо — каждый вполне годился послужить за классический «висельный крюк». Но веревки не было, простыни тоже отсутствовали, а из трухлявых одеял надежного жгута не скрутить, это понималось сразу. И тут я увидел длинное «вафельное» полотенце, брошенное на отведенную мне койку. Ощупав полотенце по всей длине, я понял, что судьба наконец улыбнулась мне — правда, издевательски-злобной ухмылкой. Если ночью разорвать полотенце надвое, то из двух половинок можно скрутить прочный и длинный жгут, хватит завязать двойным узлом на решетке и смастерить просторную петлю, чтобы в нее пролезла голова. Я проверил, как полотенце обхватывает шею. Оно обхватывало с избытком, на планируемую петлю можно было положиться. Теперь оставалось подвести мысленно итоги существования. Я забегал по камере, торопливо вызванивая в мозгу, под аккомпанемент чужого рыдания с потолка, нечто вроде поэтического завещания — прощальные стихи. Минут через десять я уже вслух перебивал мрачным и решительным пятистопным ямбом чужое рыдание:

Как бабочка на пламенные свечи
Летит неудержимо и нелепо
И, обгорев, почти без крыл, навстречу
Огню последнему вновь рвется слепо,—
Так я, измученный и непокорный,
Раздавленный чужих людей делами,
Кружусь в бесчувствии вкруг мысли черной,
Бросаясь в эту мысль, как в пламя!

Закончив стих, я присел на койку. Меня затуманила безмерная усталость. Покончить с жизнью было, конечно, неплохо. Но ужасало, что для этого нужны энергичные действия — рвать на половинки крепкое полотенце, крутить жгут, лезть к оконной решетке, прилаживать к шее петлю...Смерть перестала привлекать меня. Я с ней как бы рассчитался прощальными стихами. Смертельно тянуло спать. Я закрыл глаза и повалился головой на подушку.

Меня пробудил скрип двери. В камеру вошел мужчина с вещевым мешком в руках. Он остановился посередине камеры и хмуро уставился на меня. Он был среднего роста, средних лет, очень худ, очень темнокож лицом, с очень — до болезненного впечатления — запавшими глазами. Цвета их в яме глазниц ни тогда, ни после я разглядеть не мог, они, вероятно, не отличались цветом от кожи лица. Я глупо спросил:

— Вы кто?

— Дебрев, — ответил он и поправился: — Это фамилия — Дебрев. А вообще я арестант, как и вы, и осужден по той же статье, как ваша, и не сомневаюсь, на тот же срок.

Он кинул мешок с вещами на свободную койку и присел. Я сказал:

— Меня осудили на десять лет тюрьмы, с последующим поражением в правах на пять лет. Осудили неправильно, несправедливо, весь приговор — клевета! Я так и крикнул моим судьям, что они лжецы.

— А они что?

— Скрылись в соседней комнате, а меня скрутила охрана.

— Естественно. В ярости еще могли кинуться на них, случаи бывали. Какому судье охота попадать под кулак

осужденного? Правда, вы не из геркулесов, но все же... Кто вас судил?

— Главный судья — Никитченко, заседатели Горячих и Дмитриев.

— Серьезный народ. Военная коллегия Верховного Суда СССР. Статья 58-я, пункты 8 через 17, да еще 10 и 11. Верно?

— Верно. А почему вы меня спрашиваете о статьях?

— О чем же нам еще разговаривать в камере? Закона от первого декабря 1934 года не применили? Впрочем, раз вы тут, значит, нет.

— В обвинительном заключении был закон от первого декабря, а в приговоре не упоминалось.

— Пощадили вас. По молодости, очевидно. Вам сколько?

— Двадцать шесть. Вы считаете, что меня пощадили? Взяли совершенно невинного человека на десять лет...

Он вдруг впал в раздражение.

— Не стройте из себя младенца! В двадцать шесть лет пора покончить с детской наивностью! Закон от первого декабря 1934 года принят после убийства Кирова и предусматривает только одно наказание — смертную казнь. Если бы он оставался в вашем приговоре, ваш прах уже везли бы в крематорий.

Землистое лицо Дебрева сердито дергалось. Мне показалось, что он беспричинно возненавидел меня. Я сказал, сколько мог спокойней:

— Вы, очевидно, хорошо разбираетесь в уголовном кодексе?

— И не только в уголовном, — буркнул он. — Я по старой профессии — юрист. Правда, уже давно на партработе... А с вашими судьями когда-то приятельствовал, что, впрочем, мне не помогло, скорей — наоборот.

Мы с минуту помолчали. Заключенный наверху рыдал на той же надрывной ноте. Я попросил:

— Если вы юрист, то расскажите, что означают мои статьи. Мне объяснили, но не уверен, что правильно понял.

Он оживился.

— Надо понимать, надо! Теперь эти пункты пятьдесят восьмой статьи будут сопровождать вас всю дальнейшую жизнь, станут важнейшей вехой вашей биографии. Итак, пункт восьмой — террор. Но добавленный к нему пункт

17 устанавливает, что лично вы ни пистолета, ни ножа, ни тем более бомбы в руки не брали, а только сочувствовали террористам, были, стало быть, их идейным соучастником, когда они готовили покушения на наших испытанных вождей...

— Не было этого! — крикнул я. — Никогда не было!

— Надо было судей убеждать в своей непричастности к террору, а не меня. Продолжаю. Пункт десятый гласит, что вы болтун и высказывали антисоветские мнения другим людям, а о наличии таких ваших слушателей категорически свидетельствует пункт одиннадцатый, утверждающий, что организация трепачей, в количестве не менее двух человек, вела рискованные разговоры, в смысле — занималась антисоветской агитацией. И одним из таких трепачей были вы. Теперь ясно? Хороший это пункт — десятый в 58-й статье. За любое сомнительное словечко в любой болтовне — тюрьма, вот его смысл. А для крепости, чтоб не выбрались скоро на волю, еще пункт восьмой навесили — тяжкая гиря на шею.

— Вы издеваетесь надо мной, Дебрев.

— Не издеваюсь, а разъясняю реальное положение, — холодно отпарировал он. — Уже доложил вам — судьи ваши народ серьезный и ответственный, знаю это по личному знакомству с ними. Уж если припечатают, так надолго... Не всем сносить эту печать... Вы, правда, по-современному, почти юноша. Хватит жизни и после заработанной десятки...

Я в ярости заметался по камере.

— Никакой десятки, слышите, Дебрев! Завтра напишу заявление и потребую немедленного пересмотра приговора. Меня освободят, увидите!

Он невесело покачал головой.

— Юноша, утешаете себя несбыточным мечтанием. Заявление от вас примут только в том случае, если вы докажете, что вовсе не тот человек, которого судили, и фамилия ваша другая, и потому не хотите принимать незаслуженно чужой кары. Лишь в этом единственном случае вам дадут бумагу на заявление.

Я воротился на свою койку и, подавленный, некоторое время молчал. Дебрев показал рукой на потолок.

— И давно он?

— Когда меня привели сюда, он уже надрывался. Почти сутки без перерыва.

Дебрев вслух размышлял:

— По голосу — молод. Ваших лет. Может, года на два-три постарше. Хорошо, что слезами дал выход душе. Молчаливая ярость может подтолкнуть на неразумные поступки.

— Неразумные? — переспросил я горько. — Какой вообще имеется разум во всем, что совершается в тюрьмах? Безумие, массовое безумие, всеобщее политическое умопомешательство!..

— А вот этого говорить не надо. Не думайте, что у власти нет кары похуже десяти лет заключения. Говорю еще раз — вас пощадили, сняв закон от первого декабря. А будете твердить насчет политического умопомешательства... В общем, держите себя в руках. И с незнакомыми не откровенничайте, а я ведь вам незнаком.

Мы еще помолчали. Парень наверху сделал передых в плаче. Но, помолчав минут пять, снова ударился в слезы. Дебрев с тоской сказал:

— Господи, до чего тошно! Хоть бы скорей на этап. Юноша, расскажите о себе — кто, что, откуда и почему?

— Почему бы вам не рассказать о своей жизни? Вы больше прожили, ваша биография интересней.

Он хмуро усмехнулся.

— Сложней, а не интересней. Запутанная, неровная, полная неожиданностей... Столько неоправданных поступков, столько неразумного. В общем, типичная жизнь людей моего круга и моего поколения... Вам не все понять, у вас иная жизненная дорога — и проще, и справедливей. Говорите, я слушаю.

Я не был уверен, что моя жизнь проще чьей-либо иной, а недостаток справедливости в ней ощущал и до того, как очутился в тюрьме. Но чтобы хоть как-то заполнить томительное время в камере, рассказал, что жил в Ленинграде, работал инженером на приборостроительном заводе, летом прошлого года внезапно арестовали, несколько дней просидел в ленинградской тюрьме, потом привезли в Москву. Шесть месяцев на Лубянке допытывались, не говорил ли я чего плохого о вождях партии и правительства и не являюсь ли членом антисоветской молодежной группы в составе трех человек, и в ней я — руководитель. Потом — четыре месяца в Бутырке без единого допроса, потом неделя в Лефортово, потом суд, а после суда снова в Бутырки. Было свидание с женой

после окончания следствия. Жена сказала, что дело мое направлено в суд, но суд не принял его за недоказанностью преступления — возможно, переследствие, но всего вероятней, скоро выпустят на волю. Новых допросов не было, я ожидал освобождения. Но что-то вдруг переменилось. Суд снова затребовал отклоненное дело и там, где в конце прошлого года не находил вины, вину внезапно обнаружил — лживую, неправдоподобную, недоказанную — и покарал за эту выдуманную вину, за несуществующее преступление самым тяжким наказанием, какое можно придумать...

— Все же не самым тяжким, закон от первого декабря к вам не применили. А почему сегодня нашли вину там, где вчера ее не видели, могу объяснить. Произошло важное событие, о котором вы еще не знаете. В феврале и марте состоялся пленум Центрального Комитета, Сталин докладывал о троцкистских двурушниках... И такие постановления!.. Все, что было до сих пор, все эти исключения из партии, проработки, осуждения, публичные покаяния, отмежевания... В общем, нынышний, 1937 год станет особенным в нашей истории, принимаются посерьезному, самым жестоким способом за тех, кого понадобилось убирать... Железной метлой, ежовыми рукавицами, вилами и топором... Радуйтесь, юноша, говорю вам, радуйтесь, что отвели закон от первого декабря! Ибо, раз уж нашли вину там, где ее вчера не видели, то могли...

Он прервал свое желчное объяснение. Загремели засовы, отворилась дверь, в комнату ввели нового человека. Он был высок, толст, стар, передвигался прихрамывая — остановился у дверей, схватился рукой за сердце, тяжело задышал.

— Ты?— потрясенно спросил Дебрев. — Тебя — сюда?

— Я вас не знаю, Дебрев,— придушенным голосом ответил новый заключенный.— Отныне и на всю остальную жизнь мы незнакомы. Не смейте говорить со мной, не смейте глядеть на меня! Я вам приказываю, слышите!

Новый заключенный тяжело опустился на последнюю свободную койку, бросил мешочек с вещами на пол, закрыл глаза — мерно покачивался всем туловищем, как бы в ритм неслышным мне звукам, либо медленно бредущим мыслям. Я переводил взгляд с него на Дебрева.

Дебрев при появлении нового арестанта вначале отшатнулся, потом весь сжался, теперь с ногами сидел на койке, прижимаясь спиной к железной спинке — поза, которую и ребенок долго не выдержит, — и не отрывал тусклых глаз в глубоких глазницах от согнувшегося нового соседа. Пожилой арестант внушал Дебреву ужас, это понимал даже я. И я ожидал драматического продолжения, когда оба соседа прервут затянувшееся молчание. У них, по всему, были свои зловещие счеты — я даже догадывался, какие.

Пожилой арестант, не раскрывая глаз, сказал:

— Молодой человек, сколько вам дали? Десять, с последующим поражением в правах?

— Да, десять с поражением,— сказал я.

— Не предупреждали, когда на этап?

— Не предупреждали.

— Да, сейчас не предупреждают — берут и выводят. Берегут слова, слова стали дороги, а дела подешевели, делами не экономят. Давно, давно предвидели: слово станет плотью. Только думали, что слово, воплощенное, явится благодатью и истиной, а оно обернулось хвостатым страхом, двурогим ужасом, багровым призраком гибели...

— Не понимаю вас,— сказал я. Мне казалось, что новый арестант не в своем уме.

Он поднял голову, резко повернулся ко мне, распахнул веки. Я и вообразить не мог, что так бывает: на морщинистом, старчески-сером лице светили очень яркие, очень голубые, очень живые глаза. Они разительно не совпадали со всем обликом этого пожилого человека. Он засмеялся так странно, словно не он, а я говорил что-то несообразное. В отличие от молодых глаз, голос у него отвечал облику — старчески-тусклый.

— Не понимаете, верно,— подтвердил он.— И не один вы. Миллионы людей растерялись и запутались. Ибо произошла самая неожиданная, самая невероятная революция в нашей стране — не классовая, не промышленная, а философская. В самом материалистическом государстве мира воспрянул и победил идеализм.

Он остановился, ожидая возражений. Дебрев не менял своей напряженной позы. Пожилой арестант продолжал:

— Да, торжество философии идеализма, иначе не определить. Мы в молодости учили: бытие определяет

сознание, экономика порождает политику. И вообще — производственный базис, производственные отношения, право, идеология... И где-то там, не самом верху, на острие пирамиды — слово, как зеркало реальной жизни. А слово вдруг стало сильней жизни, крепче экономики, оно не зеркало, а реальный властитель бытия — командует, решает, яростно торжествует! Дикое царство слов, свирепая империя философского идеализма! Кто вы такой, молодой человек? Враг народа, так вас сформулировали. Всего два слова, а вся ваша жизнь отныне и навеки определена этими двумя словами — ваши поступки, ваши планы, ваши творческие возможности, даже любовь, даже семья. Троцкист, бухаринец, промпартиец, уклонист, вредитель, кулак, двурушник, соглашатель... Боже мой, боже мой, всего десяток словечек, крохотный набор ярлычков, а бытие огромного государства пронизано ими, как бетонный фундамент железной арматурой! Какое торжество слова, даже не слова — словечка! Мы боролись против философского идеализма за грешную материю жизни, а нас сокрушил возродившийся идеализм — самая мерзкая форма идеализма, низменное, трусливое поклонение словечкам. Не упоение высоким словом, а власть слова лживого, тупого — куда нереальней того, идеального, против которого мы, материалисты, восставали!

— Зачем вы мне это говорите?— спросил я.

— Да, зачем?— повторил он горько.— Впрочем, нет. Вы впервые судимы?

— Надеюсь, и в последний. А когда отменят несправедливый приговор, так стану опять несудимым.

— Дай вам бог! Только до этого не скоро. А пока вам предстоит этап в какую-нибудь далекую тюрьму, где будете отбывать заключение. Вы на этапах еще не бывали, а я их столько прошел! И сейчас с этапа — по доносу мерзавца, которого считал другом. Привезли, заклеймили новыми карающими словечками и опять увезут. Одно заключение сменят на другое. Так вот — этап. На многих командуют блатные. Вы для них «пятьдесят восьмая», «враг народа», а они считают себя друзьями народа — аристократия по сравнению с вами. И ненавидят нас — обращение отвечает наклеенным на нас ярлыкам. И с радостью при случае поиздеваются над вами, облагораживают себя тем злом, которое вам

причинят — отомстили, мол, врагу народа за то, что он народу вредил. Бойтесь уголовников, молодой человек. Говорю по собственному опыту, можете мне поверить. И на помощь таких же, как вы, жертв всесильного слова, не надейтесь — заклейменные ярлыком «враг народа» вмиг становятся трусливы. Своей трусостью, своим пресмыкательством перед теми, кто не заклеймен, стараются доказать свою невиновность. Вот вам душевный совет: заявитесь в камеру, где уголовников много, сейчас же вещевой мешок на стол,— половину — вам, половину — мне. Все же гарантия, что не изобьют и не прирежут. А теперь, простите — спать. Трудный был день сегодня, завтра будет еще трудней.

Он повалился одетый на койку и почти сразу заснул. Дебрев осторожно спустил ноги на пол и принял нормальное сидячее положение. Арестант в верхней камере замолчал, вероятно, тоже заснул.

Ни Дебрев, ни я не засыпали. Он сидел, угрюмый, о чем-то молчаливо размышлял, а я думал о приговоре, о семье, оставленной на воле, о неведомой далекой тюрьме, где предстояло отбывать заключение. И еще я думал о всевластии слов, с такой горечью объявленной пожилым человеком, лежавшим на соседней койке. Я вспомнил, что Мопассан когда-то писал, будто вся человеческая история для него это набор сменяющих одна другую хлестких фраз. «Я не мир к вам на землю принес, но меч», «Кто ударит тебя в левую щеку, подставь правую», «Пришел, увидел, победил!», «Еще одна такая победа и я потеряю все мое войско», «Мертвые сраму не имут», «Здесь я стою и не могу иначе», «Если в этих книгах то, что в Коране, то они не нужны; а если то, чего в Коране нет, то они вредны», «Все погибло, государыня, кроме чести!», «Париж стоит обедни», «Пусть гибнут люди, принципы остаются!», «Государство — это я!». Много, очень много фраз, ставших вехами истории, прав Мопассан. Но всевластие слова? Слово из зеркала бытия ставшее организатором и командиром бытия? Не верю! Не могу, не должен поверить! Ибо страшно жить в мире, где жизнью командует слово, а не дело. Прав, тысячекратно прав Фауст, отвергнувший евангельское «Вначале было Слово». Он сказал: «И вижу я — Деяние вначале бытия». Да, именно так, деяние, а не слово! Слово как было, так и остается зеркалом совершившегося действия.

Понемногу от философских терзаний я обратился к ожидающей меня действительности. Уже не первый, этот пожилой сокамерник предупреждал меня об опасностях встреч с уголовниками. Другие расписывали их зверства даже конкретней и страшней. Я ничего не мог с собой поделать, я содрогался при мысли о встрече с ними. Нет, я не боялся их! Я боялся себя. Боялся, что унижу себя слабостью, опозорюсь пресмыкательством перед грубой силой. За шесть месяцев на Лубянке, четыре месяца в Бутырках я так много открыл лжи и трусости у самых, казалось, уважаемых людей, так часто и беспощадно узнавал, что деятели, испытавшие царские кнуты и тюрьмы, прошедшие с честью гражданскую войну, вдруг превращались в отвратительных слизняков, чуть на них замахивался кулак следователя-сопляка, что авансом потерял доверие и к себе. Вокруг меня все извивалось, клеветало, писало доносы, судорожно цеплялось за жизнь — откуда было мне взять уверенности, что и я в трудную минуту не окажусь таким же? Юнец, рассматривавший жизнь сквозь страницы прочитанных книг — слова, горы слов, Монбланы мало связанных с жизнью фраз — мог ли я оказаться лучше их, творивших эту жизнь? Реальную жизнь, исторические дела, а не хлесткие фразы, что бы ни твердил этот старик о нынешнем всевластии слов, командующих делами. Я видел нож, сверкнувший мне в глаза в темноте, и боялся ножа. А раз уж остался жив, то хотел жить, чтобы ночью не мычать от стыда за прошедший день, не кусать в отчаянии руки, не бить себя по щекам в молчаливом ожесточении.

Нет, думал я, нет, в одном он прав: глупо вступать в борьбу с бандитами, если нет уверенности, что не струсишь и не покоришься их измывательству. Он советует откупиться и отстраниться от них. Тоже трусость, лишь маскирующаяся под благоразумие, но хоть избежишь издевательств над собой, хоть видимость достоинства сохранишь. В моем нынешнем положении и это благо.

В камеру вошел корпусной с двумя охранниками. Корпусной ткнул в мою сторону пальцем.

— С вещами на выход! Быстро!

Дебрев вскочил с койки и подошел к корпусному. Лицо его исказилось от волнения, голос дрожал:

— Прошу вас, переведите меня в другую камеру. Я не могу здесь оставаться.

Корпусной, пропуская меня вперед, оглушил голосом, как дубиной:

— Где посадили, там и сидеть! Здесь тюрьма, а не гостиница!

Я снова сидел в крохотной кабинке красного фургона с надписью «Мясо» на бортах. В фургоне таких кабин было, наверное, с десяток — и каждая глухо отгорожена от других. Фургон долго мчался по ночным улицам Москвы — пересыльная тюрьма находилась, по всему, далеко от Бутырок. Потом дверка кабины раскрылась, и охранник закричал:

— Скорей! Ноги в руки, живо!

Я пробежал по тюремному дворику, потом по длинному коридору. Другой охранник открыл дверь в камеру и, не дожидаясь, пока я пройду, с силой толкнул меня в нее — очевидно, надо было срочно разгружать фургон с арестантами и сделать это так, чтобы один арестант не увидел другого — размещали по разным камерам.

Я споткнулся, мешок мой полетел на пол. Я ползал по заплеванным доскам, собирая свое рассыпавшееся нищее богатство, потом выпрямился и оглянулся. Камера была велика и плотно населена, но лишена порядка. Собственно, порядок в ней был, но тот, о котором еще Руссо говорил, что он проистекает из права сильнейшего. Левый угол камеры, добрую ее треть занимали четыре человека, на остальной площади умещалось сорок. Один из четырех вонзил в меня крохотные, тусклые, как у свиньи, глаза и непререкаемо прохрипел:

— Пятьдесят восьмая, десятка и пять по рогам!

Другой поддержал:

— Точно, фраер! Густо сопля на этап пошла.

Я понимал, что я, в самом деле, фраер, то есть честный, работящий, полезный обществу человек, — гусь, назначенный к тому, чтоб его облапошивали умелые и наглые люди. Но легче от понимания мне не стало. Исчерпывающая оценка уголовника придавила меня, как приговор. Я пригнул голову и протиснулся в гущину людей. Мне нехотя очистили узкую полоску, одну доску нары. Я сунул под голову мешок, вытянулся на боку и унесся в мир фантазий. Две недели назад, еще до суда, я стал переделывать вселенную по-новому, более совер-

шеиному плану, чем ее иаспех создавал самоучка-господь. Это был кропотливый труд, приходилось от всего другого отвлекаться, чтоб дело шло. И самое главное — иадо было не думать о иеправедном суде, о жестоком приговоре, о загубленной жизии, даже о том, как разберутся Дебрев с философствующим стариком...

Двери камеры отворялись, к иам впихивали все иовых людей, по телам, простертым на сплошиых иарах, пробегала судорога — новеньким очищалось жизнениое простраиство под тусклой тюремиой лампочкой. Было жарко и душио, грязиые тела заливал пот. Кто-то громко чесался, кто-то с визгом зевал, кто-то шепотом матерился, кто-то со змеииым шипом отравлял воздух — все было, как должио было быть в этапиой камере.

Потом два арестанта из тюремиой обслуги виесли дымящееся ведро пшениой балаиды — густого, иевкусного, желаиного супа. Никто около меня ие шевельиулся иа иарах. Четыре блатных лениво подошли к ведру, поиюхали струящиеся из него пары, поболтали в ведре черпаком.

— Локш! — изрек одии.

— Баланда как баланда! — подтвердил второй.

— Оставим на после? — предложил третий.

— Порубаем! — решил четвертый.

Оии, ие торопясь, вылавливали в пшенной болтушке следы картошки, мясные прожилки и что-то еще, чего я ие разобрал. И когда они удалились к себе с полными мисками, мие показалось, что жидкий мясной запах, исходивший от ведра, стал еще жиже и приглушеиией.

— Лопай, пятьдесят восьмая! — великодушио разрешил один из уголовииков.

Очевидно, только этого разрешеиия и ожидали — камера с грохотом подиялась иа иоги. К ведру пробивались, ведро захватывали друг у друга. Костлявый, страшиоватый человек, выкатывая полубезумиые глаза, иадрывно орал:

— Товарищи! Что же получается? Давайте же порядок установим.

Ои так увлекся криком, что, как и я, ие добыл себе супа. Грустный, я стоял перед опустевшим ведром и смотрел на висевший сбоку черпак. Суп, вероятно, был вкусеи. Я поплелся на свою доску и пожаловался соседу — пожилому усталому человеку, так и не поднявшемуся с иары.

— Почему столько беспорядка? В других камерах имеются старосты, люди получают еду по очереди.

Он равнодушно ответил:

— И у нас староста — вон тот высокий. Только что он может? Распоряжаются блатные, его никто не слушает.

Я смотрел на уголовников. Четыре человека — почтительная пустота отделяла их от нас — отставили чуть тронутые миски и уплетали свежий хлеб, мясо и масло. На всю камеру шелестела жестяным шумом сдираемая с колбас кожура, глухо всхлипывали всасываемые одним вдохом яйца, сухо трещало печенье. Потом они завалились на спину — махорочный дух заволок их, как маскировочная завеса. С тяжелым сердцем я отвел от них глаза. Это была мучительная загадка, я не мог ее решить. Их было вдесятеро меньше, чем нас, мы могли, навалившись, мгновенно растереть их в пятно — как же они захватили над нами власть? Неужели тот старик прав и все мы стали реально ничтожествами, чуть нас заклеймили лживыми названиями? Неужели клеймо, несколько словечек — так всевластны?

Я высказал соседу свои сомнения. Он испугался.

— Что ты! Что ты! Даже не думай об этом. Знаешь, что нам грозит, если мы возьмемся за них? Тюремное начальство не помилует.

Я возразил с тяжелым недоумением:

— Нас ни за что покарали самым тяжким наказанием, какое знает кодекс. Чем еще могут нам пригрозить?

Он горячо зашептал:

— Не говори так, не говори! Нас осудили неправильно, и мы должны так держаться, чтобы нам поверили. А кто поверит, что мы невинны, если мы что-то в тюрьме организуем?

Я не стал спорить. Мысли мои путались. Мир двигался мимо меня на голове, и я терзался, стараясь уловить в его движении хоть какой-нибудь смысл. Я был горячий сторонник нашей власти, а моя власть кричала мне в лицо: «Гад!» Бездействие перед подлостью и лицемерием возводились в достоинство. Этого достоинства — молчать, терпеть, трястись, примиряться с любой мерзостью — почему-то требовали от нас, чтобы признать нас снова хорошими. Я не понимал, кому это надо? Зачем это надо?

Я расстелил на доске полотенце и выставил на него полученные перед этапом дары с воли — ветчину, сыр, сладкие сухари. Я знал, что это — последняя вкусная еда в моей жизни, десять лет тюремного заключения не поездка в дом отдыха. Отныне будут заботиться не о процветании моем, а, может, только о том, чтобы я не зажился на свете.

— Ешьте, — сказал я соседу.

Мы запивали еду холодным кипятком. И вдруг кусок стал у меня комом — что-то зловещее надвинулось из-за спины. Я испуганно обернулся. Все тот же осипший уголовник, раз уже обративший на меня внимание, стоял у наших нар, широко расставив ноги и засунув руки в прорези брюк, где нормально полагалось быть карманам.

— Жуешь? — осведомился он мрачно.

— Жую,— признался я, оробев от неожиданности.

— Не вижу заботы о живом человеке,— заметил он внушительно.— Порядок знаешь? Долю надо выделить. Другие учитывают — видал, сколько навалили нам на ужин?

— Я не возражаю, садитесь, пожалуйста,— сказал я поспешно.

— А я сыт,— ответил он равнодушно.— Значит, так — тащи свою съемную лавку к нам, там разберемся. И барахлишко прихвати — посмотрим, чего тебе оставить.

Я понимал, что надо поступить именно так, как он приказывал. Этого требовали, по разъяснению того старика, моя безопасность, достоинство покорности, воспитываемое во мне палкой. Но меня охватило отвращение к себе, к камере, ко всему свету. Я только начинал жить и уже ненавидел жизнь. Если бы вчера попалось не полотенце, а настоящая веревка, с каким облегчением я бы покончил все счеты с жизнью! Нет, почему я с таким ужасом думал о грозящем мне ноже? Сейчас я жаждал его.

— Не дам! — сказал я злобно.

— Не дашь? — изумился он.— Ты в своем уме, фраерок?

— Не дам! — повторил я, задыхаясь от ненависти.

Он овладел собой. Колено его вызывающе подрагивало, но голос был спокоен.

— Лады. Даю десять минут. Все притащить без остатка. Просрочишь — после отбоя придем беседовать.

И, отходя, он бросил с грозной усмешкой:

— Шанец у тебя есть — просись в другую камеру.

Сосед смотрел на меня со страхом и жалостью. Он положил руку на мое плечо, взволнованно шепнул:

— Сейчас же неси, парень. Эти шуток не понимают.

— Ладно,— сказал я.— Никуда не пойду! Ешьте, пожалуйста.

Он с трепетом отодвинулся.

— Боже сохрани! Еще ко мне придерутся. Говорю тебе, тащи им все скорее. Жизнь стоит куска сыра.

Я молча заворачивал еду в полотенце. Новая моя жизнь не стоила куска сыра, это я знал твердо. Я готов был с радостью отдать этот проклятый кусок каждому, кто попросил бы поесть, и намеревался кровью своей защищать его — в нем, как в фокусе, собралось вдруг все, что я еще уважал в себе. Теперь и между мною и остальными жителями камеры образовалось крохотное, полное молчаливого осуждения и страха пространство.

Когда прошли дарованные мне десять минут, сосед зашептал, страдая за меня:

— Слушай, постучи в дверь и вызови корпусного. Объяснишь положение... Может, переведут в другую камеру.

— Не переведут. Что им до наших нелад? Не хочу унижаться понапрасну.

— Не храбрись! — шепнул он.— Ой, не храбрись!

Нет, я не храбрился. Трусость снова одолевала меня, подступала тошнотой к горлу. Борьба одного против четырех была неравна. Она могла иметь только один конец. Но зато я знал окончательно — еду и вещи я не понесу. Это было сильнее страха, сильнее всех разумных рассуждений. Со смутным удивлением я всматривался в себя — я был иной, чем думал о себе.

До отбоя было еще далеко, и нервы мои стихали, как море, которое перестал трепать ветер. У меня появился план спасения. Когда они подойдут, я взбудоражу всю тюрьму. Меня выручит корпусная охрана. Только не молчать, молчаливого они прикончат в минуту — после всех обысков, вряд ли у них остались ножи, видимо, они кинутся меня душить. Я вскочу на нары, спиной к стене, буду отбиваться ногами, буду вопить, вопить, вопить!..

Вся камера понимала, что готовится наказание глупца, осмелившегося прошибать лбом стену. Угрюмое молчание повисло над нарами, как полог. Люди задыхались

в молчании, но не нарушали его — изредка, шепотом сказанное слово лишь подчеркивало физически плотную тишину. Тишина наступала на меня, осуждала, приговаривала к гибели — я слышал в ней то самое, что говорил старик — никто не придет на помощь. Люди будут лежать, закрыв глаза, мерно дыша, ни один не вскочит, не протянет мне руки. И я восстал против этой ненавистной тишины, которая билась мне в виски учащенными ударами крови.

Я попросил соседа:

— Расскажите что-нибудь интересное. Что-то сон нейдет.

Он ответил неохотно и боязливо:

— Что я знаю? В наших камерах книг не давали. Лучше сам расскажи, что помнишь. Какую-нибудь повесть...

Я стал рассказывать, понемногу увлекаясь рассказом. Не знаю, почему мне вспомнилась эта удивительная история, странная повесть о Повелителе блох и парне, чем-то похожем на меня самого. Меня окружили видения — очаровательная принцесса, бестолковый крылатый гений, толстый принц пиявок, блохи, тени, тайные советники. Я видел жестокую дуэль призраков Сваммердама и Левенгука — они ловили один другого в подзорные трубы, прыгали, обожженные беспощадными взглядами, накаленными волшебными стеклами, вскрикивали, снова хватались за убийственные трубы. Я сидел лицом к соседу, но не видел его — крохотный Повелитель блох шептал мне о своих несчастьях, я до слез жалел его. И, погруженный в мой великолепный мир, я не понял ужаса, вдруг выросшего на лице соседа. Потом я обернулся. Четверо уголовников молча стояли у моей нары.

— Давай кончай это дело! — внятно сказал сиплый, что уже говорил со мной.

— Дело идет к концу. Смелая блоха, Повелитель блох всего мира, бросился на поиски похищенной принцессы,— ответил я, вызывающе не поняв, о каком конце он говорит, и вонзая в него взгляд, который и без хитрых луп мог бы его испепелить.— Это было нелегкое дело — за бедным королем блох самим охотились со всех сторон, как за редкостной добычей...

И, не торопясь, я закончил повесть. Я довел ее до апофеоза. Прекрасная принцесса из Фамагусты соединилась с нищим студентом, внезапно превратившимся в пылающее сердце мира. Четверо уголовников, не спуская с

меня глаз, слушали описание фантастической свадьбы. Горечь охватила меня, звенела в моем голосе. Теперь я знал, чем сказка отличается от жизни. Сказка завершается счастливым концом, в жизни нет счастья. Отупевший, на мгновение потерявший волю к сопротивлению, я ждал...

— Здорово! — сказал один из блатных.— Туго роман тискаешь!

— Давай еще! — потребовал другой.

И тогда меня охватило вдохновение. Теперь я рассказывал о собаке Баскервилей. Мой голос один распространялся по камере, наступал на людей, требовал уважения и молчания. Ничто не шевелилось, не шептало, не поднималось. Четыре уродливых диких лица распахивали на меня горящие глаза, десятки невидимых в полумраке ушей ловили слова. У сиплого отвисла нижняя губа, слюна текла на подбородок, он не замечал, он бродил по туманной пустоши, спасался от чудовищной, светящейся во тьме собаки, падал под ее зубами. Он был покорен и опьянен.

И тогда я понял с ликованием, что здесь, на этапе, в вонючей камере, совсем по-иному осуществилось то, о чем недавно философствовал старик. Можно, можно властвовать словами над душами людей — радовать, а не клеймить, возвышать, а не губить. И это пустяки, что не я придумал ночную пустошь, затянутую туманом, что не мое воображение породило ужасную собаку. Десять лет тюремного заключения еще не граница жизни. Он придет этот час — страстное, негодующее, влюбленное слово поднимется надо всем. Нет, не четыре тупых уголовника — весь мир, опутанный, как сетями, магией слов, ставших плотью и действием, будет вслушиваться, будет страдать от их силы, возмущаться и ликовать...

Со звоном рзспахнулось дверное окошко. Грозная рожа коридорного вертухая просунулась в отверстие.

— А ну кончай базар!

Уголовники заторопились на свои места.

— Завтра даванешь дальше!— прошептал сиплый.— Как у тебя насчет жратвы? Все достанем! С нами не пропадешь, понял!

— А у меня все есть,— ответил я с горькой гордостью.— Что мне еще надо в жизни?

ЧТО ТАКОЕ ТУФТА И КАК ЕЕ ЗАРЯЖАЮТ

I

В середине июля 1939 года неунывающий Хандомиров дознался, что нас — всю Соловецкую тюрьму и весь примыкающий к ней ИТЛ — Исправительно-Трудовой Лагерь — отправляют на большую стройку в каком-то сибирском городке Норильске. Никто не слыхал о Норильске, за исключением, естественно, самого Хандомирова. Этот средних лет подвижный жилистый инженер-механик знал все обо всем, а если чего и не знал, то никогда не признавался в незнании. И фантазировал о том, чего не знал, так вдохновенно и так правдоподобно, что ему больше верили, чем любому справочнику.

— Норильск это новый мировой центр драгоценных металлов, — объявил он.— Жуткое Заполярье, вечные снега, морозы даже летом — в общем, и ворон туда не залетает, и раки там не зимуют, нежный рак предпочитает юг. И Макар телят туда не гонял, это точно известно. А золота и алмазов — навалом. Наклоняйся, бери и суй в карман. Всего же больше платины, ну и меди, разумеется. Короче, будем нашими испытанными зековскими руками укреплять валютный фундамент страны.

— Вот же врет, бестия!— восхищенно высказался мой новый приятель Саша Прохоров, московский энергетик, два года назад вернувшийся из командировки в Америку и без промедления арестованный как шпион и враг народа.— И ведь сам знает, что врет! Конечно, половина вранья — правда. По статистике, у каждого выдумщика вероятность, что в любой его выдумке половина — истина. Математический факт. Хандомиров на этом играет.

Вскоре нам приказали готовиться на этап в Норильск. Нашлись люди, больше знавшие Норильск, чем Хандо-

миров. Снега и холод они подтверждали, о платине и цветных металлах тоже слышали, но золото и алмазы, валявшиеся под ногами, высмеяли. Мы с нетерпением и надеждой ждали формирования этапа. Два месяца земляных работ у Белого моря вымотали самых стойких. Многие, добредя до площадки будущего аэродрома, валились на песок, и даже мат майора Владимирова и угрозы охраны не могли поднять их. Тюремные врачи, называвшие симулянтами даже умиравших, стали массами оставлять заключенных внутри тюремной ограды. Соловецкое начальство поняло, что хозяйственной пользы из нас уже не выжать, и сотне особо истощенных — мне в том числе — дало двухнедельный отдых перед этапом.

5-го августа — радостная отметка дня моего рождения — пароход «Семен Буденный» подошел к причалу, и к вечеру почти две тысячи соловецких заключенных влились в его грузовые трюмы. По случаю перевозки «живого товара» — новой специализации сухогруза — трюмы были заполнены в три этажа деревянными нарами. Мне досталась нижняя нара, комендант из уголовников решил, что я два раза подохну, прежде чем взберусь на третий этаж, о чем — для воодушевления — и поведал мне. Впрочем, к концу десятидневного перехода по Баренцеву и Карскому морям, а потом по Енисею, я уже — с натугой — взбирался на вторые нары поболтать то с одним, то с другим соседом «из наших»: на нижних нарах «гужевались» преимущественно «свои в доску», я был среди нижненарных исключением.

В середине августа «Семен Буденный» прибыл в Дудинку — поселок и порт на Енисее. Ночь мы провели в трюме, а ранним утром зашагали длинной колонной на вокзал — крохотное деревянное зданьице, от него шла узкоколейка на восток. У деревянного домика стоял поезд — паровозик из «прошлого столетия», как окрестил его Хандомиров, и десятка полтора открытых платформ. Мы удивленно переглядывались и перешептывались — подошедшая к вокзалу колонна заключенных была вдесятеро длинней линии платформ.

— Сегодня узнаем, как чувствуют себя сельди в бочке,— почти радостно объявил Хандомиров.— И в самом деле, чем мы хуже сельдей?

Я так и не узнал, как чувствуют себя сельди в бочке, но что человек может сидеть на человеке — на коленях,

на плечах, даже на голове — узнать пришлось. Конвоиры орали, толкали руками и прикладами в спины, для устрашения щелкали затворами винтовок, овчарки рычали и норовили схватить за ноги тех, кто вываливался из прущей толпы, а мы мощно натискивались в платформы: первые старались рассесться поудобней, а когда следующие валились на них, платформа превращалась в подобие живого бугра — вершиной на середине, пониже к краям. Я часто встречал на товарных вагонах надписи «Восемь лошадей или сорок человек». Все в мое время совершенствовалось, устаревали и железнодорожные нормы. Но что на платформу, где и сорока человек не разместить, можно впихнуть их почти двести, узнал впервые в Дудинке.

Конвой занял последнюю платформу — целый лес винтовок топорщился над головами. В середине ее разместили станковый пулемет, он покачивался, наставя на нас вороненое дуло.

Уже шло к полудню, когда состав тронулся на восток. Деревянный домик вокзала скрылся за холмиком. Мимо нас проплывала унылая низина, заросшая багрово-синими травками и белым мхом... По небу рваными перинами тащились тучи, иногда они просеивались мелким дождем. Платформы трясло, колеса визжали на поворотах и сужениях: я сидел с краю и видел непостижимую колею — рельсы не вытягивались ровной нитью, а то сморщивались, образуя что-то вроде стальной гармошки, то мелко петляли, один рельс вправо, другой влево. Я не понимал, как вообще поезд может двигаться по такой изломанной колее, и, толкнув Хандомирова, привалившегося — вернее навалившегося на меня — всем телом, обратил его внимание на техническое чудо двух линий рельсов. Он зевнул:

— Нормальная зековская работа. Зарядили могучую туфту. Запомните, дорогой, вся лагерная империя НКВД держится на трех китах: мате, блате и туфте. В Заполярье, я вижу, туфту заряжают мастерски. Понятно?

Мне, однако, понятно было не все. Мат окружал меня с детства. Блат только начинал свое победное шествие по стране, хотя о нем уже и тогда говорили: «Маршалы носят по четыре ромба, а блат удостоен пяти». Но что такое туфта и как ее нужно заряжать — а ее почему-то всегда

заряжали, я слышал это только от Хандомирова — я не имел точного понятия.

Поезд вдруг остановился, потом дернулся — колеса зло завизжали — снова остановился. И мы увидели забавную картину: состав из полутора десятков платформ стоял, а паровоз с двумя платформами бодро уходил вперед: «Стой! Стой!» — заорали на паровоз. Охрана соскакивала наземь и с винтовками наперевес окружила покинутый паровозом состав — похоже, страшилась, что заключенные бросятся наутек по дикой тундре. Яростно рычали псы. Ни один заключенный не спустил ног на траву. Паровоз медленно воротился обратно, но не дошел, а замер метрах в двадцати от состава. Раздалась команда: «Все слезай!», и мы попрыгали на землю.

Ноги по щиколотку увязали в топкой земле. Колеса платформ ушли в грязь и воду, это и было причиной остановки. Я поворачивался то вперед, то назад — на добрые сотню-две метров железная дорога вся провалилась в топкую трясину. Начальник конвоя заорал:

— Есть железнодорожники? Выходи, кто кумекает!

Из толпы выдвинулся один заключенный. Я стоял неподалеку и слышал его разговор с начальником конвоя.

— Я инженер-путеец. Фамилия Потапов. Занимался эксплуатацией железных дорог.

— Статья? Срок?

— Пятьдесят восьмая, пункт седьмой — вредительство. Срок — десять лет.

— Подойдет,— радостно сказал начальник конвоя.— Что предлагаете, Потапов?

К ним подошел машинист паровоза. Потапов объяснил, что колея проложена по вечной мерзлоте неряшливо. Лето, по-видимому, было из теплых, мерзлота подтаяла и в этом месте превратилась в болото, рельсы ушли в жижу. Паровоз не сумел вытащить провалившийся выше осей состав, сильно дернул и разорвал сцепку. Поднимать шпалы и подбивать землю — дело не одного дня. Лучше вытащить колею и перенести ее в сторонку, на место посуше. Правда, путь удлинится, может нехватить рельсов...

— Рельсы есть,— сказал машинист.— Везу на ремонтные работы десятка два, еще несколько сотен шпал, всякий строительный инструмент.

Они разговаривали, а я рассматривал Потапова. Он был высок, строен, незаурядно красив сильной мужской красотой — четко очерченное лицо, чуть седеющие усики, проницательный взгляд. И говорил он ясно, кратко, точно. Приняв командование ремонтом пути, он распоряжался столь же ясно и деловито — «не агитационно, а профессионально», сказал о нем Хандомиров и добавил:

— Мы с Потаповым сидели в одной камере. Сильный изобретатель, даже к ордену хотели представить за рационализации. Но одно не удалось. Естественно, пришили вредительство. Не орден вытянул, а ордер.

Мы тысячеголовой массой выстроились с обеих сторон платформ и потащили состав назад. Это оказалось совсем не тяжким делом. Хандомиров не преминул подсчитать, что в целом мы составили механическую мощность в триста лошадиных сил — много больше того, что мог развить старенький паровоз. Зато вытягивать колею и передвигать ее на место посуше было гораздо трудней. Мешали и бугорки на новом месте, их кайлили и срезали лопатами,— у машиниста нашелся и такой инструмент. Потапов ходил вдоль переносимой колеи и, проверяя укладку шпал, строго покрикивал:

— Без туфты, товарищи! Предупреждаю: туфты не заряжать.

Новая колея заполдень была состыкована со старой,— использовали запасные шпалы и рельсы. Мы снова вмялись на платформы, состав покатил дальше.

Вечерело, когда поезд прибыл в Норильск. Снова первыми соскочили со своей платформы конвойные и псы. Пулемет с глаз удалили, но винтовки угрожающе нацеливались на этап. Спрыгивая на землю, я упал и пожаловался, что предзнаменование зловещее — падать на новом месте. Ян Ходзинский не признавал суеверий и посмеялся надо мной, а Хандомиров заверил, что начинать с падения на новом месте не так уж плохо, хуже кончать падением. И вообще, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мне было не до смеха, болело правое колено — недавняя цинга, покрывшая черными пятнами сильно опухшую ногу, еще не была преодолена, каждое прикосновение вызывало боль. А падал я на проклятое правое колено. Хромая и ругаясь, я приплелся в строй. Хаотичный этап понемногу превращался в колонну, по пять голов в ряду. Над заключенными возносились команды и

руготня стрелков, их сопровождал визг и лай собак, псы рвались с поводков, чуя непорядок и горя желанием клыками восстановить его. Наконец раздалась команда: «По пяти, шагом марш!»— и колонна двинулась.

— Тю, где же обещанный город?— сказал Прохоров шагавшему рядом со мной Хандомирову.— И следов города не вижу.

Города, и вправду, не было. Была короткая улица из десятка деревянных домов, а от нее отпочковывалась другая и, по всему, последняя улица, тоже домов иа десяток: среди тех домов виднелись и каменные на два этажа. Я поворачивал голову вправо и влево, стараясь запомнить облик каждого дома.

... Мне в будущем предстояло дважды в день в течение многих лет шагать по этим двум улицам, каждый дом стал до оскомины знаком. И хоть уже десятилетия прошли с той поры, когда впервые шагалось вдоль тех деревянных и каменных домиков, я вижу каждый, словно снова неторопливо иду мимо них. Улица, начинавшаяся от станции, называлась Горной, и открывал ее одноэтажный бревенчатый дом, первая стационарная норильская постройка, возведенная геологом Николаем Николаевичем Урванцевым, еще в двадцатые годы детально разведавшим Норильское оруденение и открывшим здесь, на клочке ледяной тундры, минералогические богатства мирового значения. Урванцев руководил тремя экспедициями в район Норильска, а в тот день, когда я с товарищами по беде шагал по сотворенной им улице, он тоже находился в Норильске и был в такой же беде, как мы — из первооткрывателя заполярных богатств превращен в обычного заключенного, впрочем освобожденного от тяжких «общих» работ: продолжал в новом социальном качестве прежние свои геологические изыскания. Мне предстояло вскорости с ним познакомиться — и много лет потом поддерживать добрые отношения. Большинства увиденных нами домов теперь уже нет на той первой норильской улице, а дом Урванцева стоит и в нем музей его имени, мемориальное доказательство его геологического подвига. А рядом с музеем торжественная могила — в ней прах самого Николая Николаевича Урванцева и его жены Елизаветы Ивановны, часто сопровождавшей мужа в его северных экспедициях и приезжавшей к нему, заключенному. А на бронзовой стеле простая надпись: «Первые норильчане» и дата их жизненных дорог: 1893 — 1985 гг. Оба родились в один год и умерли почти одновременно в Ленинграде, прожив каждый 93 года. Прах

обоих перевезли на вечное упокоение в город, созданный трудом самого Урванцева, город, где он проработал потом пять лет в заключении и где теперь, кроме музея его имени, есть и набережная Урванцева. Потомки хоть таким уважением к памяти отблагодарили его и за выдающиеся труды, и за незаслуженное страдание. Древность сохранила легенду о супружеской паре Филимоне и Бавкиде, которых боги за чистоту души одарили долголетием, правом умереть одновременно и вечной памятью потомков. К древним богам двадцатый век не сохранил почтения, но благодарность за благородную жизнь неистребима в человеческой натуре — супружеская чета Урванцевых тому возвышающий душу пример...

Но все это было в далеком «впоследствии», а в тот день, проходя мимо домика Урванцева, я лишь бросил на него невнимательный взгляд. Зато мы все дружно приметили двухэтажное строение на той же стороне Горной улицы. Мы еще не знали, что оно называется «Хитрым домом», а правильней должно бы называться «Страшным домом» — в нем помещалось Управление Внутренних дел и местная «внутренняя» тюрьма. Но зловещая архитектура — решетки на наружных окнах, «намордники» на окнах во дворе да охрана у входа — все это было каждому горько знакомо и у каждого порождало все те же, еще не ослабевшие воспоминания: по колонне пробегал шепоток, когда ее ряды шествовали мимо «Хитрого дома».

А на другой стороне улицы красовался деревянный домина с прикрепленными к фасаду кривоватыми колоннами — архитектурное свидетельство, что здание — культурного назначения.

— Театр!— безошибочно установил Хандомиров.— Что я вам говорил? Город! Улиц, правда, не густо, да и домов не убедительно, но зато — культура!

— Культура, да не для нас, а для вольняшек,— огрызнулся Прохоров.

— Вряд ли местные вольняшки взыскуют культуры,— заметил наш сосед по ряду, высокий, очень худой — его звали Анучиным, мы с ним вскоре подружились.

Впоследствии мы узнали, что все трое спорщиков оказались правы: деревянное здание служило театром (играли в нем, естественно, заключенные), пускали в него только вольных, но вольные театр не жаловали, зал заполнялся от силы на четверть — существенное отличие от клубов в лагере, где те же артисты собирали зрителей

и «в сидяк, и в стояк», как выражались иные, покультурней, коменданты из «своих в доску».

За театром показались сторожевые вышки, вахта, мощная стена из колючей проволоки, необозримо протянувшаяся вправо и влево. Уже стемнело, но с вышек лилось прожекторное сияние. Плотные ряды охраны образовали живой желоб, по нему в лагерь одна за другой вливались пятерки заключенных. Начальник конвоя громко отсчитывал: «Сто шестая! Сто седьмая! Сто восьмая, шире шаг! Сто девятая, приставить ногу! Кончай базар, разберись по пяти! Сто десятая, повеселей!»

Мы с Хандомировым, Прохоровым, Ходзинским и Анучиным проскользнули через вахту без особых замечаний. За воротами нас перехватил комендант — заключенный не то из уголовников, не то из бытовиков, и яростно заорал, словно мы в чем-то уже провинились:

— Куда прете? Сохраняй порядок! Организованно в семнадцатый барак! Номер на стене, баланда на столе. Направо!

Семнадцатый барак был далеко от вахты, мы не торопились, нас обгоняли пятерки пошустрей. Но они спешили в другие бараки, в семнадцатом мы были из первых. На столе стоял бачок с супом, горка аккуратно — трехсотграммовые пайки — нарезанного хлеба. Дневальный из бытовиков наливал каждому полную миску. Мы бросили свои вещевые мешки на нары — я облюбовал нижнюю, из уважения к одолевшей меня цинге ее не оспаривали — жадно опорожнили миски и «умяли пайки». От сытной еды потянуло в сон. Хандомиров, оглушительно зевнув, объявил, что и на воле утро всегда мудреней, а в лагере дрыхнуть — главная привилегия добропорядочного заключенного. Спустя десяток минут, мы все спали тем сном, который именуется мертвым.

2

Видимо, я спал дольше всех. Вскочив, я обнаружил в бараке одного дневального, последнюю хлебную пайку на столе и остатки супа в бачке, до того густого, что в нем не тонула ложка.

— Остатки сладки,— попотчевал меня дневальный.— Специально для тебя не расходовал гущины. Гужуйся от пуза — пока разрешаю. Пойдете на работы, суп станет

пожиже — по выработке. И носить будете сами из раздаточной.

— Как называется наше местожительство?— спросил я.

— Не местожительство, а второе лаготделение. — Дневальный подмигнул.— А не местожительство потому, что в дым доходное. Жутко вашего народа загинается. От первого этапа, за месяц до вас, сколько уже натянуло на плечи деревянный бушлат. Не вынесли свежего воздуха и сытной жратвы. Учти это на будущее. Чего хромаешь?

— Цинга. Ноги опухли.

— С ног и начинается! Деньги имеются?

— Зачем тебе мои деньги?

— Не мне, а тебе. В лавочке за наличные можно купить съестного. А пуст лицевой счет загоняй барахлишко, покупатели найдутся. Попросишь, так и я помогу продать стоющую вещицу. Само собой, учтешь одолжение.

Я вышел наружу. Если Норильск и был городом, а не населенным пунктом или поселком — так он тогда, мы это скоро узнали, значился официально,— то во втором лагерном отделении городского имелось много больше, чем на тех единственных двух улицах, которые его составляли. Куда я ни поворачивал голову, везде тянулись деревянные побеленные бараки, они вытягивались в прямые улицы, образовывали площади, сбегали от площадей переулочками вниз в долинку ворчливого Угольного ручья. А по барачным улицам слонялись заключенные, кто уже в лагерной одежде, кто еще в гражданском. В основной массе это были мужчины, но я увидел и женщин. Женщины различались по виду сильней, большинство сразу выдавали себя — хриплыми голосами, подведенными глазами, вызывающим взглядом,— но попадались и явная «пятьдесят восьмая»: интеллигентные лица, городская одежда, еще не смененная на лагерную. Я искал знакомых, переходя от барака к бараку, но они либо терялись в толпе, либо куда-то зашли. Я читал надписи на бараках: «Амбулатория», «Культурно-воспитательная часть — КВЧ», «Учетно-распределительный отдел — УРО», «Канцелярия», «Вещевая каптерка», «Ларек», «Штрафной изолятор — ШИЗО». Надписи свидетельствовали, что во втором лаготделении царствует не хаос, а дисциплина и режим.

Наконец я встретил двух знакомых. Хандомиров с Прохоровым несли в руках консервные банки и папиросы.

— Роскошь!— объявил сияющий Хандомиров.— Не ларек, а подлинный магазин. Любой товар за наличные. Купил три банки варенья из лепестков розы, пачку галет. Есть и твердая колбаса, и сливочное масло по шестнадцати рубчиков кило.

— Почему же не купили масла и колбасы?

Хандомиров вздохнул, а Прохоров рассмеялся.

— Жирно — сразу и масло, и колбасу. Во-первых, бумажек нехватка. А во-вторых, надо где-то какое-то заиметь разрешение на ларек, если захотелось колбаски. Как у тебя с рублями, Сергей?

— Никак. Ни единой копейки в кармане.

— Бери взаймы банку варенья, потом вернешь — и не сладкими лепестками, а чем-нибудь посущественней. Идем пить кипяток с изысканными сладостями.

Мы воротились в барак и истребили все сладостные банки. Два дня после роскошного угощения от нас подозрительно пахло розами — отнюдь не лагерный аромат, а я приобрел устойчивое (на всю дальнейшую жизнь) отвращение к консервированным в сахаре розовым лепесткам.

— Теперь основная задача — обследоваться,— сказал Хандомиров.— Я все узнал. Организована бригада врачей из наших, под командованием вольных фельдшеров, свыше назначенных в лагерные доктора. Заключенные врачи именуются лекарскими помощниками, сокращенно лекпомами, а по лагерному лепилами — видимо, от слова лепить диагноз. Среди лепкомов я нашел профессоров: Никишева, патологоанатома; докторов кремлевской больницы Родионова и Кузнецова, оба хирурги; еще увидел Розенблюма и усатого Аграновского, оказывается и он по профессии врач, а я его знал как украинского фельетониста, после Семковского, Зорича и Кольцова следующего по славе. Работа у них простая — кого в работяги, кого в доходяги, а кого в больницу — готовят этап на тот свет. В общем, пошли.

Перед медицинским бараком вытягивалась стоголовая очередь. Я увидел в ней Яна Витоса. Старый чекист, работавший еще при Дзержинском, сильно сдал за последний месяц в Соловках, и особенно в морском переходе. Он хмуро улыбнулся.

— Ваш дружок Журбенда тоже определился во врачи. Называл себя историком, республиканским академиком, а по образованию, оказывается, медик. Жулик во всем. Нарочно пойду к нему.

— Не ходите, Ян Карлович,— попросил я.— Журбенда ваш личный враг. Он вам поставит лживый диагноз.

— Сколько ни придумает лжи, а в больницу положит. Плохо мне, Сережа. Не вытяну зимы в Заполярье.

Ян Витос, и правда, после первого же осмотра был направлен в больницу. Таких, как он, в нашем Соловецком этапе обнаружились десятки — немолодые люди, жестоко ослабевшие от непосильного двухмесячного труда на земляных работах после нескольких лет тюрьмы, а потом и тяжкого плавания в океане. Витос не вытянул даже до осени, я ходил к нему в больницу, он быстро угасал. Когда повалил первый снег, Витоса увезли на лагерное кладбище. В те октябрьские дни ежедневно умирали люди из нашего этапа. Соловки поставили в Норильск «очень ослабленный контингент», так это формулировалось лагерной медициной.

Я попал к Захару Ильичу Розенблюму. Он посмотрел на мои распухшие, покрытые черными пятнами ноги, и покачал головой.

— Не только цинга, но и сильный авитаминоз. Типичное белковое голодание. Советую продать все, что можете, и подкрепить себя мясными продуктами.

Я продал что-то из белья, выпросил десяток рублей с лицевого счета и набрал в лавке мясных консервов. Молодой организм знал, как повести себя в лагере, пятна бледнели чуть ли не по часам, опухоль спадала. Спустя неделю ничто — кроме прожорливого аппетита — не напоминало о белковом авитаминозе.

В эти первые свободные от работы дни я часами слонялся один и с товарищами по обширному лаготделению. Лагерь меня интересовал меньше, чем окрестный пейзаж, но все же я с удовлетворением узнал, что имеется клуб и там бесплатно показываются кинофильмы, а самодеятельный ансамбль из заключенных еженедельно дает спектакли. В этом «самодеятельном ансамбле» были почти исключительно профессионалы, я узнал среди них известные мне и на воле фамилии. Неутомимый Хандомиров вытащил в клуб нашу «бригаду приятелей» и пообещал, что останемся довольны.

— Любительская самодеятельность хороша только в том случае, если выполняется профессионалами. На воле это парадоксальное требование практически не выполняется. Но исправительно-трудовой лагерь, по природе своей, учреждение парадоксальное, только здесь и можно увидеть профессиональное совершенство в заурядном любительстве.

Больше всего меня захватывал открывавшийся глазу грозный мир горного Заполярья. Август еще не кончился, а осень шла полная. По небу ползли глухие тучи, временами они разрывались, и тогда непривычно низкое солнце заливало горы и долины нежарким и неярким сиянием. С юга Норильск ограничивали овалом три горы — с одного края угрюмая, вся в снежинках Шмидтиха, в середине невысокая — метров на четыреста — Рудная, а дальше — Барьерная. За ней простиралась лесотундра, мы видели там настоящий лес, только — издали — совершенно черный. Север замыкала абсолютно голая, лишь с редкими ледничками, рыжая гряда Хараелак, тогда это было совсем неживое местечко, типичная горная пустыня: ныне там сорокатысячный Талнах, строящийся город-спутник Оганер — по плану на 70-100 тысяч жителей. Я сейчас закрываю глаза и вижу северные горы в Норильской долине, и только мыслью, не чувствами, способен осознать, что эти безжизненные, абсолютно голые желто-серые склоны и плато, ныне площадка великого строительства, кладовая новооткрытых рудных богатств, которым, возможно, нет равных на всей планете.

А на запад от нашего второго лаготделения, самого населенного места в Норильске, простиралась великая — до Урала — тундра, настоящая тундра, безлесая, болотистая, плоская, до спазм в горле унылая и безрадостная — мы недавно ехали по ней, вдавливая железнодорожную колею в болото. И в тундру, неподалеку от наших бараков врезался Зуб — невысокий горный барьерчик, выброшенный каким-то сейсмическим спазмом из Шмидтихи на север; странное название точно отвечало его облику.

Когда, прислонившись к стене нашего барака, я озирал угрюмые горы, закрывавшие весь юг, ко мне подошел Саша Прохоров.

— Нашел чем любоваться!

— Страшусь, а не любуюсь. Неужели придется прожить здесь и год, и два?

... Я и не подозревал тогда, что проживу в Норильске не год и не два, а ровно восемнадцать лет...

Всему Соловецкому этапу дали несколько дней отдыха. А затем УРО — учетно-распределительный отдел — сформировал рабочие бригады. В одну из них определили и меня. В УРО служили, мне кажется, шутники, они составляли рабочие бригады по образовательному цензу и званиям. Если бы среди нас было много академиков, то, вероятно, появилась бы и строительная бригада академиков-штукатуров или академиков-землекопов. Но в тот год академик нашелся только один и с него сыпался такой обильный песок, что этого не могли не заметить и подслеповатые инспектора УРО — дальше дневального или писаря продвигать его по службе не имело смысла.

Наша бригада называлась внушительно: «Бригада инженеров». В ней и вправду были одни инженеры — человек сорок или пятьдесят. Все остальные бригады комплектовались смешанно — в них трудились учителя, музыканты, агрономы. В смешанные бригады, кроме «пятьдесят восьмой», вводили и бытовиков, и уголовников: и тех, и других хватало в Соловецком этапе, а еще больше прибывало в этапах «с материка», плывших не по морю, а по Енисею от Красноярска. Новоорганизованные бригады отправлялись на земляные работы — готовить у подножия горы Барьерной площадку под будущий Большой Металлургический завод.

Бригадиром инженерной бригады вначале определили Александра Ивановича Эйсмонта, в прошлом главного инженера МОГЭС, правительственного эксперта по электрооборудованию, не раз для покупки его выезжающего во Францию, Германию и Англию, а ныне премилого и предоброго старичка, которого ставил в тупик любой пройдоха-нарядчик. Особых подвигов в тундровом строительстве он совершить не успел, его к исходу первой недели начальник строительства Завенягин перебросил «в тепло» — комплектовать в Норильснабе прибывающее электрооборудование. Потом я с удивлением узнал у самого Эйсмонта, что он был не только видным инженером, но и настоящим — а не произведенным на следствии в таковые — сторонником Троцкого, встречался и с Лениным, писал разные политические заявления, подписывал какие-то «платформы» и потом не

отрекался от них, как большинство его товарищей. В общем, он решительно не походил на нас, тоже для чего-то объявленных троцкистами либо бухаринцами, но в подавляющей массе не имевших даже представления о троцкизме и бухаринстве. Долго в Норильске Эйсмонту жить не пришлось. Уже в следующем году его похоронили на «зековском» кладбище. И там, на нашем безымянном «упокоище в мире», ему оказали честь, какой ни один зек еще не удостаивался: поставили на могиле шест, а на нем укрепили дощечку с надписью «А. И. Эйсмонт». Уж не знаю, сами ли местные руководители решились на такой рискованный поступок или получили на то предписание свыше.

Эйсмонта заменил высокий путеец Михаил Георгиевич Потапов. Я уже говорил, как в пути из Дудинки в Норильск он быстро и квалифицированно перенес провалившуюся в болото колею. Хандомиров назвал его выдающимся изобретателем. Забегая вперед, скажу, что самое выдающееся свое изобретение он совершил в Норильске, спустя один год после приезда. Зимой Норильскую долину заметали пурги: у домов вздымались десятиметровые сугробы, все железнодорожные выемки заваливало, улицы становились непроезжими, почти непроходимыми. Потапов сконструировал совершенно новую защиту дорог от снежных заносов — деревянные щиты «активного действия». Если раньше старались прикрывать дороги от несущегося снега глухими заборами и снег вырастал около них стенами и холмами, то Потапов наставил щиты со щелями у земли: ветер с такой силой врывался в эти щели, что не наваливал снег на дорогу, а сметал его с дороги, как железной метлой. Когда Потапов освободился, его изобретение, спасшее Норильск от недельных остановок на железной и шоссейных дорогах, выдвинули на Сталинскую премию. Но самолюбивый, хорошо знающий цену своему таланту, изобретатель не пожелал привлечь в премиальную долю кого-либо из своих начальников, как то обычно делалось. И большому начальству показалось зазорным отмечать высшей наградой недавнего заключенного, отказавшегося разбавить ее розовой водицей соавторства с чистым «вольняшкой».

Эйсмонт начал свое бригадирство с того, что вывел нас на прокладку дороги от поселка к подножью Рудной. На «промплощадке» еще до нас возвели кое-какие соору-

жения: обнесли обширную производственную «зону» — километров на пять или шесть в квадрате — колючим забором, построили деревянную обогатительную фабрику с настоящим, впрочем, оборудованием, кирпичный Малый Металлургический завод — ММЗ, проложили узкоколейку в зоне, несколько подсобных сооружений... Все эти строения, выполненные в 1938 — 1939 гг. тоже руками заключенных, были лишь подходом к большому строительству на склонах горы Рудной. И для такого большого строительства в Норильск, в лето и осень 1939 года, гнали и гнали многотысячные этапы заключенных. Наш Соловецкий этап был не первым и даже не самым многочисленным. Зато он, это скоро выяснилось, был наименее работоспособным.

Не один я запомнил на всю жизнь первый наш производственный день на «общих работах»— так назывались все виды неквалифицированного труда. Мы разравнивали почву для новой узкоколейки от вахты до Рудной. Рядом с инженерной бригадой трудились смешанные. И сразу стало ясно, что из нас, инженеров, землекопы, как из хворостины оглобли. И не потому, что отлынивали, что не хватало усердия, что не обладали землекопным умением. Не было самого простого и самого нужного — физической силы. Мы четверо — я, Хандомиров, Прохоров и Анучин лезли из кожи, выламывая из мерзлой почвы небольшой валун, и лишь после мучительных усилий, обливаясь потом под холодным ветром, все, снова хватаясь за проклятый валун, кое-как вытащили его наружу. И еще потратили час и столько же сил, чтобы приподнять валун и свалить на тележку — тащить его на носилках, как приказывали, никто и подумать не мог. А возле нас двое уголовников, командуя самим себе: «Раз, два, взяли!», легко поднимали такой же валун, валили его на носилки и спокойно тащили к телеге, увозившей камни куда-то в овраги. А потом демонстративно минут по пять отдыхали, насмешливо поглядывая на нас, и обменивались обычными шуточками насчет важных Уксус Помидорычей и бравых Сидоров Поликарповичей. Мы тратили физических усилий, той самой механической работы, которая в средней школе называется «произведением из силы на путь», вдесятеро больше их, но нам не хватало физической малости, что у них была в избытке — потратить разом, в одном рывке

это единственно нужное и трижды клятое «произведение из силы на путь».

В барак на отдых мы в этот день не шли, а еле плелись, и нас не могли подогнать даже злые окрики конвойных, принявших нас у вахты — в «зоне» конвоев не было, там мы становились как бы на время свободными.

— Бригада инженеров, шире шаг!— орали конвойные и для острастки щелкали затворами и науськивали, не спуская с поводков охранных собак. Собаки рычали и лаяли, мы судорожно ускоряли шаг, но, спустя минуту, ослабевали — и снова слышались угрозы, команды и лай собак.

В бараке нас ожидала горбушка хлеба и миска супа, но и того, и другого было слишком мало, чтобы надежно подготовиться к завтрашнему «вкалыванию»: никто и наполовину не утолил аппетита.

На мою нару уселся Прохоров — он обитал на втором этаже, но так обессилел, что не торопился лезть наверх.

— Сережка, дойдем,— сказал он.— Ситуация такая: нас хватит недели на две. А за две недели шоссе не выстроить. Наша пайка не восстанавливает силы, чую это каждой клеточкой.

К нам подсел Хандомиров и придал беседе иное направление.

— И такой пайки скоро не будет,— предсказал он.— Она же полная, поймите. Мы же не вытянули нормы, и завтра не вытянем, и послезавтра. И нас посадят на гарантию, никакой горбушки, никакой полной миски дважды в день! Триста граммов хлеба утром, триста вечером, а баланда — только утром. Полной пайки не хватает, а если половинная?

— Что же делать?— спросил я.

— Выход один — зарядить туфту! И не кусочничать! Туфту такую внушительную, чтобы минус превратился в плюс. Без туфты погибнем.

— Мысль хорошая,— одобрил Прохоров.— Одно плохо: не вижу, как реально зарядить туфту.

— Будем думать. Вместе и каждый в отдельности. Что-нибудь придумается.

Ничего не придумалось ни на другой день, ни в последующие. О выполнении землекопной нормы не приходилось и думать. Зловещее пророчество Хандомирова осуществилось: на третий день бригаду посадили на уменьшенную продовольственную норму. Несколько че-

ловек пошли в медицинский барак выпрашивать освобождение от земляных работ. Им отказали, но было ясно, что скоро многие свалятся — и лепкомам самим тащить их в больницу. В лагерной рукописной газете, вывешенной на стене клуба, клеймили позором инженеров-симулянтов и саботажников, проваливающих легкие нормы, с которыми справляются все землекопы. Мы пошли к новому бригадиру и пригрозили, что вскоре ему некого будет выводить на работу.

— Товарищи, положение отчаяннейшее,— согласился Потапов.— Мне еще трудней, чем вам, я ведь рослый, а продовольственная норма одинакова. Сегодня я говорил с начальником Металлургстроя Семеном Михайловичем Ениным. Видный строитель, орденоносец... Обещал перевести на новый объект — зачищать площадку под Большой завод. Снимать дерн будет легче, чем выкорчевывать валуны из вечной мерзлоты.

Утром, прошагав в сторону от дороги, которая так не давалась, мы появились на унылом плато, где запроектировали воздвигнуть самый северный в мире металлургический завод. С плато открывался превосходный вид на Норильскую долину. Но все смотрели на бревенчатый домик о двух окошках, в нем размещалась контора Металлургстроя. Из домика вышел плотный мужчина средних лет, в распахнутом брезентовом плаще, открывавшем орден Трудового Красного Знамени на пиджаке — начальник Металлургстроя Семен Енин. Его сопровождала группа прорабов и мастеров. Он молча посмотрел на нас. Вряд ли ему понравился внешний вид инженеров, превращенных в землекопов.

— Все это теперь ваше,— сказал он, размахнувшись рукой от вершины Барьерной к горизонту — над ним. словно из провала, вздымалась угрюмая горная цепь Хараелака. — Вы должны показать на этом клочке земли, чего стоите. Уверен, что боевая бригада инженерно-технических работников, с киркой и лопатой в руках, высоко поднимет над тундрой флажок рабочего первенства! Жду перевыполнения норм!

Возможно, он сказал это деловитей и суше, но за смысл ручаюсь. Разумеется, мы не кричали ура в ответ. Нам не понравилось его напутствие. Оно слишком уж разнилось от тех радужных обещаний, какими вчера успокаивал Потапов. В нашей бригаде я был самым мо-

лодым, но и мне подваливало к тридцати. Пожилых инженеров — многие в недавнем прошлом руководили крупными заводами страны — не зажгла перспектива рвать рекорды земляных выемок. Со счетной линейкой мы все справлялись легче, чем с кувалдой и ломом. На плато вдруг полил дождь. Низкое небо опустилось с гор и потащилось над лиственницами, оседая на нас, как ватное одеяло. Енин и прорабы запахнулись в брезентовые плащи, мы ежились и совали руки в рукава. Любая мокрая курица могла бы пристыдить нас своим бравым видом.

И тут вперед выдвинулся Потапов. Он молодцевато распахнул воротник своей железнодорожной шинели — лагерное обмундирование еще не было выдано — и лихо отрапортовал:

— Премного благодарны за доверие, гражданин начальник! Бригада инженеров-заключенных берет обязательство держать первенство по всему строительному объекту. Можете не сомневаться, не подкачаем!

Стоявший около меня Мирон Альшиц, коксохимик, руководивший монтажом многих коксовых заводов, громко сказал, не постеснявшись высоких лиц и ушей:

— Он, кажется, сошел с ума!

Мне тоже думалось, что если наш бригадир и не сошел с ума, то, во всяком случае, не в своем уме. Я высказал ему это сейчас же, как только блестящий начальственный отряд удрал от дождя в контору, подобрав свои извозчичьи брезентовые плащи, как иные дамы подбирают платья из атласа и парчи. Потапов любил меня. Не знаю, почему он так привязался ко мне, но его расположение замечали и посторонние. Все эти первые трудные дни на промплощадке он отыскивал для меня работу полегче, рассказывал о бедовавших без него на воле двух дочерях, доверительно делился идеями еще несовершенных изобретений. Возможно, это происходило от того, что он был старше меня на двадцать лет. Он не рассердился от дерзкого моего замечания, а положил руку мне на плечо и с улыбкой заглянул в лицо.

— Сережа,— сказал он ласково,— как все-таки обманчива внешность: мне ведь казалось, что вы умный человек.

Меня удовлетворил такой честный ответ. Мне тоже иногда казалось, что я умный человек. Но я не мог этого

доказать ни одним своим поступком, ибо все, что ни делал, было, как на подбор, глупостями — по крайней мере, по нормам и морали мира, в котором я ныне жил и задыхался.

— И почему вы жалуетесь?— продолжал Потапов.— На прокладке шоссе нас давили общесоюзные нормы на земляные работы, а для планировки площадок таких норм пока нет. Разве это не облегчение? Получим полную пайку, именно это я и обещал.

Он отошел, а я со вздохом взялся за кайло. Планировать площадку было не легче, чем прокладывать шоссе,— и там, и здесь надо было долбить землю. Я любил землю — как, впрочем, и воздух, и небо, и море,— и поминал ее добрым словом в каждом стихотворении, а их писал в тюрьме по штуке на день. Но она не отвечала мне взаимностью. Она была неподатлива и холодна, она лежала под моими ногами, скованная вечной мерзлотой. Лом высекал из нее искры, лопата звенела и гнулась, а я обливался потом. Я только скользил по поверхности этой дьявольски трудной земли, не углубляясь ни на вершок. Глубина мне не давалась. Временами — от отчаяния и усталости — мне хотелось пробивать землю лбом, как стену. Я тогда еще тешил себя иллюзиями, что лоб у меня справится с любой стеной.

Потапов поставил меня в паре с Альшицем ковырять землю. Хандомиров, Прохоров и другие мои товарищи работали в отдалении. На площадку привезли лес, они устраивали дощатые трапы к обрыву, где планировался отвал. Никто и там не развивал энтузиазма — всех возмутило, что Потапов изменил своему слову и не подумал искать работы полегче.

Моя схватка с промерзшим еще тысячелетия назад грунтом была, наверное, не столько забавной, сколько нетактичной.

— Зачем такое усердие?— насмешливо поинтересовался Альшиц.— Не думаете ли вы, что заключенных награждают орденами за производственный героизм?

— Боюсь, вы мечтаете лишь о том, чтобы избежать производственного травматизма,— ответил я, уязвленный.— Неприятно смотреть, как вы чухаетесь. Словно уже три дня не ели.

— Работаем валиком,— согласился Альшиц.— А зачем по-другому? Разве вы не понимаете, что вся эта за-

тея — переквалифицировать нас в землекопов — не только неосуществима и потому бессмысленна, но и вредна? Государству нужна не моя мизерная физическая сила, а мои специальные знания и опыт, если оно не вовсе сдурело, это наше государство, в чем я не уверен!

Он с осуждением и гневом глядел на меня. Не очень рослый, прямой, с тонким красивым лицом, он готовился спорить и доказывать, кричать и браниться. Он схватился не со мною, со всем тем нелепым и непостижимым, что творилось уже несколько лет. Государство остервенело било дубиной по самому себе. Альшиц и здесь, как, вероятно, и на допросах на Лубянке или в Лефортово, готов был одинаково горячо доказывать, что конец будет один, если вовремя не спохватиться...

Меня не очень интересовала его аргументация. Я, в общем, держался того же взгляда. Я любовался его одеждой. Он был забавно экипирован. Драповое пальто с шалевым бобровым воротником, привезенное из Дюссельдорфа, где Альшиц закупал у Круппа оборудование для коксохимических заводов, было опоясано грязной веревкой, как у францисканского монаха. А на шее, удобно заменяя кашне, болталось серое лагерное полотенце. Высокую — тоже бобровую — шапку Альшиц пронес через этапные мытарства, но ботинки «увели» — ноги его шлепали в каких-то неандертальских ичигах, скрепленных такими же веревками, как и пальто. И в довершение всего он держал в руке лом, как посох — уткнув острием в землю.

— С вас надо писать картину, Мирон Исаакович,— ответил я на его тираду.— Вот бы смеялись!

Он повернулся лицом к тундре. Хараелак давно пропал в унылой мгле дождя, но метрах в четырехстах внизу смутно проступали два здания: деревянная Обогатительная фабрика и Малый Металлургический завод — скромненькие предприятия, пущенные, как я уже писал, незадолго до нашего приезда в Норильск, чтобы отработать на практике технологическую схему того большого завода, который нам предстояло строить.

Альшиц протянул руку к Малому заводу.

— Поймите, он уже работает! Он потребляет кокс, который выжигают в кучах, как тысячу лет назад. Страна ежедневно теряет в этих варварских кучах тысячи рублей, бесценный уголь, добываемый с таким трудом в

здешней проклятой Арктике! А я единственный, кто может среди нас положить этому конец, долблю землю ломом, который мне даже поднять трудно. Где логика, я вас спрашиваю? Неужели она такая богатая, моя страна, что может позволить себе эту безумную расточительность — Мирона Альшица послали в землекопы!

Он закашлялся и замолчал. В его глазах стояли слезы. Он отвернулся от меня, чтобы я не видел слез, я опустил голову, подавленный тяжестью его обвинений. Никто не смел потребовать с меня формальной ответственности за то, что с нами совершилось. Крыша упала на голову, внезапно попал под поезд, свалился в малярийном приступе, короче, несчастье, не зависящее от твоей воли, так я объяснял себе события этих лет. Меня не успокаивало подобное объяснение. Оно было поверхностно и лживо, а я допытывался правды, лежавшей где-то в недоступной мне глубине. Я нес свою особую, внутреннюю, мучительно чувствуемую мною ответственность за то, что проделали со мной и Альшицем, и многими, многими тысячами таких, как он и я ... Меня расплющивала безмерность этой непредъявленной, но неотвергнутой ответственности.

Альшиц заговорил снова.

— И вы хотите, чтобы я надрывался в котловане для удовлетворения служак, которым наплевать на все, кроме их карьеры? Этот Потапов... Что он пообещал нам вчера и что он сделал сегодня? Нет, я буду сохранять силы Мирона Альшица, они нужны не мне, а тому заполярному коксохимическому заводу, который я вскоре, верю в это, буду проектировать и строить! Ах, эти лишние кубометры земли, какой пустяк, я за всю мою жизнь не сделаю того, что наворочает один экскаватор за сутки. Но это же будет несчастье, если Альшиц свалится от изнеможения и ввод нового коксового завода задержится хотя бы на месяц!

— Нарядчику и прорабу вы же не объясните этого. Они потребуют предписанных кубометров...

— Ну и что же? Когда нам объявят норму, я не постесняюсь зарядить туфту. Ваш приятель Хандомиров только и твердит об этом. Он прав, он тысячекратно прав! Я заряжу туфту на пятьдесят, наконец, на сто процентов! Начальству нужна показуха, а не работа — по-

казуху они получат. И пусть мне не говорят, что так недостойно — совесть моя будет чиста!

К нам подошел Прохоров и полюбопытствовал, о чем мы так горячо спорим.

— О норме,— сказал Альшиц.— И о туфте, разумеется.

— С нормой и здесь будет плохо,— подтвердил Прохоров.— На этом грунте и профессиональные землекопы не вытянут... Боюсь, нас и туфта не спасет. Самое главное — как ее зарядить?

Альшиц, волоча лом по земле, отправился к отвалу, а я спросил Прохорова, что это за таинственная штука — туфта, о которой так часто говорит Хандомиров, да и не он один.

— Тю! Неужто и вправду не знаешь?

— Саша, откуда же мне знать? Я работал на заводе, а не на строительстве.

— На заводах тоже туфтят. В общем, если с научной точностью... Я пошел на свое место, туда шагает Потапов! Потом потолкуем.

День этот был все же лучше предыдущих: поскольку норм пока не объявили, нам и не записали их невыполнения. Ужин выдали нормальный. Но всех тревожило, что будет потом? Сколько продлится придуманное Потаповым облегчение? Только ошеломляющее известие о приезде Риббентропа в Москву, переданное по вечернему радио, оттеснило местные заботы. Взволнованные, молчаливые, мы сгрудились у репродуктора. В мире назревали грозные события, мы старались разобраться в их смысле...

Утром Потапов принес из конторы две новости. Первая была приятна — в УРО появилась комиссия по использованию заключенных на специальных работах. Комиссия затребовала все личные дела, будут прикидывать — кого куда? «На днях конец общим работам!» — твердили наши «старички», то есть те, кому подходило к сорока и кто уже откликался на фамильярно-почтительное обращение бытовиков: «Батя!» Уверенность в скором освобождении от физического труда была так глубока, что никто особенно не огорчился от второй новости — введения норм. Подумаешь, норма! Разика три-четыре схватим трехсотку на ужин и трехсотку на завтрак, ни-

чего страшного! На исходе недели все равно забросим кирку и лопату.

Потапов ходил темнее тучи. Меня удивил его вид, и я полез с расспросами.

— Боюсь, от радости люди одурели!— сказал он сердито.— А чему радоваться? Пока комиссия перелистает все дела, пройдет не один месяц. И куда устроить всю эту ораву специалистов? Строительство только развертывается, сейчас одно требуется — котлованы и еще котлованы.

— Значит, вы считаете?..

— Да, я считаю. Врачей и музыкантов заберут, болезни надо лечить, а музыка поднимает дух, это только дуракам не известно. А какую работу здесь найти агроному? И где те заводы, которым понадобились инженеры? Большинству еще месяцы вкалывать на общих. И для многих это катастрофа!

— Вы тоже считаете, что мы не справимся с нормой?

Он посмотрел на меня с печалью.

— Даже от вас не ожидал таких наивных вопросов! В ближайшие дни мы будем снимать на площадке дерн. Общесоюзная норма на рабочего — семь кубометров дерна в смену. Вы представляете себе, что такое семь кубометров? Я строил железные дороги в средней России. Здоровые парни, профессионалы, в прекрасные погоды сгоняли с себя по три пота, пока добирались до семи кубометров. А здесь вечная мерзлота, здесь гнилая полярная осень, здесь пожилые люди, только вышедшие из тюрьмы, где они сидели по два-три года, люди, никогда не бравшие в руки лопаты... Их от свежего воздуха шатает, а нужно выдать семь кубометров! А не выдашь — шестьсот граммов хлеба, пустая баланда, дистрофия... Вы человек молодой, вам что, но многих, которые сейчас ликуют, через месяц понесут ногами вперед — вот чего я боюсь!..

Он посмотрел на меня и понял, что переборщил. Он шутливо потряс меня за плечо и закончил:

— Однако не отчаивайтесь! Человек не свинья, он все вынесет. Схватка с нормами закончится нашей победой.

Он не ожидал, что я поверю в его бодрые уверения после горьких откровений. Он говорил о победе над нормами потому, что так надо было говорить. На воле давно позабыли, что значит высказывать собственное мнение, да, вероятно, его уже и не существовало у большинства — люди мыслили всегда одними и теми же, раз и навсегда изреченными формулами, даже страшно было по-

думать, что можно подумать иначе! Я вспомнил, как философствовал пожилой сосед в камере Пугачевской башни в Бутырках: в самой материалистической стране мира победил идеализм — нами командуют не дела, а слова, словечки, формулировочки, политические клейма... Лишь в заключении возможна своеобразная свобода мысли — но втихомолку, меж близких. Потапов знал меня недели три. Он просто не доверяет мне — так я думал весь этот день. В конце его я понял, что ошибся.

Это был первый хороший день за две недели нашего пребывания в Норильске. Нежаркое солнце низвергалось на землю, тундра пылала как подожженная. Она была кроваво-красна, просто удивительно, до чего неистовый красный цвет забивал все остальные: мы мяли ногами красную траву, вырывали с корнями карликовые красные березы, в стороне громоздились горы, устланные красными мхами, а в ледяной воде озер отражались красные тучки, поднимавшиеся с востока. Я резал лопатой дерн и наваливал его в тачку, и все посматривал на эти странные тучки. Меня охватывало смятение, почти восторг. Я раньше и вообразить не мог, что существуют такие края, где летом в солнечный полдень облака окрашены в закатные тона. Воистину здесь открывалась страна чудес! В увлечении этим праздничным миром я как-то забыл о нависшей надо мной норме.

Меня пробудил к действительности Анучин.

— Сергей Александрович,— сказал он,— боюсь, мы и кубометра не наворочаем.

Он подошел ко мне, измученный, и присел на камешек. В двадцати метрах от нас осторожно, чтобы не запачкать дорогого пальто, трудился Альшиц. Наполнив тачку всего на треть, он покатил ее к отвалу. Там сидел учетчик с листом бумаги на фанерной дощечке. Учетчик спрашивал подъезжающего, какая по счету у него тачка, и делал отметку против фамилии.

Анучин продолжал, вздыхая:

— Участок удивительно неудачный — дерн тонкий, очищаешь большую площадь, а класть нечего! Выше дерн мощнее, я проверял — толщина полметра, если не больше. Там за то же время можно раза в три больше нагрузить тачек. Потапов приказал — очищать площадь пониже, а здесь дерна мало.

— Здесь не выполним нормы.

— Мы заряжаем туфту. Учетчик записывает с наших слов. Я вс гда любил четные цифры. После четвертой у меня шестая, потом восьмая, потом десятая... Вы понимаете? Альшиц, наоборот, специализируется на нечетных.

Я подошел к Альшицу. Он отдыхал с пожилым химиком Алексеевским и Хандомировым — беседовали о миссии Риббентропа в Москве. Альшиц подтвердил, что удваивает фактическую выработку, то же самое делали Хандомиров с Алексеевским. Хандомиров считал, что провала не избежать.

— Я все прикинул в карандаше,— сказал он, вытаскивая блокнот.— Сейчас мы идем на уровне пятнадцати процентов нормы. Заряжаем сто процентов туфты, ну, максимально возможное технически — сто пятьдесят. Все равно, меньше пятидесяти процентов. Штрафной паек обеспечен.

— Скорей бы вверх!— проговорил старик Алексеевский, с тоской вглядываясь в край площадки.— Там дерн потолще.

С этой минуты я очищал от дерна площадку вверх, к вожделенному толстому покрову. И поняв, наконец, что такое туфта и как ее заряжают, я поспешил взять реванш за длительное отставание в этой области. Я хладнокровно зарядил неслыханную туфту. Я вез на отвал четвертую тачку, но крикнул учетчику «восьмая!». Глазам своим он не верил давно, но тут не поверил и ушам.

— Ты в своем уме? У тебя же четыре!

— Были! Хорошие люди не спят на работе, а ходят от трапа к трапу. Я сваливал вон там, за твоей спиной.

На отвал вело штук шесть деревянных дорожек, а учетчику вездесущность хоть и полагалась по штатному расписанию, но не была отпущена в натуре. Он мог спорить сколько угодно, но ничего не способен был доказать. Он заворчал и произвел нужную запись.

Я возвращался на свой участок, посмеиваясь. Я твердил про себя чудесные дантовские канцоны в пушкинском переводе, приспособленные мною для нужд сегодняшнего дня:

Тут грешник жареный протяжно возопил!
«О, если б я теперь тонул в холодной Лете!
О, если б зимний дождь мне кожу остудил!
Сто на сто я туфчу — процент неимоверный!"

Когда ко мне опять подошел Прохоров, чтоб отдохнуть в компании, я оглушил его адскими строчками. Он недоверчиво посмотрел на меня.

— Ты серьезно? Разве и при Пушкине знали туфту?

Я рассмеялся.

— Нет, конечно. У Пушкина «терплю», а не «туфчу». Туфта — порождение современных обществ.

Однообразное очковтирательство Альшица меня не устраивало. От унылого ряда одних четных или нечетных цифр могло затошнить и теленка. Я обращался с туфтою как подлинный ее знаток. Я туфтил с увлечением и выдумкой. Я рассыпал и запутывал цифры, вязал ими, как ниткой, расставлял, как завитушки в орнаменте, то медленно полз в гору, то бешено взмывал ввысь. В азарте разнообразия я даже низвергнулся под уклон.

— Постой, постой!— закричал изумленный учетчик.— У тебя недавно было семнадцать тачек, а сейчас ты говоришь: пятнадцатая!

— Теперь ты сам убедился, насколько я честен,— сказал я величественно. — Мне чужого не надо. Я оговорился. Пиши двадцатая.

Он покачал головой и написал «восемнадцатая». Фейерверк моих производственных достижений его ошеломлял. Он стал присматриваться ко мне внимательней, чем ко всей остальной бригаде. Еще час назад меня бы это огорчило. Я поиздевался над его запоздалым критическим усердием. Я наконец добрался до толстого дерна. Лопата здесь уходила в землю с ободком. Сгоряча я не заметил, как много труднее стало резать этот высокий земляной слой.

Мои соседи тоже приползли к желанной линии. Во время очередного перекура мы сошлись в кружок.

— Станет легче,— устало порадовался Алексеевский.

— Ровно на столько, на сколько тридцать процентов нормы легче пятнадцати,— уточнил Хандомиров.— У меня все записано — поинтересуйтесь.

Никто не проявил любопытства. Мы знали, что Хандомиров в расчетах не ошибается. Восторг оттого, что удалось блестяще освоить туфту, погас во мне. Каждая моя косточка ныла от усталости. Я с печалью смотрел на Алексеевского и Альшица. Я знал, что им еще хуже.

В этот момент в нашу работу властно вмешался Потапов. Если раньше он гнал нас вверх, к «большому дерну», то теперь внезапно затормозил порыв к краю пло-

щадки. Он приказал возвращаться вниз, на тощие земляные покровы, к скалам, еле прикрытым мхом.

— Черт знает что!— сказал он непререкаемо.— Выбираете работешку повыгоднее? Будьте любезны очищать площадку по плану.

Он говорил это так громко и раздраженно, что никто не осмелился спорить. Мы с горечью отступились от вскрытого нами мощного земляного пласта. Отныне мы быстро очищали большие площади, но тачка набиралась нескоро. Мы надвигались на обрыв, сбрасывая в него остатки жалкого травяного покрова. Уставшие и приунывшие, мы еле плелись. Мы знали, что нас уже ничто не спасет от штрафного пайка.

— Я подтверждаю, что бригадир у нас полоумный,— мрачно сказал Альшиц.

— Рассчитывать он не умеет,— поддержал Хандомиров.— Ум бригадира — это расчет!

Потапов носился по площадке, поглядывая на часы, уцелевшие у него после всех обысков и изъятий, и потораапливал нас.

— Не сидеть! Здесь не дом отдыха! Чтобы все до отвала было зачищено!

Мы огрызались. Перед концом работы мы дружно ненавидели Потапова. Мы поняли, что он превратился в прислужника начальства и пощады от него не ждать. Мы негодовали и ругались, провожая его злыми глазами. Минут за пятнадцать до конца он исчез. Не сговариваясь, мы тут же забросили тачки и лопаты.

— Как это вам понравится?— пожаловался Альшиц.— Я уже думаю, что он не сходит с ума, а перерождается. Согласитесь, что для нормального сумасшедшего его действия слишком безумны.

Хандомиров обнародовал окончательный результат своих расчетов:

— Всего мы выполнили семнадцать процентов нормы. Натянем по записи около сорока... Завтра получим шестьсот граммов хлеба.

В это время со стороны конторы показалась группа начальников. Впереди надвигался Енин, за ним теснились прорабы и оперуполномоченные. Всех интересовало, как бригада инженеров справилась с земляными работами.

Рядом с Ениным, угодливо склонив широкую спину, шагал Потапов. Мы не слышали, что он говорит. Мы

видели только его заискивающее лицо и быстрые жесты рук. Мы поняли, что он наговаривает на нас, оправдывая себя. Когда мы разобрались, о чем он толкует с Ениным, у нас перехватило дыхание. Даже в самых черных мыслях о нем, мы не допускали того, что произошло реально.

— Я со всей ответственностью заявляю, что записи лживы,— громко заговорил Потапов, когда начальственный отряд остановился. Теперь мы стояли двумя тесными кучками: у обрыва — бригада инженеров-землекопов, выше — начальники, а в крохотном пространстве между нами и ими — Потапов и помертвевший от ужаса учетчик.— Вот смотрите, разве этому можно верить?— Он вырвал листок из рук учетчика.— Девятая тачка, потом тринадцатая, потом четырнадцатая и сразу — семнадцатая. Я не виню учетчика, но его нагло обманывали! Так можно и триста процентов получить запросто.

Он смотрел на Енина, а мне казалось, что он пронзает беспощадным взглядом меня. Он цитировал мои цифры, вольное творение туфтача-фантазера. Я недавно так гордился этими звонкими цифрами, теперь они падали на меня, как камни. Я опустил голову, сделал дыхание маленьким и робким.

Енин спросил:

— Что же вы предлагаете, бригадир?

— Прежде всего, уничтожить эту запись, как зловредную туфту!— Потапов рванул листок и бросил остатки на землю. Горный ветер подхватил и унес их в отвал. Мы с молчаливой скорбью следили, как исчезает в темнеющей тундре единственная наша надежда на сносную еду.— А затем установим сами истинно выполненный объем работ. Никакой туфты — вот мой лозунг!

— Правильно — никакой туфты! У вас верный подход, бригадир, мы это запомним. А как вы определите истинный объем?

— Нет ничего проще. При вас замерим очищенную площадь и высоту дернового слоя, а затем помножим одно на другое. Вон там разрез по неснятому дерну, прошу туда.

Никто из нас не проговорил ни слова, но в воздухе понесся ветер от полусотни разом вздохнувших грудей. Минутой позже Хандомиров, быстро проделав в уме расчет, восторженно прошептал:

— Вот это туфта, так туфта! Почти вдесятеро! Процентов сто тридцать нормы, ручаюсь головой! Боже, какие мы кусочники по сравнению с Михаилом Георгиевичем!

А когда начальство, утвердив промеры, проделанные при нем, и пригрозив, что так будет и впредь при каждой попытке очковтирательства, наконец удалилось, мы всей бригадой набросились на Потапова. Мы качали его, сменяя один другого и снова вступая в дело, ликующе кричали, с хохотом и свистом, с хлопаньем в ладоши и кровожадными криками: «Никакой туфты! Никакой туфты!» Потапов потерял голос еще до того, как мы наполовину выплеснули переполнявшие нас чувства. Он шатался и закатывал глаза. Мы схватили его подмышки и тащили к вахте, не выпуская из рук, и орали на всю темную тундру все тот же дикий, воинственный припев, ставший отныне нашим лагерным гимном:

Все замеры в кусты! Все замеры в кусты!
Никакой туфты! Никакой туфты!

... В этот знаменательный день я не только познакомился с туфтой, но и понял самое важное: настоящую туфту можно зарядить лишь под флагом принципиальной борьбы с туфтой!

3

Если в лагере и выпадает порой какое-то счастье, то в этот день оно посетило нас. Мы бригадно радовались в дороге, хохотали в бараке. Ничего особенного не произошло — раз в семь или в восемь преувеличили реальную выработку, нормальное производственное вранье, без крупного обмана и маленькой конторки не выстроить — только и всего. Но нас восторженно потрясла фантастичность обмана. Были какие-то изящность и красота в том, как обеспечил наш бригадир завтрашний нормальный паек. Туфта была заряжена не той топорной, ремесленной работой, какую мы пытались самолично сотворить лживыми цифрами вывезенных тачек, нет, она покоряла мастерством, равновеликим искусству, а не производству.

— Потапов — человек министерского ума,— твердил увлекающийся Хандомиров.— Ему бы главком руководить, а не бригадой. С таким не пропадешь, это точно.

Нам в тот вечер казалось, что найден единственно верный способ нормального существования в лагере — туфтить и туфтить, переходить от одного обмана к другому, заботиться не о деле, а о показухе. Мы почему-то все поголовно уверились, что так будет продолжаться всегда. Никому — кроме самого Потапова, разумеется, — и в голову не пришло, что ни Енин, ни его прорабы, ни даже оперуполномоченные на Металлургстрое ни секунды сами не верят в истинность фантастических земляных выработок. Но они знали, что если их не одобрить сегодня, то завтра, ослабленные недоеданием, мы и того мизера не наработаем, какой реально наработали сегодня. Близились выемки котлованов под оборудование, там ни показуха, ни туфта не проходили — машины надо ставить на настоящие фундаменты. Когда начались эти работы, я уже не трудился на Металлургстрое, но с товарищами еще встречался — им было нелегко! Ян Ходзинский, дольше других помучившийся на «общих работах», так сформулировал следующий этап строительства: «Наверху — Бог, по бокам — мох, впереди — ох!»

После ужина вся бригада повалилась на нары. Кто-то подсчитал, что каждый лишний час сна эквивалентен пятидесяти калориям пищи — таким резервом энергии нельзя было пренебрегать. Правда, нам до нормального существования тогда не хватало, наверное, тысячи две калорий, то есть лишних сорока часов сна ежесуточно, но тут уж ничего нельзя было поделать.

Я перед сном погулял по лагерю. У клуба небольшая толпа ожидала, когда откроют двери. На стене висело объявление, что сегодня самодеятельные танцы и производственные частушки, а во втором отделении скрипичный концерт Корецкого, заключенный скрипач играет на собственном инструменте. Я уселся в первом ряду. Народу быстро прибывало. Не так много, как при показе кинофильмов, но с ползала набралось. Первая часть меня не увлекла — та самая самодеятельность, которая, по определению Хандомирова, делалась непрофессионалами и потому восторга не вызывала.

А скрипач Корецкий играл хорошо. Он, как и мы, был еще в гражданской одежде, а не в лагерном обмундировании — правда, не во фраке, как полагалось бы, а в пиджачной паре.

В нашем Соловецком этапе его не было, он, наверное, прибыл с красноярцами, их партия выгрузилась в Дудинке вскоре после нашей. И ему, и его аккомпаниатору — тоже профессиональному пианисту — дружно похлопали. В зале сидели и настоящие любители музыки.

Корецкий завершал клубный вечер. Он еще раскланивался на сцене, а зрители уже повалили вон. Я подошел к скрипачу и поблагодарил за музыку. Он ответил равнодушным кивком: признание лагерного слушателя, вероятно, и не заслуживало большего. Я продолжал:

— Меня взяли в Ленинграде, а осудили в Москве. И вот перед самым арестом приключилась такая история. В Большом зале Ленинградской филармонии обьявили концерт известного скрипача. Я поспешил туда, но все билеты были проданы. И сколько я ни выпрашивал лишнего билетика, попасть на концерт мне не удалось. Я очень жалел, в программе значились прекрасные скрипичные пьесы.

Корецкий немного оживился.

— Наверное, был концерт Мирона Полякина или Михаила Эрденко? Они часто тогда выступали. Я сам очень люблю этих превосходных скрипачей.

— Это был ваш концерт, Корецкий,— сказал я.— И на ваш концерт в Ленинграде я не достал билета. А сейчас я слушаю вас, не затратив ни денег, ни времени на очередь в кассе. И не знаю, радоваться этому или печалиться.

Он смущенно засмеялся и пожал мне руку. Несколько человек, заинтересованные нашим разговором, подошли поближе. Корецкий оглянул опустевший зал и что-то сказал аккомпаниатору. Тот пожал плечами.

— Пожалуй, я сыграю вам кое-что из программы того концерта, раз уж вы тогда не сумели меня послушать. И только сольные вещи, у нас нет нот для аккомпанемента.

Я уселся на прежнее место, рядом сел аккомпаниатор. Все оставшиеся слушатели заняли два ряда. Корецкий сыграл «Цыганские напевы» Сарасате, кусочек из баховской «Чаконны», две скрипичные арии — Генделя и Глюка. Я слушал, закрыв глаза. Великая музыка в лагерном клубе хватала за душу еще сильней, чем в нарядном концертном зале. Корецкий опустил скрипку и сказал:

— Простите, больше не могу. Наш паек не восполняет затраты даже физической энергии, не говоря уже о нервной. Оправлюсь после этапа, буду играть больше. Спасибо вам, что так слушали меня!

Он благодарил нас, мы благодарили его. Я вышел из клуба и стал бродить по опустевшему лагерю. Музыка опьянила меня сильней, чем вино, она расковывала душу, а не тело. Музыку надо было пережить в одиночестве, я подходил к нашему семнадцатому бараку и возвращался к запертому клубу. Из кухни возле клуба тянуло запахом завтрашней утренней баланды, я два раза прошлялся мимо раздаточного окна и непроизвольно втягивал в себя малопитательный аромат. Близость кухни мешала восстанавливать в памяти услышанные мелодии. Я рассердился на себя, что низменные потребности тела не корреспондируют высоким наслаждениям души — и пошел в барак.

С верхних нар свесил голову Прохоров.

— Ну как, Серега, концерт?

— Отличный. Можешь пожалеть, что не пошел.

— Жалею только о том, что раздатчик не налил второй миски супа. Слышал недавно лагерное изречение: одной пайки мало, а двух не хватает. Точно по мне.

Его жалобы вдохновили меня на ослепительную идею.

— А трех паек хватило бы, Саша? Могу предложить их.

Он даже вздохнул, до того несбыточны были мои посулы.

— Не уверен, что и трех хватит, но попробовать бы надо. Помнишь, как учили вузовские диаматчики: критерием истины является практика. Особенно в лагере — очень уж философское это учреждение.

— Тогда слезай со второго этажа, бери бак — и пошли за тремя порциями баланды на каждого.

Он ни единым членом не пошевелился.

— Не трепись! Сам трепло, но такого...

— Все-таки послушай.

И я рассказал, что, проходя мимо столовой, почуял дух еще не полностью розданной сегодняшней баланды. Бригады на ночные работы не выводят, организованных раздач больше не будет. Что поварам делать с остатками варева? Сами поедают, потчуют друзей... Почему бы нам не выпросить немного и для себя? Могут шугануть, да ведь попытка не пытка.

Прохоров проворно соскочил с нар и схватил бачок.

— Пошли, Сергей. Условия такие: я несу бак, ты выпрашиваешь баланду. Тискать роман и раскидывать чернуху, выражаясь по-лагерному, ты мастер. Так вот — сегодня ты должен превзойти самого себя — в смысле переплюнуть любого оратора.

— Будь спокоен. Пламенные проповеди епископа Иоанна Златоуста покажутся невнятной мямлей сравнительно с моей речью к поварам.

Но вся заранее расхваленная моя речь свелась к двум умоляющим фразам. Прохоров взметнул пустой бачок на раздаточный столик, из окна выглянул упитанный поварюга — щеки шире плеч — а я, смешавшись, пробормотал:

— Кореш, будь человеком. Нам бы остатку, понял...

Повар вытаращился на меня и издевательски ухмыльнулся. Видимо, еще не было случая, чтобы Уксус Помидорычи из «пятьдесят восьмой» осмеливались просить добавки. Он взял бачок, кликнул помощника и пошел с ним к котлам. Спустя минут пять — наливали в бачки литровыми черпаками — оба они единым махом водрузили на столик наполненную доверху посуду. Повар со смешком снабдил меня ценным наставлением:

— Тащи, доходяга. И не обварись, суп горячий.

Я поманил скрывавшегося в тени Прохорова.

— По условию, носка — твоя.

Но он не сумел даже снять трехведерный бак со стола. Вдвоем мы все же стащили его на землю, не пролив и капли драгоценного варева. Вцепившись в ручки бака, мы потащили добычу в барак. Но руки долго не выдерживали тяжести, мы менялись местами. Это удлиняло отрезок пути без остановок не больше, чем на десяток метров. Потом Прохоров предложил тащить в четыре руки. Стало легче держать бак, зато трудней двигаться: идти приходилось боком вперед. На полдороге, у каменной уборной, солидного домика с обогревом и крепкой крышей — сконструировали для пурги и тяжкоградусных морозов — я попросил передыха.

— Отлично! Пойду облегчусь,— сказал Прохоров и направился к уборной.

Но его остановил парень из «своих в доску» и заставил вернуться.

— Парочка заняла теплое местечко, так он сказал,— объяснил Прохоров возвращение.

Мы с минуту отдыхали, потом снова взялись за ручки. Из уборной вышли мужчина и женщина, к ним присоединился охранявший любовное свидание — все трое удалились к другому краю лагеря, там было несколько бараков для бытовиков и блатных.

— Мать-натура в любом месте берет свое,— сказал Прохоров, засмеявшись.— Теперь так, Сергей, через каждые сто шагов остановка на три минуты. Шаги считаешь ты, ты физмат кончал, а я лишь электрик.

— Электрики без математики — народ никуда,— возразил я, но начал считать шаги.

Втащив ношу в барак, мы поставили бачок на длинную скамью, протянувшуюся вдоль стола, и сами изнеможденно повалились на нее по обе стороны бака — так уходились, что не было сил сразу хвататься за ложки. Барак мощно спал, наполняя воздух храпом, сонным бормотанием и разнообразными испарениями. Я предложил будить всех и каждому выдавать по миске супа. Прохоров рассердился.

— Слишком жирно — всем по миске. И не подумаю подкармливать тех, кто раздобылся деньгами, жрет провизию из ларька, а с нами и в долг не поделится. Будим только хороших людей и настоящих доходяг. И не всех разом, а по паре, чтобы без толкотни и шума. Первая очередь — наша с тобой. Работаем!

Мы принялись выхлебывать бак. Пшенный суп был вкусен и густ, в нем попадались прожилки мяса. Но когда, впихнув в себя порции четыре варева, мы отвалились от бака, уровень в нем понизился всего лишь на три-четыре сантиметра.

— Нет мочи,— огорченно пробормотал Прохоров.— Погляди, брюхо, как барабан. Не то что ложкой, кулаком больше не впихнуть.

Я отозвался горестно-веселым куплетом, еще с великих голодух 1921 и 1932 годов засевшим у меня в мозгу:

Что нам дудка, что нам бубен?
Мы на брюхе играть будем.
Брюхо лопнет — наплевать!
Под рубахой не видать!

— Я бужу Альшица, ты Александра Ивановича,— сказал Прохоров.

Старик Эйсмонт, услышав о неожиданном угощении, поднялся сразу. Альшиц сперва послал Прохорова к не-

хорошей матери за то, что не дал досмотреть радужного сна, но, втянув ноздрями запах супа, тоже вскочил — даже в самых радостных сновидениях дополнительных порций еды не выдавали. Эйсмонт похлебал с полмиски и воротился на нары. Альшиц наслаждался еще дольше, чем мы с Сашей Прохоровым. Затем наступила очередь Хандомирова и Анучина, после них разбудили бригадира Потапова и бывшего экономиста Яна Ходзинского. Эта пара гляделась у бака эффектней всех — рослый Потапов, не вставая со скамьи, загребал в баке ложкой, как лопатой, а маленький Ходзинский приподнимался на цыпочки, чтобы захватить супа в глубине бака. Пиршество в бараке продолжалось до середины ночи, но мы с Прохоровым этого уже не видели. Мы, обессиленные от сытости, провалились в сон, когда над баком трудилась четвертая пара соседей.

... Рассказ мой будет неполон, если не поведаю о нескольких встречах с Прохоровым, после того как мы — надеюсь, навек — распростились с лагерем. В 1955 году решением Верховного Суда СССР нас обоих реабилитировали. Прохоров испытал еще одну радость, мне, беспартийному, неведомую — его восстановили в партии со всем доарестным стажем. Он жил у сестры в Гендриковом переулке, в доме, где некогда обитали Брики и Маяковский, там уже был тогда музей Маяковского.

— Срочно ко мне, встретимся на Таганке,— позвонил мне Прохоров, я тоже тогда жил в Москве у родственников.

У станции метро на Таганке Прохоров рассказал мне о своей радости и объявил, что ее надо отметить: душа его жаждет зелени, которой нам так не хватало на севере, а также хорошего шашлыка, отменного вина и небольшого озорства — из тех, которым все удивляются, но которые не заслуживают милицейской кары. Я предложил поехать в Парк культуры и отдыха — зелени там хватит на долгую прогулку, а шашлыков и вина в ресторане — на любые культурные запросы. Что же до хулиганства, то выбор его предоставляю ему самому. Мы спустились в метро. На середине эскалатора Прохоров, скромно стоявший на ступеньке, вдруг издал дикий индейский клич и мгновенно принял прежний скромный вид. На нас обернулись все, находившиеся на эскалаторе. Боюсь, виновником отчаянного вопля пассажиры посчи-

тали меня — я неудержимо хохотал, а с лица Прохорова не сходила постная благостность, почти святость.

Мы поднялись вверх на Октябрьской площади. Прохоров вдруг затосковал. Воинственного клича в метро ему показалось мало, ликующая душа требовала чего-то большего. Он пристал ко мне — что делать? Я рассердился. Меня затолкали пешеходы, ринувшиеся на зеленый свет через площадь. В те годы на Октябрьской не существовало подземных переходов, все таксисты Октябрьскую, как, впрочем, и Таганку, дружно именовали «Площадью терпения», а пешеходы столь же дружно кляли. Посередине площади, на выстроенном для него бетонном возвышении, милиционер в белых перчатках лихо командовал пятью потоками машин, старавшимися вырваться на площадь с пяти вливавшихся в нее улиц.

— Что делать? Посоветуй же, что бы сделать?— громко скорбел ошалевший от счастья Прохоров.

Я показал на милиционера, величаво возвышавшегося в струях обтекавших его машин.

— Подойди к нему и поцелуй его.

Прохоров мигом стал серьезным.

— Поставишь три бутылки шампанского, если выполню.

— А ты пять, если не выполнишь.

— Годится. Гляди во все глаза.

Он решительно зашагал с тротуара на середину площади. Завизжала тормозами чуть не налетевшая на него «Победа». Милиционер сердито засвистел и свирепо замахал рукой, чтобы нарушитель порядка немедленно убирался. Прохоров подошел к милиционеру и что-то проговорил. Милиционер вдруг расплылся в улыбке и наклонил голову к Прохорову. Тот чмокнул стража порядка в щеку, что-то еще сказал и направился на другую сторону площади. Милиционер, не сгоняя дружелюбной улыбки, помахал вслед моему другу затянутой в перчатку рукой — два или три водителя, не поняв жеста, испуганно затормозили. Я побежал на переход, но пришлось пережидать, пока пройдет плотный поток машин — рейд Прохорова через площадь создал немалый затор.

— Сашка, что ты ему сказал?— спросил я, догнав ушедшего вперед друга.— Не сомневаюсь, врал невероятно.

Прохоров поморщился.

— Нет такого вранья, чтобы милиционеры дали себя целовать. Фантазии у тебя не хватает.

— Что же ты ему наговорил?

— Только правда могла подействовать. Так, мол, и так, милок, сегодня восстановили в партии со всем стажем. Прости, не могу, душа поет, дай я тебя поцелую! И поцеловал!

— Три бутылки шампанского за мной, расплата без задержки,— сказал я, восхищенный, и мы повернули в парк Горького.

Уже вечерело, когда мы уселись на веранде ресторана. Над столиком нависал абажур, в нем светились три лампочки. В душе Прохорова еще бушевал задор. Но хулиганить в одиночестве ему уже не хотелось.

— Теперь твоя очередь творить несуразное,— объявил он.

Я возмутился.

— С чего мне несуразничать? Я реабилитацию уже отпраздновал.

Он показал на абажур.

— Помнишь, как в Норильске мы отмечали освобождение из лагеря? Ты тогда дважды попадал пробкой от шампанского в указанные тебе точки на потолке. Разбей пробками эти лампочки. Штрафы плачу я.

— Раньше подвыпившие купчики били зеркала,— съязвил я.

— Бить зеркала — к несчастью,— строго возразил он.— Я человек современной индустриальной культуры и верю в нехорошие приметы. Электролампочка в каталогах научного суеверия не значится. Бей, говорю тебе!

Я аккуратно установил первую бутылку на нужное место и ослабил пробку. Когда пробка сама поползла наверх, я снял руки со стола и безмятежно откинулся на стуле. На звон разлетевшейся вдребезги лампочки прибежала рассерженная официантка.

— Несчастная случайность,— объяснил сияющий Прохоров.— Не сердитесь, девушка.

— Вот я позову милиционера, и он установит, случайность или безобразие,— пригрозила официантка.

— Правильно. Зовите, надо призвать к порядку зарвавшееся хулиганье,— сказал я.— Но учтите, девушка, этот наглый тип,— я сурово ткнул пальцем в ухмылявшегося друга,— сегодня платит вдесятеро за каждое повреждение, которое нанесет ресторану. Время у него подошло на денежные расходы, надо этим воспользоваться.

И скажите шефу, чтобы шашлык был такой, какого и в «Арагви» не готовят.

— Больше не разбивайте лампочек,— попросила официантка.

Шашлык поспел к моменту, когда и вторая лампочка разлетелась осколками. Официантка уже не сердилась, а улыбалась. Она сказала:

— Учтите, ребята, запасных лампочек сегодня мне не достать. Если и третью уничтожите, будете сидеть в темноте.

Мы учли ее угрозу и разнесли последнюю лампочку, когда покончили с шашлыком. Официантка проводила нас до выхода и пожелала, чтобы мы приходили почаще, ей нравятся веселые люди.

Когда мы, выйдя из парка, зашагали к метро, Прохоров задумался.

Мне показалось, что он не угомонился и обдумывает новую каверзу. Но он сказал со вздохом:

— Завтра выхожу на работу. Предлагают ответственную должность в главке, а там у них такие порядки, столько технического старья — разгребать и разгребать эти Авгиевы конюшни, как, помнишь, выражался у нас начальник культурно-воспитательной части. Надо выводить главк на уровень современной техники. Все время думаю только об этом.

— Все же не все время,— не поверил я. Он удивленно посмотрел на меня. Он не понял, почему я возражаю.

МИШКА КОРОЛЬ И Я

I

В начале октября меня перевели из второго лаготделения в первое. Во втором отделении жили строители — землекопы и проектировщики. В первом — производственники: рабочие Малого завода, шахтеры и рудари. Я был теперь производственником — инженером опытного цеха.

Я остро ощущал утрату старого жилья, даже по родному дому так не тоскуют, как в первые дни тосковал по второму лаготделению. Там, в этом вечно голодном втором, где ложки облизывались насухо, а хлеб подъедался до крох, было сравнительно опрятно и чисто, интересно и культурно. Там обитала интеллигенция, там был интеллигентный быт. В клубе скрипач Корецкий играл Равеля и Паганини, Сарасате и Баха, Алябьева и Де-Фалья. В бараке можно было сразиться в шахматы с проектировщиком Габовичем — любому его противнику быстрый мат гарантировался. На нарах беседовали Потапов и Эйсмонт, Прохоров и Альщиц, Хандомиров и Ходзинский. Когда не очень лило, я часами прогуливался по зоне с Анучиным, мы спорили о философии Лейбница и Шпенглера, поэзии Вийона и Маяковского, эпосе Гомера и Шолохова. С милым, всегда немного грустным и очень мужественным Липским обсуждали представление Леметра о мироздании, общетеоретические ошибки Гейзенберга и Бора, парадоксы Де-Бройля и Борна. С забиякой Прохоровым бегали рассматривать этапы женщин, их уже прибыло две баржи, с профессором Турецким — исправляли партийную линию, выстраивали ее по-ленински, обсуждая одновременно, есть ли у нас какие-либо шансы на досрочное освобождение. А все это, поздно ввечеру, почти в полночь, часто завершалось тем, что по моему с Прохоровым примеру кто-нибудь брал пустое ведро и выклянчивал на кухне остатки ужина — вот было торже-

ство, если повар попадался с душой и в барак притаскивали дополнительного супа и каши! Нет, там, в этом нелегком и, по-своему, хорошем втором лаготделении я впервые всем нутром ощутил, что не единым хлебом жив человек.

Теперь со всем этим приходилось проститься.

Все в Норильске знали, что первое лаготделение — царство блатных. И в нашем интеллигентском втором тоже имелись — целые бараки — и уголовники, и бытовики. Но там их подавляла массой «пятьдесят восьмая», воры могли учинять отдельные безобразия, но творить безобразную погоду были бессильны. А в первом лаготделении они распоясывались. Конечно, и здесь обитала «пятьдесят восьмая» — и в немалом количестве. А еще бо́льше было бытовиков — осужденных за административные, хозяйственные провины, за мелкое хулиганство, за драки, за хищения и растраты, за воровство тоже. Бытовики были преступниками, но не доходили в своих проступках до профессионализма настоящих уголовников, гордо именовавших себя «ворами в законе». Бытовики совершали преступления перед строгим до жестокости законом, но не жили преступлениями как профессиональной работой. И они, не терявшие связей с временно потерянной волей, с родителями, женами и детьми, не создавали лагерной погоды, а составляли ту боязливую, робко покорную начальству массу, внутри которой, как злотворные бактерии в питательном бульоне, наливались соками настоящие блатные: те, что существовали преступлениями, не заводили отягчающих их семей,— не женились, а «подженивались»,— и громогласно хвастались, попадая в очередную отсидку за проволочный забор: «Прибыл из отпуска. Кому лагерь — кому дом родной». Многие и вправду в лагере чувствовали себя лучше, чем на воле — крыша над головой есть, пайка идет, в баню водят, в кино приглашают. А что до работы, так от работы кони дохнут — а чем мы хуже лошадей?

Таким нам всем издалека — за пятьсот метров — виделось государство блатных. И мы передавали один другому страшные слухи — по-местному «параши»,— что в том, в первом отделении, кровавятся споры банд Мишки Короля, Васьки Крылова, Ивана Дурака и какого-то Икрама — и не дай господь хоть боком кос-

нуться их свар — жизни не будет. Первая встреча с уголовниками на пересылке, а потом на этапе из Соловков в Норильск подтверждала все мрачные слухи — народ был нехороший. Узнав, что на другой день мне этапироваться на Шмидтиху, у подножья которой раскинулось первое отделение, я плохо спал ночь. Уж не знаю, что мне снилось, и снилось ли вообще, но твердо помню, что одолевавшие меня мысли вряд ли были светлей кошмаров.

2

Барак металлургов, мое новое жилище, встретил меня вонью и грязью. На заплеванных нарах валялись замызганные матрацы. Подушки лежали без наволочек, одеяла — без простынок. Как я узнал впоследствии, белье не удерживалось в бараке. Каптерка выдавала производственникам все первого срока, на другой день выданное обменивалось у вольных на спирт.

На столе была навалена горка свежего хлеба. Один из моих новых соседей присел с миской к столу и, отшвырнув несколько буханок, закричал на дневального:

— Васька, сука, сколько шпынять, чтобы только половину хлеба выбирал, все равно выбрасывать!

У меня потекли слюни и заныло в животе от съестного обилия. Если бы я не стеснялся других заключенных, я тут же, не раздеваясь, присел бы к столу и умял не меньше половины запасов. Вместо этого я пошел отыскивать отведенные мне нары.

Ко мне подскочил вертлявый парнишка с длинным носом, деловито ощупал пиджак, с уважением осмотрел сапоги.

— Френчик ничего и прохоря́ ладные!— сказал он.— Сдрючивай, дам сотнягу, понял? Все равно уведем, когда уснешь.

— Иди ты!— сказал я, указывая точный адрес, куда ему идти.

Носатый спокойно умотал ноги.

Я попросил у дневального талонов на кухню и в хлебную каптерку.

Талоны на суп и кашу он выдал и показал на стол:

— Хлеб — общий, хавай, сколько влезет. А мало, еще приволоку.

В этот день я обедал хлебом, закусывая супом. Покончив с одной килограммовой буханкой, я принялся за вторую. Вскоре я изнемог от сытости, но продолжал есть. Я ел сверх силы, не про запас и не из жадности, а просто потому, что не мог не есть, когда на столе стояла доступная еда. Я ел не из нужды сегодняшнего дня, не оттого, что аппетит не утихал — нет, я ублажал едой три года недоеданий, длинный ряд голодных дней бушевал во мне, надо было усмирить эту прорву. Я насыщал воспоминание о вечно пустом желудке, а не сам пустой желудок, воспоминание было куда более емким, чем он.

Я отвалился от стола, отяжелев и опьянев. Я пошатывался от сытости, в голове шумело, как после стакана водки. Я поплелся к наре и провалился в сон, как в яму. Проснулся я перед утренним разводом и сунул руку под подушку, куда положил брюки. Брюк не было. Собственно, брюки были, но не мои. Я с отвращением рассматривал подсунутую мне рвань — две разноцветные штанины, скрепленные чьей-то иглой в одно противоестественное целое. Ко мне подошел носатый, торговавший пиджак и сапоги.

— Ай, ай, ай!— посочувствовал он.— Закосили у сонного — ну и народ! Между прочим, говорил тебе — продай, не послушался! У нас свое долго не держится, такой барак!

— Шпана!— сказал я, стараясь сохранить хладнокровие.— Думаешь, не знаю чья работа? Почему не прихватил в придачу сапоги и пиджак?

— А ты за руку меня поймал? Нет? Тогда не болтай лишку. Френчик и прохоря тебе оставили, точно. А почему? Увести — надо продать, чтобы концы в воду. А я хочу по-честному покрасоваться перед одной простячкой, понял? Бери сто пятьдесят, пока не передумал. На замену чего-нибудь найдем, чтоб не босый и голый...

Я снова послал его подальше, он, как и вчера, отошел без злобы. Еще несколько минут я не мог набраться духу влезть в гнилое тряпье. Но другого не было, а в подштанниках выходить на работу немыслимо. Совладав с омерзением, я натянул свою «обнову».

На меня с насмешкой взирал сосед по наре — невысокий, широкоплечий мужчина средних лет с бесцветными, но умными глазами и шрамом на лбу. Вчера он назвался слесарем-лекальщиком, по фамилии Константин

3 Зак. 3931

Константинов, сообщил, что всю жизнь работает по металлу, но постоянного местожительства не имеет, за это и посажен — при случайной проверке документов на вокзале забыл, какая у него фамилия в паспорте и где тот невезучий паспорт прописан. Дневальный, указывая еще днем мою нару, шепнул с уважением: «С дядей Костей рядком положу, с тебя поллитра! Тот пахан дядя Костя, понял? На весь Союз!..»

— Ну и порядки у вас, дядя Костя!— пожаловался я. — В собственном бараке один у другого воруют.

Он засмеялся.

— Порядочки, верно! Сявки, чего с них возьмешь? А ты привыкай, здесь всего насмотришься. Тут которые беззубые — нелегко!

3

День я кое-как проработал, а вечером пошел в контору хлопотать о новом обмундировании. Хлопоты вышли без результата, и я уныло возвратился в свое новое жилище. В бараке творился разгром, как при землетрясении или обыске. Во все стороны летели подушки, наволочки, простыни, даже матрацы. У меня были украдены кружка и полотенце.

Я пожаловался дневальному, он отмахнулся.

— Не до тебя! Собираемся в баню. Складывай поживее шмотки. Ждать не будем.

Я сложил белье и присел на скамью. Без кружки можно прожить, в полотенце тоже не весь смысл жизни. Но его, это проклятое рваное полотенце, надо сейчас сдавать в бане, чтобы получить чистое, а где я достану на сдачу?

Дядя Костя хлопнул меня по плечу.

— Опять неприятности? Везет тебе, сосед!

— Полотенце увели!— сказал я.— И кружку прихватили. Завтра до портянок доберутся. Вот так и живи у вас.

Мне показалось, что он и сочувствует мне, и наслаждается моими несчастьями. Он не удержался от улыбки, хотя на словах высказал соболезнование.

— И кружку? Вот кусочники! Не везет, не везет тебе. А теперь запишут промот, раз нет полотенца — и не видать тебе обмундирования первого срока. Промотчикам один третий срок — знаешь?

— У кого-нибудь куплю полотенце. Не допущу промота.

— Правильно! У Васьки-дневального попроси, он продаст. У него чего только нет в заначке.

Дневальный, когда я стал объяснять, чего от него надо, прервал меня на полуслове. Он полез в «заначку», вытащил из подготовленного свертка свое полотенце и тут же разорвал на две части. Одну из половинок он протянул мне.

— На сдачу хватит. Будут придираться, стой, что такое выдали. С тебя трешка. Расплатишься утром. Канай живо!

Он отошел к двери и заорал диким голосом:

— Барак, внимание! Все на вахту. Объявляется ледовый поход в баню!

4

Выход в баню — всего праздник в лагере. Но поход в нее, если баня не в зоне, а подальше — тяжелое испытание. На работу шагают, топают, тащатся, шкандыбают или плетутся — кто какое слово употребляет — а в баню несутся, как угорелые. В первые пятерки пристраиваются самые борзые и задают такого темпа, что и молодые стрелочки, обожающие резвый шаг, орут: «Передний, представить ногу!» и щелкают затворами винтовок для убедительности, а иногда пускают и пулю в небо. Колонна, покоряясь силе, замирает на несколько секунд, из рядов несется яростный мат уголовных, снова начинается степенное движение, и снова уже на пятом шаге оно превращается в бег. Не помню случая, чтоб на два километра от нашей зоны до бани, расположенной за поселком, мы потратили больше пятнадцати минут.

После скачки, не переводя духа, по заболоченной тундре, мы переводили дыхание в предбаннике. Я медленно раздевался, набирая утраченные в беге силы. Взяв шайку, я поплелся на раздачу, где выдавали мыло. Здесь выстроилась очередь в полсотни голых мужчин. Впереди меня стоял дядя Костя, позади новый знакомый, тоже инженер, Тимофей Кольцов. Очередь продвигалась довольно быстро, задумываться не приходилось — надо было следить за собой, чтобы не поскользнуться босыми ногами на очень скользком, отполированном многими тысячами пяток деревянном полу.

Но я задумался. Я размышлял о том, как буду жить в новом и страшно для меня уголовном мире, и позабыл, что мир этот окружает меня и сейчас и отвлекаться от него ни на минуту нельзя.

Из предбанника к раздаче поперла группка блатных. Видимо, среди них были лагерные тузы — очередь угодливо прижалась к стенке, освобождая путь. Лишь я, погруженный в невеселые мысли, не заметил, как все вокруг шарахнулись в стороны. За это меня тут же постигла кара. Шагавший впереди с размаху двинул меня локтем в лицо. У меня брызнули искры из глаз. Не помня себя от ярости, я ударил его шайкой по голове. Он скользнул ногами вперед и с грохотом рухнул на пол.

Все это совершалось, вероятно, секунды в две или три — удар в лицо, ответный удар по голове и шумное падение тела на пол. Растерянный, я в ужасе глядел на то, что натворил. На полу катался, пытаясь подняться, рослый парень, он вопил, что разорвет меня в клочья. Я отскочил, прижался к стене спиной. Участь моя была решена. Каждому в лагере известно, что уголовные смывают оскорбление кровью. Сейчас они набросятся всем своим бешеным «кодлом»! Мне оставалось продать свою жизнь подороже. Усталость и апатия слетели с меня, словно их срубили топором. Я готовился к последней в своей жизни отчаянной драке. Дешево я им не достанусь, нет!

Сшибленный мною парень наконец вскочил. Он взмахнул кулаками, собираясь ринуться на меня. Но тут произошло нечто, вовсе уж неожиданное. Группка сопровождавших не пустила его ко мне. Они окружили его тесным кольцом, он не сумел прорваться сквозь их стену. Его яростный голос был заглушен общим хохотом, свистом, насмешками.

— Мишку Короля побил фраерок!— орали со всех сторон.— Мишка, слезай с вышки, ты больше не король! Ха, ха, ха! Как же фраерок тебя тяпнул, Мишка! Стоп, тпру, Мишка, не туда лезешь! Ай, ай, не ходи, он тебя пришьет, куда тебе до фраера! Пожалей жизнь, Мишка, пожалей свою молодую жизнь!

Мне, конечно, надо было воспользоваться поднявшейся суматохой и удрать. Я ничего не соображал, кроме того, что сейчас будет смертная драка — головой и ногами, зубами и кулаком. Во мне вдруг вспыхнула дикая кровь

отца, кидавшегося на одесской Молдаванке с ножом на четверку хулиганов. Меня замутило бешенство, еще секунда и я, вероятно, так же исступленно бы завопил, как вопил Мишка Король, пытавшийся разорвать цепь насмехающихся друзей. Но меня схватил за руку дядя Костя и потащил за собой. Он сунул мне шайку и мыло.

— Живо в парную! Думаешь, они долго его удержат? Отсмеются и выпустят, а нет — он их зубами перегрызет!

Все это он торопливо говорил на ходу. Для убедительности он легонько наддал мне коленкой в зад, и я влетел в парную.

Обширное помещение было затянуто жарким туманом. На длинных скамьях, охая, плескались люди. Я пристроился подальше от скудной лампочки, одной на всю парную — на такую предосторожность хватило соображения. Уже не помню, как я мылся. Наверное, я только делал вид, что моюсь. Все во мне готовилось к неизбежной драке. Потом дня три болели мускулы рук и ног, в таком напряжении я держал их тот час. Я был готов к любой неожиданности. Когда ко мне тихонько подобрался Тимофей Кольцов, я стремительно повернулся, чуть не кинулся не него. Он в ужасе отскочил, я показался ему очень уж страшным.

— Серега!— сказал он, мы сразу после знакомства стали говорить друг другу «ты».— Я кое-что подслушал. Мишка Король с товарищами собирается проучить тебя, когда выберемся из бани, там удобнее — темнота...

— Ясно,— сказал я мрачно.— Оттащат в сторону и расплатятся. Ну, это еще бабушка надвое сказала, что удобнее... Драка выйдет правильная!

— Надо что-то предпринять, Серега!

— А что? У них, возможно, ножи припрятаны. У меня, правда, тоже в кармане гаечный ключ — поработаю ключом...

— Глупости — ключ!.. Их много, ты один. Скажи стрелочкам, что они намереваются... Тебя отведут от колонны и отдельно сдадут на вахте, чтоб ты не ходил рядом с нами. А если тебе неудобно, то я скажу.

Я подумал.

— Не пойдет, Тимоха. Вмешивать в такие дела конвой — последнее дело. И бесцельное к тому же — за

вахтой в зоне им еще удобнее разделаться со мной, чем около бани или по дороге.

Добрый Тимофей опустил голову.

— Тогда надо прятаться, чтоб не узнали. Напяль шапку на глаза, сгорбись, вроде старик.

— Это можно... Буду прятаться...

5

Я хорошо помню свое состояние в тот вечер. Это был страх, смешанный с неистовством. Я страшился драки и взвинчивал себя на нее. Больше все-таки было страха. Страх заставил меня подчиниться разуму, а не порыву. Я надвинул на лоб шапку, замотал подбородок шарфом. Вряд ли меня в одежде легко узнают, я мог идти спокойно. Я и шел внешне спокойно, стараясь ничем не выделяться в общей массе оживленных, повеселевших после бани заключенных.

На тундру опустилась ночь, над Шмидтихой высунулись верхние звезды Ориона, они одни светились в кромешной осенней черноте. Мы припустили на них, на эти две звездочки. Потом слева открылись огни поселка, и мы свернули налево. Еще минут через десять, поднявшись по ущелью Угольного ручья, мы хлынули в зону. Я понемногу успокаивался.

На вахте, у ярко освещенных ворот, ко мне возвратился страх. Если где и можно было меня разыскивать, так лучше всего здесь. Я знал, что чуть в сторонке скопится кучка блатных, то это по мою душу. Но один ряд за другим пробегал через ворота и рассеивался по своим баракам. Пройдя через вахту, я тоже поспешил в барак, не дожидаясь, чтобы ко мне стали присматриваться. Не раздеваясь, я лег на нары. Я не хотел раздеваться, чтобы сохранить сапоги и пиджак. Кроме того, если меня разыщут, лучше быть одетым, а не в одной рубашке.

Я лежал на спине, уставя глаза в потолок, призывая сон и опасаясь сна. Спустя некоторое время, на соседней наре улегся дядя Костя. Он поворочался, поворчал, потом заговорил:

— Тебя как — Сирожа?

— Сергей.

— Где пашешь?

— То есть как — пашешь? Я вас не понимаю.

— Ну, вкалываешь... Работаешь, ясно?

— А, работаю... В опытном цехе.

— Инженером?

— Инженером.

— По умственному профилю,— сказал он, зевая.— Трудно тебе будет у нас, трудно. Ничего, привыкнешь. Народ как народ — люди. Еще, может, понравится. Я тебя рассмотрел в бане — ничего паренек, свойский...

Я не стал спорить. Привыкнуть можно ко всему, кроме смерти, это единственная штука, которую нельзя перенести. Но чтоб понравилось — другое дело! Мне здесь не нравилось, это я знал твердо. Похвала соседа не утешила, я заснул с ощущением, что могу внезапно проснуться с ножом, воткнутым меж ребер.

Утром я обнаружил, что у меня стащили и миску, и ложку, и новое полотенце, принесенное из бани. Подавленный, я стоял у нар, опустив руки. Мне теперь нечем и не из чего было поесть.

— Обратно что закосили?— поинтересовался дядя Костя.

— Не что, а все,— поправил я.— Придется наливать суп в шапку и хлебать руками.

Дядя Костя поманил дневального. Тот торопливо подошел.

— Наведи порядочек. Слово скажу.

— Барак, внимание!— рявкнул дневальный.— Дядя Костя ботать будет.

В бараке всегда шумно, а утром перед разводом стоит такой гомон, что не слышно диктора в репродукторе. Даже при неожиданном появлении старшего коменданта или надзирателей голоса стихают только там, куда начальство приближается. Но сейчас, спустя несколько секунд, весь барак охватила такая плотная тишина, что стало слышно сопенье спящих и поскрипывание скамеек.

— Значит так,— негромко проговорил дядя Костя.— У Сирожки что увели — отдать! Ты!— сказал он носатому.— Брючишки — где?

— Ну где, дядя Костя? Может, за сотню верстов — вольняшке сплавили...

— Разыщи, что показистее, а то ему в таких неудобно — инженер. И больше, чтоб ни-ни!.. Ясно?

— Ясно,— закричали отовсюду.— А что у него слямзено? У нас приблудного барахла всякого...

Дядя Костя посмотрел на меня. Я поспешно ответил:

— Кружка, миска, ложка и полотенце, больше пока ничего, если не считать брюк.

Тут же я отшатнулся. Дзынь — с трех сторон прилетели три кружки. Дзинь-дзинь — к ним добавилось еще пять! Брум-брум — тяжело заухали и зазвенели большие миски, взлетавшие с нижних нар, падавшие с верхних. Я едва успевал ворочать головой, чтобы мне не зашибло лоб или не раскровянило нос. А когда дошла очередь до ложек, я закрыл лицо руками. Их было так много, что они вонзались в меня, как стрелы, выпущенные целым племенем дикарей в одну мишень. А все было завершено веселым полетом полотенец, извивавшихся в воздухе, словно змеи, и, как одно, падавших мне не плечи и шею.

— Бери, что спулили!— орали мне с хохотом.— Получай свое законное!

Я выбрал лучшую кружку и миску, новенькое полотенце. Ко мне подошел носатый с парой брюк. Брюки были поношенные, но приличные.

— Ворованные?— спросил я, колеблясь.

Он обиделся.

— А какие же? Честно чужие — у нас других не бывает. Бери, бери, сам хотел пофорсить — надо дядю Костю уважить!..

Я еще подумал, сбросил рвань, в которой ходил со вчерашнего дня, и напялил на себя «честно чужие» брючишки.

6

В бараке теперь, когда дядя Костя взял меня под свое покровительство, жить стало легче, но я продолжал с беспокойством подумывать о Мишке Короле. Счастье было, что он жил не в нашем бараке. Но когда-нибудь он меня отыщет и сведет счеты. Я помню хорошо, что больше всего боялся его ночью, днем в заботах лагерной жизни было не до него. Дни шли спокойно, ночью мучили грозные сны. Но Мишка не появлялся. Недели через две я забыл о нем. После стольких дней он уже не мог узнать меня. Была и еще одна причина, почему я так легко успокоился. Мне рассказали, что Король искал меня и не

нашел. Он даже приходил в наш барак разведывать, не тут ли я проживаю, но дневальный «забил ему баки» и «присушил мозги», так это было мне обрисовано.

— На долгую хватку Мишка тонок,— разъяснил дневальный, после дяди-Костиного заступничества относившийся ко мне так хорошо, что даже не взял денег за полотенце.— Налететь, разорвать — это он!.. Большие паханы его не уважают.

Я уже многое знал о своем враге. Это был сравнительно молодой, но умелый и удачливый вор, за ним числились незаурядные дела. В лагере он сколотил свою «шестерню», то есть кучку прихлебателей и прислужников. Особого «авторитета» среди блатных он не приобрел, хотя и жил, в общем, в «законе», выполняя основные воровские установления и придерживаясь главных обычаев. Зато его необузданного нрава и тяжелого кулака побаивались, это с лихвой заменяло авторитет. Знавшие его люди в голос утверждали, что при любой стычке худо придется мне, а не ему.

В эти две недели случились события, сыгравшие известную роль в моей жизни. Из Москвы прибыло предписание дать полную картину технологического процесса на Малом заводе, с точным балансом всех материалов, участвующих в плавке, и полученных продуктов в виде готового металла, шлаков, и унесенных в атмосферу газов. Дело это взвалили на Опытный цех, а Ольга Николаевна, сохранив за собой техническое руководство, решила, что с организацией сменных работ лучше всех справлюсь я. И вот на несколько недель я превратился в бригадира исследователей. Мне поставили особый стол рядом со столом главного металлурга Харина. В моем распоряжении оказалось человек двадцать инженеров — химики, металлурги, механики, пирометристы. Кроме того, на время испытаний подчинили и всех начальников смен и мастеров. Я, конечно, не мог оборвать хоть на минуту производственный процесс, но в моей власти было убыстрить и замедлить его, выполняя разработанный Ольгой Николаевной график исследований. Я тогда мало что понимал и в этом графике, и в самих исследованиях, но, вступая в роль верховного исполнителя, никому в том не признавался и даже внушал убеждение, что справлюсь со своими обязанностями, то есть вполне квалифицированно «заряжал туфту».

Как-то я вызвал энергетика завода, тоже зека, Михайлова и попросил осветить колошниковую площадку, где инженеры брали пробы пыли и производили газовый анализ.

Михайлов посмотрел на меня с сожалением, как на глупца.

— Вы, очевидно, воображаете, что склады у меня доверху набиты проводами и лампочками? У меня нет и метра кабеля. Я не могу исполнить вашего распоряжения.

Я настаивал. Без света ни измерения, ни анализы не могли быть произведены. Михайлов задумался.

— Есть одна возможность, только вы сами ее реализуйте. У рабочих попадаются разные ворованные материалы, может быть, они раскошелятся, если очень попросите. Я пошлю к вам монтера.

Я сидел за своим столом в пустом кабинете, когда монтер громко постучал в дверь. Я крикнул: «Войдите!», и вошел Мишка Король.

Мы сразу узнали один другого. Я непроизвольно встал, он замер. Потом он стал медленно приближаться, а я также медленно отходил на угол стола, где стояли телефоны. Я торопливо обдумывал, что может произойти. Если он кинется на меня, я сорву трубку диспетчерского телефона. Шум нашей драки, несомненно, услышат, ко мне поспешат на помощь. Пока подоспеет подмога, я устою, хорошей защитой послужит стол, неплохим оружием — стулья.

Мишка Король остановился у стола и широко осклабился.

— Здорово, кореш!— сказал он, протягивая руку.— Ну и окрестил ты меня тогда шайкой — башка трещала! Твое счастье, что успел смотаться. Ну, зачем вызывал?

Я предложил ему присесть и изложил просьбу. Мишка стукнул кулаком по столу.

— Никому бы не помог, тебе помогу. Только условие — все, что намонтирую твоей шайке-лейке, после испытания обратно мое. Забожись твердым словом!

— Какой разговор — конечно! — заверил я.

Мы еще немного потолковали, а потом я встал и запер дверь на ключ. Мишка смотрел на меня с удивлением.

— Давай подеремся!— предложил я.— То есть я хочу сказать — поборемся. Не думаю, чтобы ты так уж легко справился со мной.

— А вот это сейчас увидишь!— сказал он и бросился на меня.

Я сопротивлялся с минуту, потом оказался на полу, а Мишка сидел на мне, с наслаждением прижимая мою грудь коленом.

— Так не пойдет,— прохрипел я, поднимаясь.— Ты слишком уж неожиданно налетел, я не успел приготовиться. Давай по-другому.

— Пусть по-другому,— согласился он.

На этот раз моего сопротивления хватило минуты на две. Раз за разом мы начинали борьбу сызнова, и результат ее был неизменно тот же — я лежал на полу, а Мишка Король сидел на мне.

— Ух, и жалко же, что меня в тот вечер не допустили до тебя,— сказал он, отряхивая пыль с ватных брюк.— Ну и было бы!.. Теперь уж ничего не поделаешь!

ПАРИ НА РАЗОК

Это произошло спустя неделю после того, как меня перевели в первое лаготделение, самое сытое и грязное отделение нашего заполярного лагеря.

Я сидел на камне у ЧОСа — части общего снабжения — и ожидал бухгалтера, ушедшего поболтать с каптером. Мне полагались новая телогрейка и ватные брюки, я отпросился с работы, чтобы не проворонить их. Я уже рассказал, как «увели» мою гражданскую одежду — надо было хоть по-лагерному прилично одеться, сменив оставленное мне рванье на «первый срок».

Было тепло и ясно, низкое нежаркое солнце заливало горы. Ржавая пламенная Шмидтиха нависала над лагерной зоной. Я повернул к югу лицо, вслушивался в мерный шум Угольного ручья — он протекал по зоне, — думал о милых мне пустяках из старой жизни — впервые за многие месяцы мне было привольно и легко. Я даже растрогался от всего этого — шума ручья, осеннего солнца, яркой, как детская игрушка, Шмидтихи.

Недалеко от меня, тоже на камне, сидел один из «своих в доску». Тупое, мрачное лицо было опущено к земле, руки лежали на коленях — он, как и я, греясь в солнечных лучах, ожидал бухгалтера. Я разглядывал его и думал о том, много ли человеческих жизней кончилось в его руках и какой отпечаток каждая отнятая жизнь оставила у него на лице. Он не обращал на меня внимания — рваный мой бушлат его не интересовал. По очереди он был впереди меня, а в остальном придираться ко мне не имело смысла.

Лагерь был пуст. Развод недавно окончился. Нарядчики завершили беготню по баракам в поисках отказчиков от работы и разошлись по производственным объектам. Изредка по зоне пробредали дневальные, таща

на спинах мешки с хлебом. На угловых вышках дремали часовые.

И тут из крайнего — женского — барака вышла она и лениво направилась к нам.

Нет, она была хороша не только в мужской зоне, не только для нас, изголодавшихся по женщине больше, чем по воле, по солнцу, по вкусной еде. Она была хороша вообще — невысокая, плотная, кареглазая, молодая. Она шла, покачивая бедрами, прищуриваясь на свет и попадавшихся дневальных. В лице ее, пухлом и бледном, было что-то порочное, насмешливое и манящее.

Сосед мой хмуро посмотрел на нее и снова опустил голову. Она его не интересовала. Он всем своим видом показывал, что ему плевать на то, существует она или нет. Это было противоестественно. Больше того, это было оскорбительно. Когда женщина проходила мимо мужской бригады, люди бросали кирки и лопаты, обрывали разговоры и молча следили за ней тоскующими, неистовыми глазами. И долго еще после ее исчезновения кругом восхищенно сквернословили, разбирали ее по косточкам и жилочкам, упивались бранью и домыслами о ее поведении. А он отвернулся, едва бросив на нее равнодушный взгляд. Этого она не смогла перенести. Она остановилась перед ним и вызывающе сплюнула в сторону. Она крикнула — у нее был звонкий голос, достаточно сильный, чтобы заставить слушать себя.

— Здорово, Сыч! Думай, не думай, лишней пайки не дадут!

Он проворчал, не поднимая головы:

—Здорово, коли не шутишь!

Она продолжала, настойчиво втягивая его в разговор:

— В отрицаловку записался? Чего на развод не вышел? Или темнишь — мастырку приладил? Ишь ты, лорд какой, на солнышке загорает!

Слушая их разговор, я переводил его в уме на более привычный мне язык. «По фене ботать», то есть болтать на воровском жаргоне, я еще не научился, но многие слова уже знал. Во всяком случае, ее речь, помесь блатной с лагерной, разбирал легко. Я знал, что «отрицаловка» это сборище людей, отказывающихся от работы, «мастырка» — небольшое увечье или фальшивая рана, дающая освобождение от работы, «темнить» — обманывать, а «лорд» — важный заключенный, лагерный чин, кото-

рого даже старший нарядчик не осмелится схватить за шиворот.

Он увидел, что отделаться от нее не удастся, и немного смягчился. В его скрипучем голосе послышалось что-то, похожее на уступку.

— Бугор прискакал, в ЧОС топать, бушлаты подбирать,— пояснил он. Это означало: бригадир сообщил, что ему выписали новую одежду. Он помолчал и поинтересовался в свою очередь:— А ты, Манька, пристроилась уже?

— Вчера подженилась,— с гордостью объявила она.— Теперь я за Колькой Косым. Передай всем, кто не хочет с Колькой беседовать.

Ну кто бы захотел «беседовать» с Колькой Косым, старшим комендантом нашей зоны? Опытный вор и убийца, он твердой рукой правил в лагере. Нож из голенища у Кольки вылетал легче, чем слова из его изуродованного рта. Новость произвела впечатление на моего соседа. Он даже потеснился на камне, предлагая Маньке сесть. Но она, похоже, сама еще не очень верила в магическое действие имени своего «мужа». Она стояла, оживленно болтая, а сосед угрюмо слушал, временами вставляя слово-два. Прозвище «Сыч» было дано ему неспроста.

Беседа их уже шла к концу, и Манька собиралась удалиться, когда из барака, стоявшего на береговом обрыве, появился новый блатной. Он, видимо, шел в уборную, но, заметив нас, повернул в нашу сторону. Манька видела его хорошо, а Сыч сидел к нему спиной. Новый сделал каждому понятный жест — приложил палец ко рту — и на цыпочках, чтобы не шуршать галькой, приблизился. Он встал позади Сыча и осторожно, продвигая руку на сантиметр в минуту, засунул пальцы в карман его бушлата. Все совершалось при полном спокойствии: я молчал, наблюдая, как вор у вора дубинку крадет, а Манька и ухом не повела, словно и не было этого второго — только в глазах ее играли глумливые огоньки и рот приоткрылся от волнения.

Воровская техника у второго, похоже, была совершенна. Он вытащил из кармана у Сыча рваный носовой платок с завязанным уголком, быстро развязал узел зубами и, высоко подняв руку, показал нам свою добычу — новенький бумажный рубль. Все остальное было проделано так же четко — вор снова завязал уже пустой узел, ос-

торожно засунул платок на старое место — в бушлат Сыча — и, ухмыляясь, спрятал себе в карман добытый рубль. После этого он хлопнул Сыча по плечу и «официально нарисовался».

— Посунься!- бросил он Сычу и уселся с ним рядом на камне.— Чего с Манькой лаешься? Она в люди вышла — Кольку в мужья заимела.

— Не лаюсь,— ответил Сыч равнодушно.— Спрашивала, чего на работу не иду.

— А чего? Семь раз больной — воспаление хитрости прихватил?

— Не... Бугор бушлат первого срока обещает. С нарядчиком договорился, вечером отработаю.

— Заходи после ЧОСа к нам. Козла забъем.

— Нельзя. В лавке сегодня табак. Пойду папиросы покупать.

Тут в разговор вмешалась Манька. Ее уже давно распирало. Она принадлежала к тем, кого самая маленькая тайна жжет.

— А на что купишь?

— Рубль у меня,— похвастался Сыч, ударяя рукой по бушлату.— На курево заначил.

— Какой рубль?— допытывалась она.— Где хранишь?

Он с подозрением поглядел на нее, но ответил на все вопросы.

— Новенький рубль, самой свежей выпечки — не сомневайся! В платке, в узелке, завязан.

— Нет у тебя этого рубля,— с торжеством объявила она.— И не было никогда — все врешь! Век свободы не видать — нету!

Он нахмурился, но еще сдерживался.

— Что хочешь ставлю — есть! Васька свидетель.— Сыч показал на товарища.

— Идет!— крикнула Манька с увлечением.— Кладу трешку против твоего рубля.

Она вытащила из-за пазухи зелененький билет и помахала им в воздухе, заранее упиваясь победой. Но Сыч рукой отвел ее трешку.

— Не пугай бумажкой!— сказал он с презрением.— Раз такая смелая, ставь один разок против моего рубля.

Манька заколебалась. Хоть и риска не представлялось никакого — сразу после вчерашней «подженитьбы» было зазорно ставить подобные заклады. Но игорный азарт бу-

шевал в ней, а равнодушная уверенность Сыча бесила. Даже со стороны было видно, что Маньке хочется дать Сычу по роже.

Для уверенности она уточнила:

— Значит, так. Рубль? Новенький, один? В узелке платка?

Он повторил:

— Рубль. Новенький, один. В уголке платка. Проиграю — выплачиваю тебе рубль. Выиграю — тут же ставишь разок.

Васька одобрительным возгласом утвердил условие пари. Но Маньке они теперь не казались пригодными. Выигрыш жалкого рубля не удовлетворял ее широкую душу. Об ее успехе должна была узнать вся зона, весь лагерь, весь блатной мир. Она крикнула, пылая от возбуждения:

— Врешь! Это не ходит. Проиграешь — голым притопай на развод, ветку от веника — в задницу, и на четвереньки у самой вахты — три раза пролаешь!

Мне было хорошо видно ее лицо — она ненавидела хмурого, неповоротливого Сыча, нечувствительного к ее обаянию. Только теперь я понимал, как жестоко он оскорбил ее тем, что отвел лицо, отказываясь ею любоваться. Она знала свои права и привилегии — мужчины должны зажигаться, когда она появляется, вслед ей должны нестись голодные взгляды, восхищенная брань. Это был лагерный закон, нерушимый и вечный, как сам лагерь. И для того, кто преступал этот закон, самые страшные наказания были малы.

Сыч размышлял, ощупывая рукой карман бушлата. Потом он успокоился — платок с узлом был на месте.

— Идет!— решился он наконец.

— Идет!— немедленно откликнулась она.

И тогда равнодушие и угрюмость слетели с Сыча, как сорванная маска. Он был хорошим актером, этот Сыч с его тупым лицом убийцы. Он встал и, священнодействуя, полез в карман. Но не в тот, боковой, из которого украли платок и по которому он хлопал рукой, а в другой, внутренний карман бушлата. Бледная, растерянная Манька следила за движением его руки округленными, зачарованными глазами. В воздухе повис новый платок — такой же рваный и грязный, с таким же завязанным узел-

ком. Сыч зубами рванул узел и показал рубль — новенький и один, как и было уговорено.

— Закон!— одобрительно проговорил Васька.— Никуда не денешься, Манька, платить надо.

Она непроизвольно взглянула на меня, смятение и ужас были в ее глазах. Она не просила помощи, нет, она знала, что помощи быть не может — надо платить. Она хотела сбежать, хоть на время скрыться от расплаты. Сыч понимал ее состояние не хуже, чем я. Он преградил ей дорогу. Теперь впереди была стена ЧОСа, с боков Васька и я, сидевший у обрыва, а позади, на дороге к воле, — он.

Оправившись от неожиданности, Манька забушевала.

— Не дам!— кричала она исступленно.— Сговорились, сволочи! На такую старую штуку ловят!

— Дашь!— грозно сказал Сыч.— Полный порядок, поняла! Сама полезла в это дело, теперь плати!

Неистовствуя, она осыпала их бранью. Но даже и такая, разъяренная, всклокоченная, с перекошенным лицом, она была хороша. У меня билось сердце. Я поднялся. Злобный взгляд Васьки воткнулся в меня, как нож. Мне было не до Васьки. Я видел только Сыча и ее. Сыч наступал на нее, а она шаг за шагом отходила к стене. Страшное его лицо стало еще страшнее, красные глазки сверкали, изо рта с шумом вырывалось прерывистое дыхание. Он трепетал и двигался, как в бреду, а она, прижавшись к стенке, сама трепещущая, возмущенная, полупокоренная, с ужасом всматривалась в грозный облик чувства, отсутствие которого так обидело ее.

— Только тронь меня!— сказала она шепотом.— Мне не жить, но и тебя Колька не помилует!

Как ни обезумел Сыч от сознания того, что сейчас она ему достанется, упоминание о Кольке на миг остановило его. Он оглянулся на Ваську бешеными глазами. Манька была недостижима для Васьки, как солнце поднимавшееся над Шмидтихой, — голова его оставалась ясной. Он пожал плечами и постановил:

— Закон, Сыч! С тебя правов нет, заклад честный. А она — как выкрутится! Может, и не завалит ее Колька, пожалеет!

Тогда Сыч схватил Маньку и, подняв на руки, потащил в кусты к ручью. Она не кричала и не отбивалась. Ее отчаянный взгляд снова пересекся с моим

взглядом. Васька наблюдал за мной, готовясь немедленно стать на дороге, если я сделаю хоть шаг вперед. Я опустился на свой камень. Противоречивые чувства раздирали меня — жалость к ней, зависть к нему. Мне хотелось ринуться на них, свалить Ваську, отшвырнуть Сыча, крикнуть: «Прочь! Она моя! Завалю!», а там пусть ищет меня Колька Косой — посмотрим, кто страшнее. Вместо этого я сидел на камушке и вслушивался в бушующий прибой моей крови. Я читал Спинозу и Гегеля, знал законы излучения небесных светил, мог проинтегрировать дифференциальное уравнение, писал стихи. И хотя после выхода из тюрьмы я был смертно голоден — и, казалось, уже навсегда, на всю будущую жизнь — молодые мышцы мои были тверды, ноги легки, глаза зорки. Я мог, легко мог догнать любого Ваську и Сыча, мог повалить их на землю, вырвать захваченную ими добычу.

И все это было то, чего я не мог сделать.

ЖИЗНЬ ДО ПЕРВОЙ ПУРГИ

Стрелки лагерной охраны попадались разные. Большинство были люди как люди, работают с прохладцей, кричат, когда нельзя не кричать, помалкивают, если надо помолчать. «Ты срок тянешь, я — служу,— без злости разъяснил мне один вохровец.— Распорядятся тебя застрелить — застрелю. Без приказа не злобствую». Думаю, если бы ему перед утренним разводом вдруг приказали стать ангелом, он не удивился бы, но неторопливо, покончив с сапогами, принялся бы с кряхтением натягивать на спину крылышки.

Мы любили таких стрелочков. Чем равнодушней был человек, тем он казался нам человечней. Может, и вправду, это было так. Зато мы дружно ненавидели тех, кто вкладывал в службу душу. Люди — удивительный народ, каждый стремится возвеличить свое занятие, найти в нем нечто такое, чем можно погордиться. Пусть завтра унавоживание полей объявят высшей задачей человечества, от желающих пойти в золотари не будет отбоя. Сделать человека подлецом проще всего, внушив ему, что подлость благородна. Человек тянется к доброму, а не к дурному. Ради мелких целей поднимаются на мелкие преступления. Но великие преступления, как и великие подвиги, совершают только ради целей, признанных самими преступниками великими.

Это, если хотите, философское вступление в рассказ. А вот и сам рассказ.

Служил в нашей охране стрелок по имени Андрей — высокий, широкоплечий, широкоскулый, большеротый — писаная картинка крестьянского лубка. Это был выдающийся энтузиаст лагерного режима. О нас он, видимо, сразу составил исчерпывающее представление и потом не менял его. Мы были враги народа, предатели, шпионы,

диверсанты, вредители и террористы, в общем, иуды, замахнувшиеся подлой лапой на благо общества. А он, когда подошел его призывной год, был определен охранять народ от злодеев, отомстить им за преступления и показать другим, что «преступать» опасно. Он нашел в своем призыве высокое призвание. И ненавидел же нас этот красавчик Андрей! Он охранял нас со страстью, издевался над нами идейно, и если плевал нам в лицо, то только во имя общего блага. Он не знал, что такое каста, но не уставал подчеркивать, что мы с ним — разных категорий: он — высшее существо, человек с большой буквы, тот самый, который звучит гордо. Ну а мы, естественно, звучали плохо, и нас немедленно не истребляли по тем же соображениям, по которым не ведут под нож чохом все стадо: живые мы могли принести больше пользы, чем мертвые. Я часто размышлял, что получилось бы из этого парня, внуши ему с детства расовую теорию: курносый и мелкозубый, он, конечно, не смог бы быть причислен к нордической породе, но зато у него была ослепительно белая кожа — очень существенное преимущество перед остальными четырьмя пятыми человечества. Еще чаще я думал о том, какой бы из него вышел, при его изобретательности и увлеченности, незаурядный инженер или мастер, родись он не в тот год, когда родился.

Обязанности его были несложны — совместно с другими охранниками принять нас на вахте во время утреннего развода, провести километра два по тундре и сдать на заводской вахте, откуда мы — уже своим ходом — разбредались по производственным объектам. Но в эту оскорбительную простоту движения колонны он вдохновенно вносил захватывающие сценические эффекты.

Пересчитав нас, он отбегал в сторону, щелкал затвором винтовки и объявлял:

— Колонна, равняйсь! Смотреть в затылок переднему. Шаг вправо, шаг влево — пеняй на себя! Охрана стреляет без предупреждения! Шагом марш!

Не проходили мы и ста метров, как он вопил:

— Передний, приставить ногу! Он обходил замершие ряды, вглядывался пылающим взором в наши потупленные лица, потом тыкал винтовкой в какого-нибудь старичка, согнутого годами и несчастьями, и орал:

— Тебя команда не касается, шпион? Выше голову, гад! Держать равнение, шизоики!

«Шизоики» в данном случае означало только «карцерники», обитатели ШИЗО — штрафного изолятора. Старичок испуганно вздергивал плечи, и колонна двигалась дальше. А спустя минуту Андрею казалось, что кто-то злостно идет не в ногу. На этот раз он разряжался речью, грозя нам всеми земными карами. Такие остановки происходили раза четыре или пять, пока мы добирались до заводской вахты. Не было случая, чтобы два километра пути мы преодолели меньше чем за полтора часа.

В дни, когда лил дождь, Андрей особенно изощрялся. Он вел нас медленно, останавливал чаще, говорил дольше и не сдавал на вахту, пока мы не промокали насквозь. Зато после дождя он гнал нас, как овец в загон. Мы скакали, проваливались в лужи, падали, хрипели, обливались потом. Он не щадил себя, чтобы не пощадить нас. И не дай бог кому-нибудь из колонны запротестовать! Мы, «пятьдесят восьмая», конечно, не протестовали. Подавленные обрушенными на наши головы обвинениями, мы терпели любое измывательство. Мы входили в положение Андрея — он-то ведь не знал, что реально мы все невинны, вот он и старается, а как же иначе? Он не был бы идейным человеком, если бы выказал к нам любовь. Но уголовники не были обучены идеологически выдержанному смирению. То один, то другой яростно ругался из рядов. Андрей только этого и ждал.

— Кто нарушает порядок?- гремел он.— Выходи в сторону, диверсант!

Никто, разумеется, не выходил. Двухтысячная колонна стояла в каменном оцепенении. Андрей щелкал затвором.

— Выходи!— бушевал он.— Выходи, пока не хуже!

Колонна не шевелилась. Тогда Андрей подавал новую команду:

— Становись на колени!

По колонне пробегала судорога. Андрей, дав в воздух предупредительный выстрел, наставлял винтовку на первые ряды:

— Передний, ну! Сполняй команду!

Первые ряды медленно опускались в грязь, за ними вторые, третьи, четвертые... Андрей бежал вдоль колонны, проверяя, все ли опустили в лужи колени, за ним с рычанием мчались овчарки. Начинали суетиться и по-

крикивать другие охранники. Обычио они ие помогали ему, но и ие одергивали. По природному добродушию оии стесиялись обращаться с иами, как ои, но поимали, что это недостаток, а ие достоинство: Аидрей проявлял с преступниками бдительность, до которой им было далеко. В трудиых случаях оии побаивались оставаться безразличиыми и тоже орали иа нас.

Бывали дни, когда мы приходили на работу такие усталые, мокрые и грязные, что тратили по часу, чтобы опомииться и почиститься. Начальство, узнав об этом, сделало виушение охраие. После этого Аидрей уже ие ставил нас на колеии по дороге иа промплощадку, зато тем больше ои свирепствовал иа обратиом пути.

Как-то под проливиым дождем ои ровно на час уложил всю колонну в грязь иедалеко от вахты лагеря.

В этот вечер Мишка Король объявил во всеуслышание:

— Все! Жить Аидрею до первой пурги!

Вскоре в каждом бараке толковали о том, что судьба Андрея решеиа. Я полез с расспросами к моему соседу Сеиьке Штопору:

— Не поиимаю, что это зиачит: жить до пурги? Вы что, собираетесь напасть иа него, воспользовавшись метелью? Но ведь другие охранники не допустят расправы с товарищем.

Сеиька отмахиулся.

— Зараиее ие будем трепаться. Недолго ждать — увидишь сам. В лагере никто ие жаловался иа иедостаток стукачей, и через иесколько дней сам Аидрей узиал, что его приговорили к смерти. Ои остаиовил колоииу и вызывающе крикнул:

— Кто это мне ножом грозит? Выходи, побеседуем.

Колоина, по обыкиовению, молчала. Андрей позубоскалил иад иашей трусостью и в заключение пригрозил:

— Пока вы меия ухайдакать соберетесь, я вас сто раз сгною!

На следующее утро он объявил, беря виитовку иаперевес:

— Так иет смелого? А жаль, проверили бы, что бьет дальше — иож или пуля.

Эта забава продолжалась больше месяца — каждый день Аидрей припоминал, что иа иего точат иож, и издевался над угрозами. Скоро всем иам так приелись раз-

говоры о его предполагаемой гибели, что мы потеряли веру в ее серьезность и раздражались при упоминании о ней, как от дурной шутки. А между тем осень кончилась, и ударили первые морозы. По тундре поползли зимние туманы, в какую-то ночь разразилась пурга. Утром, когда мы пошли на работу, ветер не достигал еще и шести метров в секунду. Но радио передало, что на поселок движется циклон и надо готовиться к буре метров на тридцать. И вот в это утро кто-то за воротами вахты, уже находясь в безопасности, крикнул:

— Сегодня тебе хана, Андрюшка! Пиши письма родным!

К вечернему разводу скорость ветра достигала двадцати пяти метров в секунду. Ледяной ураган грохотал и выл, и сотрясал стены зданий. Обильный, мелкий, как песок, снег заваливал дороги, бешено крутился в воздухе — пурга выпала классическая: «черная». Самым скверным в ней было то, что мороз почти не спал, температура выше тридцати градусов не поднялась. Каждый из нас перед выходом наружу обматывал лицо шарфом или полотенцем, оставляя лишь щелку для глаз, многие натягивали фланелевые маски, хотя они хуже защищали от ветра. Мы знали, что ветер продолжает усиливаться и по дороге придется несладко.

На вахте мы увидели, что лагерное начальство знало, чем грозили Андрею, и приняло свои меры. Обычно нас сопровождали восемь-десять конвоиров, сегодня их было не меньше двадцати. Кроме того, они устроили обыск. Сами еле удерживаясь на ногах, они обшаривали нас с такой тщательностью, какой не бывало и перед праздниками.

— Ножи ищут,— прокричал мне в ухо Сенька Штопор.— Дурачье! Попки!

Ножей конвойные не нашли, но отобрали у кого-то бутылку спирта, а у двух других по буханке белого хлеба. Пока шел обыск, мы основательно промерзли, хотя от прямых ударов ветра нас защищали надавно выведенные стены цехов. Потом из крутящейся, освещенной прожекторами мглы донесся яростный голос Андрея:

— Равнение на переднего! Ногу не сбивать! Пошли.

Мы двинулись, проваливаясь в свежие сугробы, наталкиваясь один на другого. За линией цеховых стен буря бешено обрушилась на нас. Только здесь, в открытой

тундре, мы поняли, что такое настоящая «черная» пурга. Предписанный нам порядок движения — по пять в ряд, каждый идет самостоятельно — был мгновенно разрушен. Мы судорожно хватались друг за друга, ряд смыкался с рядом. Теперь мы противопоставляли буре стену человек в десять-двенадцать, каждый крепко держал под руки своих соседей. Колонна, как и прежде, растягивалась на полкилометра, но это было уже не механическое сборище людей, подчиненных чьей-то внешней и чуждой воле, но одно, предельно сцементированное гигантское тело.

Дорога пролегала вдоль линии столбов и мачт, соединявших электростанцию с промплощадкой. Большинство лампочек было уже разбито пургой, но некоторые еще пронизывали тусклым сиянием неистово несущийся снег. У одного из столбов мы увидели стрелка, сраженного бурей. Ветер катил его в тундру, стрелок, не выпуская из рук винтовки, отчаянно цеплялся за снег и вопил — до нас едва донесся его рыдающий голос. Мы узнали его — это был хороший стрелок, простой конвоир, он не придирался к нам по пустякам. Сенька Штопор дико заорал, вероятно, не меньше десятка рядов услыхали его могучий рев, заглушивший даже грохот пурги:

— Колонна, стой! Взять стрелочка!

Догоняя передних, мы передавали приказание остановиться. Задние, налетая на нас, останавливались сами. Человек пять, не разрывая сплетенных рук, подобрались к стрелку, подтащили его к колонне. Он шел в середине нашего ряда, обессиленный, смертной хваткой схватясь с нами под руки. Винтовку его нес крайний в ряду, у него одного была свободна вторая рука. Изредка ветер вдруг на мгновение ослабевал, и тогда мы слышали благодарные всхлипы стрелка:

— Братцы! Братцы!

Еще три или четыре раза вся колонна останавливалась на несколько минут, и мы, передыхая, знали, что где-то в это время наши товарищи выручают из беды обессиленных конвоиров.

Великая сила — организованный человеческий коллектив! Нас шло две тысячи человек, каждый из нас в эту страшную ночь был бы слабее и легче песчинки, но вместе мы были устойчивее горы. Мы пробивали бурю головой, ломали ее плечами, крушили ее, как таран крушит глиняную стену. Ветер далеко унесся за обе-

щанные тридцать метров в секунду, мы узнали потом, что в час нашего перехода по тундре он подбирался к сорока. И он обрушивался на нас всеми своими свирепыми метрами, он оглушал и леденил, пытался опрокинуть и покатить по снегу, а мы медленно, упрямо, неудержимо ползли, растягиваясь на километр, но не уступая буре ни шагу.

У другого столба мы увидели Андрея. Пурга далеко отбросила его в сторону от колонны, он еще исступленно боролся, напряжением всех сил стараясь удержаться на ногах. Огромная черная колонна, две тысячи человек, двигалась мимо, не поворачиваясь. Никто не отдал приказа остановиться, а если бы и был такой приказ, то его не услышали бы.

Недалеко от лагерной вахты, на улице поселка, где не так бушевал ветер, мы, размыкая руки, выпустили наружу спасенных конвоиров. Стрелки схватили свои винтовки, выстроились, как полагалось по уставу, вдоль колонны, но, измученные, не сумели или не захотели соблюдать обычный порядок. Несчитанные, мы хлынули в распахнутые ворота лагеря.

Пурга неистовствовала еще три дня, мы в эти дни отсиживались по баракам, отсыпаясь и забивая козла.

А на четвертый день, когда ветер стих, в тундре нашли замерзшего Андрея. Перед смертью он бросил винтовку, пытался ползком добраться до поселка. Видевшие клялись, что на лице его застыло ожесточение и отчаяние.

ДУХАРИКИ И ЛБЫ

Я, конечно, духариком не был. Для этого у меня не хватало ярости, того уважаемого в лагере ухарства, когда жизнь ставится ни против чего — из одного желания поиграть своей головой. Я не цеплялся особенно за жизнь, но и не пренебрегал ею, как второстепенной вещью. Меня всегда одолевало любопытство посмотреть, что же в конце-концов выйдет из невразумительной штуки, названной моей жизнью.

Еще меньше меня можно было причислить к лбам. Невысокий и широкоплечий, только перебравшийся за тридцать годков, я по возрасту и по силе мог бы, пожалуй, занять местечко среди лбов. Зато мне недоставало других непременных кондиций. Лоб, в общем, вполне удовлетворен своим лагерным существованием. Он немыслим вне лагеря с его каптерками, кухнями, бесплатным кино и недорогими девками с большой пропускной способностью. На воле лоб сникает, он неспособен обеспечить себе самостоятельно сносное существование. На густо же унавоженной лагерной почве он расцветает, как ее естественное порождение. Доходяги лишаются последних сил, работяги вкалывают во всю, придурки гнут спины в вонючих лагерных канцеляриях, лорды-начальники трудят мозги на производственных объектах — и все это делается, чтобы создать удобства лбам. Лоб шагает по зоне в одежде первого срока, повар черпает ему погуще и побольше, нарядчик не торопится гнать его на развод, культурник первому вручает талончик на новую кинокартину. Не сомневаюсь, что именно лбы придумали поговорку: «Кому лагерь, а кому дом родной!» Во всяком случае, они с вызовом бросают ее в лицо начальству — своему и приезжему, хоть и знают, что их за это не похвалят. Начальство почему-то обижается, когда лагерь

сравнивают с родным домом, хоть дома иным зачастую хуже. Обычный его ответ исчерпывается угрюмой фразой: «Вы здесь не в санатории — понимать надо!»

Нет, я не был лбом, меня попросту дурно воспитали. Мать твердила мне в школьные годы: «Лакеев у тебя нет — убери за собой!» Я бездоказательно считал, что только заработанный собственными руками хлеб вкусен. И хоть до меня доходила лишь половина того, что я вырабатывал, я все же не был способен выдрать у другого изо рта недоданную мне часть. Три зверя грызли меня ежедневно беспощадными пастями, меня сжигали три жестоких страсти, абсолютно неведомые нормальному лбу — тоска по воле, тоска по женщине, тоска по жратве. Я знал, что на воле мне сегодня было бы, возможно, и хуже, чем в лагере. Там, на воле, меня заставили бы в конце-концов и клеветать на соседей, и предавать друзей, и кричать при этом «ура!» по каждому поводу, а пуще без повода. Здесь же можно молчать и сохранять про запас чистую душу, честно трудиться и отдыхать... Все равно, там была воля, широкий простор на все стороны, земля без колючей проволоки, небо без границы — я бредил волей. А женщины мне были нужны не те, что нас окружали. Женщины садились рядом со мной в кино, томно толкали меня бедрами на разводе, брали меня под руку на переходе от зоны лагеря к заводской, намекали, что могут уединиться на полчасика в кусточки под заборчиком — женщины были кругом. Я же плотью и мыслью стремился к ЖЕНЩИНЕ. Они угадывали мое состояние, но не разбирались в нем. Они не могли предложить мне того, в чем я нуждался. Это было сильнее меня. Я не мог примириться с тем, что женщина не судьба, а отправление, нечто необходимое, но не чистое — хорошо помойся после свидания... Нет, пусть это будет на день, на час (над вечной страстью я сам первый посмеюсь), но это должен быть непременно поворот жизненного пути, слияние самого тебя с недостающей твоей половиной... Представляю себе, как хохотали бы наши лагерные подружки, если бы я вздумал при встрече в уединенном уголке излагать им эту забавную философию. Любовь они признавали лишь такую, которую можно взять в руки. Я мог, конечно, предложить им забаву для рук, но что было делать мне с моей душой?

Что же касается тоски по еде, то о ней много говорить не приходится. Я готов был в любом месте есть, кушать, жрать, трескать и раздирать зубами — было бы что...

Итак, я не годился ни в духарики, ни в лбы. Это мне стало ясно уже при первом знакомстве с лагерной жизнью. И мало-помалу у меня выработалось определенное отношение к тем и другим. Духарики, обычно худые и стремительные, с горящими глазами и истеричным голосом, казались мне просто больными — я старался их не задевать. А упитанных, всегда довольных собой, неумных лбов я презирал и не стеснялся высказывать им это в лицо. Я ненавидел их, как всегда ненавидит работящее смирное существо живущего его соками высокомерного трутня.

От одного из лбов мне стало известно, как же я сам теперь именуюсь по принятой в лагере терминологии.

Это было перед утренним разводом. Я проснулся позже обычного и боялся, что не успею до выхода добыть еды. Очередь продвигалась быстро, но впереди меня стояло человек полста. И тут, отпихивая локтями задумавшихся, в голову очереди стал пробираться типичный лоб — здоровенный детина с носом в кулак и лбом в ремешок. Ему ворча уступали, а во мне вспыхнуло бешенство. Я нарочно выдвинулся в сторону, чтоб он меня задел. Он, не церемонясь, толкнул меня.

— Посунься, мужик! Ишь, ноги расставил!

На лице у меня, видимо, показалась такая ярость, что он невольно попятился.

— Канай отсюда, гад!— не то прошипел, не то просвистел я. — Пропади пока живой, сука! Ну!

Секунд пять он колебался, соображая, стоит ли ради тарелки супа затевать драку, неизбежным концом которой будет суток десять ШИЗО, потом весь как-то уменьшился и осторожно отступил в конец очереди.

— Ну, и злой фраер пошел!— услышал я его оправдывающийся голос.

— Духарик?— недоверчиво поинтересовался кто-то.

— Не... Битый фрей!

Мне отпустили черпак супа, и, молчаливо ликуя, я прошел мимо посрамленного лба. Наконец-то я получил истинное признание. Я был именно «битый фрей», человек, умеющий постоять за себя, не «порчак», освоивший

лагерный жаргон и лебезящий перед уголовниками. В этом определении «битый фрей» звучал оттенок уважения. Моя опасливая брезгливость к духарикам и презрение ко лбам было теперь закреплено в самом названии, припечатано словом крепче, чем сургучом.

Вскоре я, однако, убедился, что слишком уж прямолинейно, а следовательно, поверхностно толкую лагерные взаимоотношения.

С наступлением зимы количество невыходов на работу всегда увеличивается. Пятьдесят восьмая статья, всякие там шпионы, диверсанты, саботажники и агитаторы против советской власти и тут показывали свою двурушническую породу. Они плелись на производственные участки в пургу и мороз, их бросало в дрожь при мысли, что кто-то подумает, будто они способны отказаться от работы. И они припухали до черного отупения, вкалывали до последнего пота, обледеневали, но не уходили, пока их не позовут. Благодарность им за это доставалась одна и та же. Начальство хмурилось: «Вот гады скрытные — ведь враги же, а вид — будто всей душой за нас!» А бытовики и блатные издевались: «Втыкайте, пока не натянули на плечи деревянный бушлат! Спасибо получите — плюнут на могилку!»

Уголовники держат себя по-иному. Они не враги, а друзья народа, следовательно, никто и не ждет от них, чтобы они распинались для общего блага. Жизнь дана им только одна — они лелеют ее, скрашивая приправой отнятых у других благ. В плохую погоду приятней отлеживаться в тепле, чем дрожать в котловане. По количеству отказчиков лучше, чем по термометру и метеорологической вертушке, можно судить о градусах мороза и метрах ветра.

С отказчиками в лагере разговор непрост. Одних сажают в ШИЗО и силой выводят на штрафные объекты. Других «перековывают», пока отказчикам не надоест агитация или не улучшится погода. А третьим, самым опасным или «авторитетным», срочно раздобывают в медпункте освобождение от работы. По-настоящему лагерное начальство страшится лишь организованного коллективного невыхода, ибо в такие происшествия незамедлительно вмешиваются всегда нежеланные деятели третьего отдела.

И поэтому, когда Васька Крылов, известный всему лагерю бандит, объявил утром в своем бараке: «Дальше

все — припухаем в тепле!» и его поддержали одиннадцать сотоварищей, начальство встревожилось не на шутку. Его пример мог пойти в плохую науку. Ваську со всей его «шестерней» тут же изолировали. Я прогуливался по зоне, когда их повели в кандей, как иногда называют в лагере штрафной изолятор, он же по-старому — карцер. Под охраной десятка стрелочков шли двенадцать уголовников, типичные лагерные лбы — откормленные, наглые, весело поглядывающие на встречных. Высыпавшие наружу лагерники дружелюбно насмехались над ними. «Ну, до весны!» — кричали им.— «Встретимся на том свете! Похáваете свой жирок, принимайтесь за кости». Шагавший впереди Васька Крылов — медведь, встретив в лесу такую рожу, пустился бы наутек — широко ухмылялся изуродованным ртом. «Отдохнем в санатории!— рявкнул он.— Айда к нам, кому пурга переест плешь!»

Двенадцать отказчиков водворили в рубленную избу ШИЗО, на двери навесили замок, а рядом поставили охрану. Специальной охраны для ШИЗО по штату не полагалось, но Ваську Крылова без охраны могли вызволить подчиненные воры, он был из «авторитетных».

Теперь, по мнению лагерного начальства, перековка шайки Крылова в работяг являлась лишь вопросом времени. Отказчикам выдавалась «гарантия», то есть основной паек без добавки за труд — шестьсот граммов хлеба и пол-литра баланды в сутки. На такой кормежке в Заполярье и ребенок долго не протянул бы, а лбы ощущали врожденное отвращение ко всем видам диеты, кроме усиленной. «Голод почище мороза — смирятся!» — рассуждало начальство.

Однако день катился за днем, пошла вторая неделя, а «кодло» Васьки Крылова и не помышляло о смирении. Они хохотали в кандее так, что было слышно снаружи, устроили какие-то свои — без видимых карт — игры и требовали побольше угля для печки. Над трубой ШИЗО во все часы клубился густой дым — отказчики усердно заменяли пищевые калории тепловыми. Входивших нарядчиков и комендантов они встречали жалобной по содержанию, но веселой по исполнению песенкой, чем-то вроде саботажного гимна отказчиков:

Лучше кашки не доложь,
А от печки не тревожь!

Особенно усердствовал сам Васька. Его звероподобный

рев заглушал репродукторы в зоне. Настроение у него было преотличное. Он продолжал петь, развалясь на нарах, даже когда командовали: «Встать!» А с тревожившими его покой лагерными «началами» разных калибров и рангов он толковал снисходительно и благодушно и не сердился, когда ему грозили уголовной ответственностью за саботаж. Только раз, при появлении в карцере полковника Волохова, начальника лагеря, Васька своей волей сполз с нар и, хотя не вытянулся в струнку, но и не поплевывал в потолок, и не начал объяснения с обязательного у него матового загиба.

— Чем же ты оправдываешь свое возмутительное поведение, Крылов?— строго допрашивал Волохов.— Почему отказываешься от работы? Когда, наконец, ты поймешь, что труд у нас дело чести, славы, доблести и...

— Геройства,— хладнокровно закончил Васька.— Так это же у вас, гражданин начальник, а не у нас. Я же вор в законе.

— Но товарищи твои честно трудятся.

— Не все, гражданин начальник, не все. Кто способен, тот вкалывает. А я, к примеру, на лопату и на кайло вовсе неспособный. Хотел бы, да не могу.

— Это еще почему?

— Семь раз больной, гражданин начальник: пайки мало, а двух не хватает.

Волохов поглядел на рожу Крылова, о которой в лагере говорили, что ее «за семь дён не обгадишь», и распорядился начальнику зоны Грязину:

— Постройте их силой и на бутовый карьер! Может, на свежем воздухе мозги у них немного прочистятся.

Крылов оказался достаточно благоразумным, чтобы не оказывать прямого сопротивления. Когда бригада отказчиков шла через зону на вахту, мы смогли убедиться, что тощая «гарантия», которой нас всех так пугали, изумительно способствует накоплению жирка. Не только сам Крылов, но и все в его «кодле» имели такой вид, как будто провели недельку у тещи на блинах. Они перемигивались с другими лагерниками и, хоть не кричали, чтобы не раздражать конвоя, но делали руками зазывающие жесты,— айдате, мол, к нам — не пожалеете!

Погода в тот день выпала свеженькая — мороз в сорок градусов и ветер метров около десяти в секунду. Как отказчики провели день на бутовом карьере, мы не знали,

но вечером стало известно, что ни один не притронулся к инструменту. Привели их обратно уже после развода, и коменданты постарались, чтобы никто не попался навстречу.

Начальство не хуже нас понимало, что упрямство отказчиков поддерживается отнюдь не «гарантией». Коменданты теряли силы в поисках пищевых ручейков, тайно просачивающихся в карцер. Буханки хлеба, приносимые из каптерки, пронзались штыками, чтобы обнаружить запеченное в тесто более существенное нутро. В ведре баланды, доставляемой из кухни, болтали черпаками не только охранники, но и старшие по вахте, и даже,— в один из дней — начальник нашей зоны Грязин. Хлеб был как хлеб — сырой и землистый, баланда вполне оправдывала свое название — жиденький пшенный суп с селедочными головами. Ровно через десять минут после того, как ее вносили в кандей, дым из его трубы становился черным и отвратительно пахнул селедкой. Заключенные, пробегавшие по зоне, останавливались и, ухмыляясь, бормотали:

— Печку заправляют баландой, чтоб аппетиту не портила. Ну, лбы!

На исходе второй недели забастовки лбов Мишка Король принес в наш барак потрясающую новость.

— Начальство точит новое оружие против Васьки. Ни штыком, ни приказом их не взять. Завтра на Васькино кодло напустят духарика!

Сенька Штопор, мой сосед, заменивший на нарах ушедшего на волю дядю Костю, усомнился:

— Нет у нас в зоне духарика против Васьки. Может, ты пойдешь выводить?

— Зачем я?— возразил Мишка.— Один на один я бы еще попробовал на Ваську, а их двенадцать.

— В том-то и штука, что двенадцать,— спорил Сенька.— И у них ножи захованы, а у Васьки — топор в глухой заначке. Попки три раза шмон устраивали, да куда — мимо слона пройдут, не заметят.

— Ножи у них есть,— согласился Мишка.— И топор заначен. Только завтра им хана — из Дудинки Сашка Семафор прибывает. Этот их всех передухарит.

С Сашкой Семафором я тогда еще не был знаком, но слыхал о нем много. В нашем лагере он являлся, вероятно, самым «авторитетным» среди уголовников.

Это, и вправду, была яркая личность. Недоучившийся студент, он еще в институте связался с ворами, встал во главе большой шайки и, как матерно божились все его знавшие, совершил среди бела дня потрясающее по дерзости ограбление областного банка. Любое слово его звучало приказом для уголовников, любое желание становилось законом. Впоследствии он служил старшим комендантом нашей зоны, и мы с ним иногда встречались и разговаривали. К сказанному надо добавить, что он был строен и красив своеобразной женственной красотой, почти никогда не ругался и никого не «брал на оттяжку». Отбывая срок, он дважды уходил в бега, переодетый в женское платье. В последнем побеге он дошел до того, что, занимая каюту на пароходе, гулял по палубе и снисходительно принимал ухаживания пассажиров, интересовавшихся миловидной и умной девушкой. Если бы Семафор случайно не наткнулся на хорошо знавшего его человека, он беспрепятственно добрался бы до Москвы, а там не так уж тяжело потеряться ловкому вору.

Разумеется, на другой день я принял меры, чтобы увидеть собственнными глазами, как будут выводить отказчиков на работу. Это было не так уж сложно — я передал в цех, что выйду в вечернюю смену, а с утра назначен получать в каптерке новенькую телогрейку. Подобное оправдание в глазах любого начальника являлось веским. А что вечером придется отправиться на работу в старье, меня не очень смущало — лишь немногим, кому полагалось новое обмундирование, удавалось им разжиться, если они пропускали первый день выдачи. Это как раз и произошло со мной. Во всяком случае, неполученная телогрейка первого срока частенько выручала меня, когда не хотелось рано вставать или шли слухи, что днем привезут свежую кинокартину.

Утренний развод в нашей зоне тянулся обычно с шести до девяти часов. Вначале уходили строители, потом шахтеры и рудари, за ними мы — металлурги и лагерная интеллигенция. До половины девятого я дремал на верхней наре, прослушал последние известия, позавтракал и вышел наружу. ШИЗО было окружено вохровцами. Коменданты и нарядчики плотной кучкой стояли в достаточном отдалении от запертых дверей.

Знакомый нарядчик поманил меня:

4 Зак. 3931

— Интересуешься?

— Конечно.

— Становись со мной, чтоб не прогнали. Сейчас Сашка пойдет.

Вскоре из конторы вышел начальник нашего лаготделения Грязин в окружении вохровских офицеров и чинов из третьего отдела. Среди них вышагивал — несмотря на мороз, в одной черной телогрейке — незнакомый мне быстрый, худощавый парень.

— Сашка!— шепнул нарядчик.— Что будет!..

Я не отрывал глаз от Семафора. Он мало отвечал укрепившемуся во мне представлению о духарике, как развинченном, шебутном, почти полоумном существе, всегда хмуром и дерзком, всегда готовым дико завопить и, бешено вращая глазами, кинуться с ножом на нож. Саша Семафор был подтянут и четок, весел и ровен. Он остановился перед нашей кучкой и, улыбнувшись, протянул руку одному из нарядчиков.

— Здравствуй, Петя. Год не виделись. Как твоя язва желудка? Что-то не похож на больного.

— Выздоровел, Саша,— сказал обрадованный вниманием нарядчик.— Посадили за одно дельце на месяц в ШИЗО — с голодухи начисто сожрал проклятую язву, и операция не понадобилась.

К Семафору подошел озабоченный Грязин.

— Все подготовлено, Саша. Может, еще чего надо?

— Нет, ничего,— сказал Семафор.— Как договорились, замок снимают сразу, но двери отворяют лишь по моему приказанию.

Охрана отомкнула замок и вытащила засов из петель. Два вохровца держались за половинки дверей, готовые распахнуть их по первому сигналу. Семафор подошел к изолятору и постучал кулаком в дверь. Было так тихо, что мы услышали, как внутри заворочались и заворчали люди.

— Васька!— крикнул Семафор звонким высоким голосом.— Узнаешь меня? Это я, Сашка Семафор. Явился по ваши души!

В ответ раздался нестройный мат. Не было сомнения, что Семафора узнали. Потом шум в кандее притих, и оттуда донесся бас Крылова:

— Явился, так заходи. Посмотрим, где душа у тебя!

— Васька,— продолжал Семафор.— Значит, так. Есть

сведения, что у вас пять ножей и один топор — утаили при шмоне — правда?

И опять загрохотал голос Васьки Крылова:

— Да двадцать четыре кулака. Тоже не забывай.

— Значит, так!— кричал Сашка.— Договоримся почестному: ножи и топор сдаете, а сами айда на работу. Даю две минуты на размышление.

Новый взрыв мата продолжался не менее минуты.

— Ножи и топор вынесут в твоем теле!— ревел Крылов.— Только переступи через порог, сука!

Сашка Семафор быстро переглянулся с бледным Грязиным и закричал, напрягая свой негромкй голос:

— Правильно, Вася! Вы меня ухайдакаете, точно. Но раньше я троих завалю! Троих ложу я, остальные рубят меня. Ты меня знаешь, Васька, и все вы меня знаете. Слово Сашки Семафора — камень! Вы слышите меня, ребята? Троих — я, остальные — меня. Через минуту вхожу!

На этот раз из ШИЗО не донеслось ни шороха. Саша сделал знак вохровцам и выхватил из внутреннего кармана телогрейки длинный, как кинжал, нож-пику, так называют такие ножи в лагере. Все это произошло одновременно: стремительно распахнулись двери, пронзительно сверкнул нож, и яростным голосом Семафор крикнул:

— Готовься, первые трое!

Он ворвался в карцер, занеся над головой «пику», а все мы непроизвольно сделали шаг за ним, хоть никому из нас нельзя было переступать порога: вохровцы и начальство входят в зону без револьверов и винтовок. Нарядчики и коменданты и подавно ничем не располагают, кроме кулаков: оружие это мало годится для битвы с двенадцатью вооруженными бандитами.

Удивительная штука психика: как только Семафор перепрыгнул через порог, нам всем услышались дикие вопли, стук падающих тел, звон сталкивающихся ножей. Уже через три секунды мы поняли, что это обман чувств: в изоляторе было могильно тихо.

Мы стояли окаменев, не дыша, и еще раньше, чем в легкие наши ворвался непроизвольно задержанный воздух, из ШИЗО стали выходить люди. Впереди четко шагал побледневший, но улыбающийся Семафор, за ним опустивший голову Васька Крылов и — гуськом за

Васькой — вся его бражка отказчиков. В руках у Васьки вихлялся топор, другие отказчики держали ножи. Васька бросил топор к ногам Грязина, ножи отобрали вохровцы. Семафор стал рядом с Грязиным и смотрел, как коменданты строят отказчиков в колонну для вывода на работу.

Грязин, ликуя, ударил Семафора по плечу. Тот засмеялся.

— Восемь ножей было у ребят,— сказал он.— Разъясните вашим вохровским Шерлок-Холмсам, гражданин начальник, что они задарма едят казенный хлеб.

— Не восемь, а девять,— поправил Грязин ласково.— Ты забыл о своем ноже. Тоже придется сдать, Саша.

— Ах, еще мой! Лады, раз надо, так надо!— Семафор полез во внутренний карман и достал оттуда крохотный ножичишко, примерно с треть его боевой «пики».— Вот он. Получайте в натуре.

Грязин покачал головой.

— Это не тот, Саша.

— Как же не тот? Обыщите, если не верите!— Семафор с готовностью выворачивал свои карманы.— Или прикажите вашим сыщикам из вохры устроить вселенский шмон. Эти постараются.

— Постараются! У двенадцати бандитов не нашли, у тебя найдут! Не думал, что ты считаешь меня таким дураком.

Семафор выразительно пожал плечами, показывая, что говорить больше не о чем.

Спустя некоторое время, когда мы поближе познакомились, я напомнил Семафору об усмирении давно уже к тому дню расстрелянного за убийства Васьки Крылова.

— Объясните мне, Саша, вот что,— сказал я.— Откуда эта шайка брала еду? Ведь ясно, что они не сидели на «гарантии».

— Нет, конечно. Они столовались, будьте покойны — сало, мясо, сахар, одних тортов не хватало.

— Но как же это ускользало от глаз охраны? Ведь еду надо было проносить в карцер.

— А как от них ускользнули ножи и топор? Их тоже приносили снаружи. Попки, чего от них требовать! Повара знали, что, если они не накормят Ваську с его кодлом, нож в брюхо им гарантирован, как только те выйдут из кандея. Специально для таких дел имелось ведерко с

двойным дном: вниз кладется что посытнее, а на второе дно наливается баланда — мешай ее черпаками, пока не надоест.

Я подумал и еще спросил:

— А почему вы не наказали поваров, когда узнали об их мошенничестве?

Он удивился моей непонятливости:

— А зачем мне их наказывать ? Я не начальник лагеря, за воровство на кухне не отвечаю. И к чему? Это ведерко могло и мне при случае пригодиться. Никто из лагерных комендантов не гарантирован от штрафного изолятора. Вы думаете, я мало сидел в кандее?

КОРОЛЬ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, НЕ МАРЬЯЖНЫЙ...

Мой сосед по бараку, Сенька Штопор, в прошлом грабитель и шебутан, а ныне — усмиренный — слесарь пятого разряда на металлургическом заводе, обратился ко мне с просьбой:

— Серега, устрой мою маруху в вашем цеху. Доходит девка на общих. Сколько я денег на нее истратил, старшему нарядчику сапоги справил — не помогает! Будь человеком, понял!

Человеком я был, хоть и не мог этого доказать с математической строгостью. И устроить в тепло женщину, истомившуюся на общих работах, тоже мог. Но хорошо зная Сеньку, я колебался: многие признаки показывали, что, слесарничая на заводе, он не забывал и своей старой специальности.

— Да ты не сомневайся!— зашептал Сенька.— Стану я тебя подводить? Где жру, там не гажу — закон!

Я уточнил характеристику его марухи:

— Сколько лет? Где живет? Что умеет? Как работает?

Он дал на все вопросы исчерпывающие ответы:

— Годков — двадцать один, сок, понял! Все умеет, говорю тебе, такой бабы еще не бывало. И насчет производственного задания не беспокойся, не подведет!

Я сказал:

— Ладно, что смогу, сделаю. Вечером дам ответ.

Сенька шел со мной на развод и — для силы — снабжал дополнительной информацией:

— Ляжки у нее — молоко с кровью. Налитые — озвереешь! На одной надпись до этого самого дела: «Жизнь отдам за горячую...» На другой: «Нет в жизни счастья!»

— Иди ты!— не выдержал я.

Он забожился:

— Сука буду! Век свободы не видать!

Наверное, мне не надо было вводить Сенькину маруху в наш работящий коллектив. Но я не сумел отказать Сеньке. Мы с ним уже не раз «ботали по душам», выясняя то самое, о чем печалились надписи на ляжках его подруги — есть ли в мире счастье? Сеньку счастье определенно обходило. Оно лишь отдаленно и лишь в раннем детстве общалось с ним, а верней «прошумело мимо него, как ветвь, полная цветов и листьев», по точной формуле одного из моих любимых писателей, сказанной, правда, по совсем другому поводу. Сенька Штопор вспоминал свое детство, как некий земной филиал рая — чистый домик, цветущий садик, речка в камышах, голуби на крыше, хмурый работящий отец, добрая хлопотливая мать, две сестры... Впрочем, воспоминания были не отчетливы — прекрасные картинки в тумане. Зато изгнание из рая запомнилось отчетливо и навсегда — люди в кожанках, оцепившие дом, неистово рвущийся из чьих-то рук отец, зло рыдающая мать, рев двух коров, вытаскиваемых из хлева, ржание уводимой куда-то лошади... Отец пропал года на три или четыре, да и вернулся не на радость — через несколько лет снова забрали — и уже навсегда.

— Началось раскулачивание, припомнили бате, что озорничал в гражданскую в какой-то банде,— говорил Сенька.— Мать и меня с сестрами, натурально, сослали, только я, не будь дурак, не захотел надрываться в уральском городке, куда нас привезли. Уже через три месяца дал деру. Сперва промышлял по мелочам, кое-как жил, потом пристал к Ваннику, может, слыхал, тот пахан был, мы звали его не иначе, как Олегом Кузьмичем... Ну, и поволокло по кочкам, такая выпала судьба.

— Пошел по стопам отца,— подытожил я его исповедь.

— Да нет же, батя воевал, а я промышлял. Олега Кузьмича вскорости разменяли, а мы разбежались каждый в особицу. Ничего, на жратву хватало. Ты думаешь, я в лагере впервой? Третий срок отматываю. И еще, думаю, не один срок схвачу.

— Где мать и сестры, что с ними — не знаешь?

— Откуда же? Сразу все связи побоку...

— А зачем тебе новый срок схватывать, когда выйдешь на волю?— допытывался я.— У тебя теперь специальность неплохая — слесарь.

Он насмешливо подмигивал.

— Что такое срок? Лагерь. А нашему брату лагерь — дом родной. А на воле — отпуск. Повеселимся в отпуску и опять на работу в лагерь. Вот такие дела, Серега. Тебе не понять, ты порченый. Книги, собрания, радио... нам на все это — с прибором!

Вот таков был Сенька Штопор, в юности Семен Михник, мой сосед и добрый собеседник. Не уважить такому человеку я просто не мог.

В цеху я пошел к начальнику. Начальник, если разговор шел не о научных фактах, обнаруженных в экспериментах, поддавался легко.

Так на нашем Опытном заводике появилась маруха Сеньки Штопора, широкоплечая, румянощекая, толстозадая, веселая девка. Звали ее Стешкой, а фамилий у нее было столько, что все она сама не помнила. Ее определили в уборщицы. До обеда Стешка носилась с метлой и тряпкой, поднимая во всех помещениях пыль столбом, а после обеда пропадала. Меня это особенно не тревожило, но нашлись люди, близко принимавшие к сердцу ее таинственные отлучки.

В мою комнатушку — она называлась потенциометрической — пришел химик Дацис и мрачно пожаловался:

— Сергей Александрович, надо кончать это безобразие.

Я сидел у потенциометра и, забросив исследования электрических характеристик растворов, писал унылые стихи. Огромный, вспыльчивый и недобрый Дацис работал со мной в одной группе, и мы из-за сотых долей процента в анализах не раз ссорились до драк. Аналитик он был великолепный и не терпел, если подвергали сомнению его данные. У меня характер был тоже не сахарным.

— Кончайте, раз безобразие,— согласился я.— Собственно, вы о чем? Последние анализы, по-моему, неплохие.

Дацис уселся на скамью и уперся тяжелым взглядом в стену.

— Не плохие, а хорошие. Сколько вам надо говорить: если что не ладится, ищите у себя! Стешка плохая, каждый день убегает.

Я удивился:

— Вам-то что за горе, Ян Михайлович? Уборщицы вроде не в вашем подотчете. Запирать их на замок, как реактивы, не обязательно.

— А вы знаете, где она сейчас?

— Нет, конечно.

Дацис сказал торжественно и скорбно:

— У соседей.

— К геологам пошла?

— К геологам. Шляется из одной комнаты в другую. Что теперь о нас будут говорить — ужас просто!

Я начал терять терпение.

— Ужаса здесь не вижу. Чистоту Стеша обеспечивает, а остальное нас не касается. Хочется ей лясы точить, ну, и душа из нее вон, пусть точит.

Дацис зловеще покачал головой.

— Если бы лясы... Она ведь как? Только в те комнаты, где молодой народ. Покрутит бедрами, подмигнет, засмеется, а они потом к нам на чердак...

— На чердак?

— А куда же еще? Самое спокойное место, еще до Стешки проверено. Вчера полевик Силкин и керновщик Чилаев лезли по лестнице — последние гроши протирать. Столоверчение было почище спиритизма. Она им в темноте такие потусторонние радости закатывала... И все за десятку.

Я посоветовал Дацису:

— Бросьте эту слежку, Ян Михайлович. Стеша сама знает, как ей держаться. А если завиден чужой успех, сэкономьте на куреве и сами займитесь спиритизмом. Не хочу об этом думать.

Дацис ушел, но я продолжал думать о Стеше. Мне стало обидно за Сеньку Штопора. Он был не такой уж плохой человек, этот грабитель. Я припоминал, как горели его глаза, когда он расписывал Стешины достоинства. Черт его знает, как все обернется, если он услышит о ее поведении. У Сеньки ни при каких шмонах не находили ножа, но я, его сосед, знал, что он расстается с ножом только на время обыска. И, конечно, он таскал нож не для баловства, это я тоже понимал — такие чувствуют обиды глубоко и на расправу скоры...

— Ладно, ладно,— утешал я себя.— Что я знаю о нем, то и она знает — будет остерегаться. А Дацису надо намекнуть, чтоб не трепался. Недаром все же говорят, что об изменах жены мужья узнают последними.

Сенька, однако, узнал обо всем в этот же вечер.

Мы сидели с ним на нижних нарах и хлебали «суп с карими глазками»— стандартную нашу рыбную баланду,— когда в барак влетела радостная Стешка.

— Сенька!— крикнула она.— Ну денек — трех фраеров подмарьяжила.

Он вскочил на ноги, забыв о супе.

— Врешь, падла!

Она с гордостью бросила на нары три смятые десятки.

— Факт был в .., следы на столе. Теперь я полноценная жена, зарплату приношу. Гони за спиртом.

Сенька умчался в другой конец барака, снаряжать в поход мастеров по добыче «горючего»— его даже в самые трудные дни войны можно было достать за хорошую плату. Стешка игриво толкнула меня плечом.

— Посунься, начальничек! Даме полагается лучшее место.

Минут через пять на наших нарах появился разведенный спирт, американская консервированная колбаса и сухой лук. Сенька налил мне полкружки.

— Пей, Серега! Надо это дело обмыть.

Стешка зазвенела, затряслась, еле выговорила, подавившись смехом, как костью:

— Обмыть и пропить! Мать человеков пропиваем!

Сенька хохотал вместе с ней, а Стешка, быстро опьянев, расхвасталась:

— Ты, Сень, руками работаешь, Сережка головой, а я чем? Без чего нельзя, понял! Без ума проживешь, без рук проскрипишь, без хлеба перебедуешь, а без этого никак — самое важное, значит!

Сенька, умиленный, поддержал ее:

— Верно, ну баба! Все в эту яму бросаем — деньги, свободу, жизнь. Ничего не жалеем. Заколдованное место!

Я сказал им с ненавистью:

— Свиньи вы! Не люди, животные! Ни стыда, ни совести, ни чести! Последний кобель с сукой порядочней — он хоть соперников отгоняет. Было бы у меня... Что бы я с вами сделал!

Я встал и пошатнулся. Сенька схватил меня за плечо и повалил на нары.

— Стешка!— крикнул он.— Плохо Сереге. Тащи воду, живо у меня, падла!

Меня укрыли бушлатом, вливали в меня воду. Я жадно глотал, зубы мои стучали по кружке. Стешка подсовывала мне под голову какое-то тряпье, вытирала мокрой ладонью лоб, говорила быстро и ласково:

— Лежи, лежи, не вставай! Ну скажи, как вдруг опьянел.

И совсем не было похоже, что пьян, ну ни капельки... Вот беда какая, скажи! Может, еще закусишь чего? Поправишься!

Но закуска не могла меня поправить. Я был пьян не от спирта. Меня мутило отчаяние. Мое сердце разрывалось от скорби. Мне хотелось кричать, выть, кусаться, биться головой о стены, плевать кому-то в лицо, топтать кого-то ногами. Потом бешенство стало утихать, я забылся в чаду невероятных видений — вселенная танцевала вокруг меня вниз головой. Стеша гладила мои волосы, я ощущал тепло ее ладони, ее голос обволакивал меня. Я еще успел расслышать:

— Сеничка, может, раздеть его? Жалко бедного...

Он ответил сердито:

— Ладно, жалей! Сам раздену. А ты канай отсюда!

На другое утро, после обхода начальника, Стеша пришла ко мне в потенциометрическую. Я знал, что она прибежит проведать, и приготовился к разговору.

— Что это со мной случилось?— сказал я весело.— Ничего не помню. От капли спиртного опьянел, как пес.

Но она была умнее, чем я думал о ней.

— Ты одурел,— заметила она.— Я нехороший разговор завела, а Сенька, дурак, развел... Ну, спирт сразу и взял. Это бывает. Молодой ты — кровь играет.

Я попробовал отшутиться.

— Где там играет! Я недавно палец порезал, попробовал на вкус — кислятина моя кровь, можно селедку мариновать.

Она сидела на скамье, широко раздвинув под юбкой полные ноги. Глаза ее, лукавые и зазывающие, не отрывались от моего смущенного лица.

— Рассказывай!— протянула она.— Кислятина! Капнешь такой кровью на дрова — пожар! Ты себе зубов не заговаривай.

Я спросил серьезно:

— А что же мне делать?

Она засмеялась.

— Смотри, какой непонятливый! Что все делают.

— Нет, скажи — что?— настаивал я, снова начиная волноваться.— Прямо говори!

— Да я же прямо и говорю,— возразила она, удивленная.— Без фокусов. Истрать пару десяток, как из бани выйдешь — свеженький, легонький, не голова — воздух!

Она наклонилась ко мне, дразня и маня улыбкой, взглядом, плечами, приглушенным голосом:

— И не сомневайся — ублажу! Для тебя постараюсь — ближе жены буду. Все увидишь, чего и не думаешь!

Я тряхнул головой, рассеивая дурман и показывая на ее ноги:

— Это что ли увижу — надписи? Нечего сказать, удовольствие.

Она захохотала:

— А чем не удовольствие? А не хочешь, не смотри. Я ведь делала для себя.

Она заметила на моем лице недоверие.

— Нет, правда! Не веришь? Сколько раз бывало, раскроюсь в бараке, погляжу на одну ляжку, порадуюсь — хорошо, когда по горячему, слаще сахару. И вспомню то одно, то другое, как было. А на другую посмотрю — заплачу — тоже полегчает. Театр в штанишках, на все требования — не так, скажешь?

Теперь и я смеялся. Мы хохотали, глядя друг на друга. Она спросила задорно:

— Или не нравлюсь я тебе? Какого тогда шута надо?

А то, может, деньжат жалко?

Я покачал головой.

— Нет, Стеша, ты собой очень ничего, вполне можешь понравиться. И денег мне не жалко, все бы отдал с радостью. Но не могу я по-вашему — без души. Боюсь, ты этого не понимаешь.

Она встала и вызывающе сплюнула на пол.

— А чего не понимать? На дармовщинке покататься любишь. Без денег можно только с милой и Дунечкой Кулаковой... Мне цыганка ворожила на вашего брата — все короли марьяжные, деловое предприятие. А в милые я тебе не гожусь, понял! Удовольствие оказать — это моя работа, а для души я с человеком, может, плакать буду!

В этот день после обеда пропал и Дацис. Я заходил к нему в аналитическую познакомиться с результатами последних анализов, но обнаружил, что он и не приступал сегодня к разделке проб. Появился он только перед вечерним разводом и казался таким усталым и сонным, что я, не желая затевать ссоры, промолчал.

Вечером у Сеньки снова была пьянка. Я ушел из ба-

рака, чтоб не участвовать в ней, и весь вечер шатался по зоне. Я наталкивался в темноте то на столбы, то на проволоку. Я проклинал себя, злился, гордился собой. Нет, я не такой, как они! Ах, почему я не такой? Живут же они, почему мне не жить? Человек — животное, и незачем себя обманывать. Что нужно Сеньке от его марухи? Только простые, как мычание, отправления. Хлеб он ест с бо́льшим удовольствием, ну и правильно — любовь проще хлеба, она первичней, хлеб еще не выдумали, а уже любили. Зачем же ему ревновать, ему хватает, пусть и другим достанется, ведь не ревнуют же, когда оставшийся хлеб берет друг? Вот она невыдуманная философия жизни — принимай любовь, как хлеб, сам насыщайся, дай насытиться другому. Не жадничай, тебе хватит, это важно. А ты обряжаешь кусок черствого хлеба, как бога, не насыщаешься им — поклоняешься ему!

— Да, ты такой!— сказал я себе.— И останься таким. Каким низменным станет мир, если не обряжать любовь как бога! Нет, я не за ревность, ревность — низкое чувство, надо стать выше. Но они-то не выше ревности, они ниже нее, не доросли до нее. Вот так — и точка! Они — скоты, а ты — настоящий человек. И нечего тебе равняться с ними.

Я воротился в барак, успокоенный. Сенька спал, распространяя запах перегара. Я смотрел на него с презрением и чувством превосходства. Впервые за много суток я в эту ночь глубоко выспался.

Спустя неделю, Дацис снова заговорил о Стеше.

— Совсем плохо с ней,— сказал он.— Пропадает девка.

— На чердаке?— осведомился я иронически.

— Нет,— возразил он серьезно.— У нее несчастье. Новый хахаль подвернулся, она с ним путается. Совсем с точки слетела — каждый свободный час к нему бегает. Представляете, что с ней Сенька сделает?

— Ему хватит,— сказал я равнодушно.— Он не жадный. Деньги она ему носит по-прежнему. Если бы тут была опасность, вам первому следовало бы побеспокоиться.

Он забормотал, смущенный:

— Почему мне? Я честно расплачивался. У нее занятие такое, все понимают.

А на следующее утро Сенька зарезал Стешу. Он ускользнул из колонны в морозном сумраке развода, пробрался в наш цех и подстерег Стешу, когда она шла на свидание со своим новым другом. Он нанес ей шестнадцать ножевых ран, семь из них были смертельными. А потом широким ударом распорол себе живот от паха до груди.

Я бежал вместе с другими к месту их гибели. Мысли мои путались. Что-то кричало во мне отчаянно и возмущенно: «Сам ты, высший человек, способен был бы на это? Только ли простые, как мычание, отправления искал он в ней? Да, правда, того, что предлагала она тебе, ему хватало, он не жадничал. Но было, значит, и нечто, потери чего он не мог ни стерпеть, ни пережить. Честно скажи, честно — ты заплатил бы за это такую страшную цену?»

Я кинулся к Сеньке. Он лежал спиной вверх, кровь широкой простыней покрыла вокруг него землю. Я звал его, пытаясь поднять за плечи. Он не отвечал — его не было.

Потом я обернулся к Стеше. Бледная, раскинув руки, она лежала рядом. Платье ее было изорвано, на полных, красивых и в смерти ногах, причудливо змеясь, уходили вверх две надписи: «Жизнь отдам за горячую...» и «Нет в жизни счастья!» Что же, не напрасно она всматривалась так часто в эту формулу своей души, все осуществилось: и не было в ее жизни счастья, и отдала она жизнь за попытку его найти.

ГНУСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Седовласая Анна Ильинична Ракицкая, обаятельная дама среднего возраста, инженер нашей лаборатории, рассказала нам как-то в плохую погоду, когда мы, после ухода вольнонаемных, собрались в кружок возле батареи центрального отопления, какое трудное испытание выпало ей на долю в первую полярную зиму и как она с честью из него выпуталась.

В одну из страшных декабрьских пург тридцать девятого года уголовники сделали ей гнусное предложение и, когда она с негодованием отказалась, пытались применить силу. Она схватилась за лом, от нее отступились. Ей пришлось простоять около шести часов на кромешном ветру, но с той поры ни один уголовник даже близко не подходил к ней.

Умная и ласковая Анна Ильинична легко управлялась с карандашом и бумагой, паяльником же могла вязать узоры в самом сложном из автоматических регуляторов. Мы любили ее за отзывчивость и добрый характер. Но знали, что она неспособна отбиться и от лезущей на руки кошки, и сгибается даже от тяжести половой щетки, особенно, если берет ее ручкой вниз, что при ее рассеянности случалось не редко. Нас, разумеется, заинтересовало, откуда у нее взялись силы на лом и как она нагнала страху на уголовников. Она рассказывала долго и красочно. Я передам ее рассказ посвоему — короче и суше.

В те дни она жила в Нагорном лаготделении, где женщин было больше, чем мужчин: и женщины почти все сидели за воровство и проституцию. Умственный кругозор и жизненные интересы этих женщин соответствовали их профессии. Как это иногда бывает, они уважали Анну Ильиничну уже за одно то, что она не походила на них.

Ее считали дурой и жалели, она не годилась для самостоятельной жизни. Ее можно было оставить с мужчиной на любое время, она и в этом случае не выжала бы из него ни денег, ни еды, даже на пайку хлеба, обычный первый дар поклонника, не покусилась бы.

— Ты неспособная, Анночка,— говорила ей соседка по нарам, знаменитая Инга Вишневская.— Собой ты вроде ничего, а ни к чему. Пустая внешность без назначения. Плакать хочется, для кого живешь? Другому — не хочешь, себе не надо...

В философствование Инга ударялась, когда бывала пьяна. В трезвом состоянии красавица Инга не рассуждала, а материлась. Когда ей кто не нравился, она говорила: «Уйди, а то шарахну!», и ввинчивалась в такой загиб, что испытанные рецидивистки отшатывались в испуге.

На работу их выводили случайную — расчистить занесенные снегом пути, разгрузить вагоны, навести порядок на складах. Постоянного места для их бригады не было, как и постоянного занятия. Их старались бросать с одного объекта на другой, чтобы они не осмотрелись и не завели приятелей. Приятелей женщины все равно заводили, на это хватало и отпущенных для работы десяти часов, но, конечно, имена своих случайных дружков не запоминали. Это не мешало пылкости чувств и глубине привязанностей. Дело было не в именах.

— Ну и подмарьяжила я сегодня парня!— хвастались женщины вечером в бараке.— Три раза на снегу за домиком в пот вгонял. Пайку хлеба и двух десяток не пожалел. Век не забуду — герой!

— А звать как? Наверное, Васька?— допытывалась другая.— У меня Васька в этой зоне такой же. Ах ты, падла, моего Ваську прихватила!

— Васька? Не, по-другому... Мишка или Колька... А может, Петька? Да нет, кажись, Серега... Он как-то назвался, рази запомнишь?

Анна Ильинична говорила, что после того как пожила с женщинами, она перестала уважать мужчин. Она не могла понять, что находят мужчины в этих нечистоплотных, ленивых и неумных бабищах. Она не слушала наших оправданий и возражений. Нам не могло быть никакого прощения.

В один из спокойных декабрьских дней их повели на расчистку заваленной наносами узкоколейки между

угольной шахтой и рудником. Дорога была выбита в скале, над полотном нависала гора, вниз уходила долина — на ней были разбросаны домики, где жили вольнонаемные рабочие. Чуть пониже колеи виднелся навес над ящиками с оборудованием, кучами кирпича и штабелями бревен. Работа была срочная, на нее вывели не одну женскую бригаду, но еще и мужчин. Уже через полчаса обе бригады смешались. Стрелки, стоявшие где-то на краях участка, следили, чтобы никто не убежал в поселок, но разговорам не мешали. Снег, сметаемый в обрыв, обильно уснащался шутками и бранью, над участком поднимался женский визг и мужской хохот — работа шла весело.

А затем с горы обрушилась пурга.

Сперва она кралась и шипела, белая муть заволокла гребень, поплыла в долину. Поверхность снега закурилась, вздымалась, как пар — земля заворочалась, заворчала, переметая завалившие ее сугробы. Вскоре ветер уже несся как волк, шип превратился в вой, в движение пришли снеговые массы, наваленные за прошлую неделю. Стрелки ушли в поселок греться, за ними одна за другой пропадали женщины. Мужчины, кто не убрался с ними, еще некоторое время ковырялись на полотне, потом, увидев, что чем больше они расчищают, тем легче наносит на расчищенное место нового снегу, тоже попрятались под навес.

Мимо Анны Ильиничны проковылял паренек из блатных. Он остановился у склона, подумал и воротился.

— Красуля!— сказал он хрипло.— Потопаем на пару. Перекантуемся на дровах.

— Проходите своей дорогой!— сказала Анна Ильинична холодно.— Мне с вами не по пути.

Он с недоумением всматривался в ее лицо.

— Ты это чего? Пурга не помилует. Говорю, перекантуемся.

— Я не из тех, кто кантуется,— сказала Анна Ильинична твердо.— Запомните это, пожалуйста.

— Ну, сознательная! Все девки сейчас кантуются. Чем ты хуже их?

— Не хуже, а другая. В общем, уходите, мне скучно с вами!.

Он сплюнул, выругался и исчез под навесом.

Спустя короткое время, Анна Ильинична увидела, что осталась одна на всем участке. Со страху она даже не

испугалась. У нее еще колотилось сердце, горели щеки от разговора. Впервые ей так прямо, без стеснения, сделали мерзкое предложение, как какой-нибудь из девок. Ну и отбрила же она этого наглого парня, он надолго запомнит ее отповедь. Мне скучно с вами! Так она выпалила. Он обалдело заморгал глазами, вряд ли он даже понял, что это значит — скучно. Они обычно пользуются другими словом: тошно или муторно. Ничего, в следующий раз она отрубит: мне с вами муторно! Ей незачем стесняться с нахалами!

На минуту ей показалось, что и пурга уменьшилась, так стало тепло от собственной твердости. Но пурга не уменьшилась, а усилилась. Ветер надрывно ревел, гоня в долину снеговую мглу. Наступил полдень. Побелевшее небо мутно проступило над гребнем, оно так и не пробилось сквозь снежную муть, поднятую с земли. Пурга выпала редкая — при морозе около сорока градусов. Это был, очевидно, фен, горный ветер, местное замешательство в атмосфере, не циклон, приходивший издалека и гремящий иногда по нескольку суток. Легче оттого, что буря была своя, а не заблудная, Анне Ильиничне не стало. Она изнемогла от ветра, дрожала от холода. Ей захотелось плакать, слезы не раз выручали в трудных оборотах жизни, вместе с ними наружу исторгались зловредные ферменты плохого настроения — душа очищалась. Но после нескольких пробных всхлипов Анна Ильинична поспешно отказалась от слез: они застывали на щеках коркой льда, а чтоб достать из кармана бушлата платок, приходилось стаскивать рукавицы — мгновенно сводило пальцы. Тогда Анна Ильинична попробовала повыть, как женщины на похоронах, когда в голосе рыдания, а глаза сухи. Бесслезное рыдание тоже не далось.

Когда Анна Ильинична открыла, что осталась на железнодорожном полотне одна, она отступила под защиту крутого склона. Здесь было какое-то углубление, нечто вроде ниши, она упряталась в нее. Ветер ее уже не доставал, он низвергался с высоты и гнал вниз тонны снега, но около нее воздух оставался спокоен. На расстоянии всего трех метров снег вытягивался в бешено несущиеся полосы, лился ревущей струей, здесь вяло кружились шальные, оторвавшиеся от общего потока снежинки. Анна Ильинична почувствовала удовлетворение. Ей удалось перехитрить бурю.

Но вскоре она поняла, что если ветер до нее не в силах добраться, то мороз пробирается легко. Сперва он оледенил шали и бушлат, ткань стала твердой и ломкой, потом подполз к платью и белью. Анна Ильинична ощутила, что все на ней холодеет. Одежда становилась чужой и враждебной, как вещи внешнего мира, соприкосновение с ними причиняло боль. Пока Анна Ильинична стояла неподвижно, это ощущение было смутным, оно грозило словно бы издалека, но стоило повернуться или наклониться, как тело толкалось об одежду, как о стену, кожу обжигало холодом. А вскоре все вокруг стало одинаково студеным, Анне Ильиничне уже казалось, что одежды нет и ее, нагую, выставили на воздух замерзать. «Так я погибну!»— подумала она в панике.

Она схватила валявшийся лом и выбежала на колею. Ветер мощно обрушился на нее сверху и свирепо потащил на обрыв. Если бы лом случайно не воткнулся в плотный сугроб, а она не уцепилась бы изо всех сил за него, пришлось бы ей катиться до самого поселка. Но она удержалась на ногах в первую, самую тяжкую минуту, а потом, сгибаясь, упираясь ломом в снег, потихоньку выкарабкалась назад. Здесь она выпрямилась. От лица и головы валил пар, его тут же смешивало с мелким, как мука, снегом и уносило в долину. От проделанного усилия Анну Ильиничну обдало жаром, одежда опять была мягка и податлива. Гордость за себя охватила Анну Ильиничну. Нет, буря была не очень сильной и вовсе не холодной!

Все же она была сильна и морозна. При любом шаге ветер хватал, словно за шиворот, и нес к обрыву. Анна Ильинична почувствовала опять, что замерзает. Она принялась бить ломом по снегу и шпалам. Тяжелый лом поднять было нелегко, после каждого удара приходилось переводить дух. Зато замерзание остановилось. Теплее не стало, но не становилось и холоднее. Анна Ильинична дрожала и работала, плакала — осторожно, чтобы не хлынули слезы — и дрожала, снова работала, снова плакала и, не переставая, дрожала.

Потом она увидела, что из-под навеса выбрался мужчина. Ветер бил ему в лицо и валил вниз, мужчина отворачивался, спотыкался, но лез наверх. Один раз он упал, но, встав, с той же настойчивостью пополз вперед.

У Анны Ильиничны замерло сердце. Мужчина сквозь ураган продирался к ней.

Он остановился перед ней, тяжело дыша от борьбы с бурей. Он сердито махнул рукой. У него был такой же хриплый голос, как у парня, что недавно приставал, а лицо еще страшнее: одутловатое, багровое, прыщеватое, с нахмуренными колючими глазами.

— Стахановка!— сказал он.— Спасибо не скажут за трудовое усердие! Сенька болтал, какая ты, — не поверил. Все бабы сейчас кантуются, кто где пристроились. Айда вниз.

— Бабами сваи забивают!— мужественно возразила Анна Ильинична.— Я не баба, а человек. И притом — женщина!

— Точно — женщина!— одобрил он.— Невероятная женщина, таких не видал! Разве для мужика я полез бы? Своим сказал, что кровь из носу, приведу — перекантуемся все вместе. Уцепись за меня, чтобы легче спускаться.

Анна Ильинична затряслась от страха. Она слыхала, что блатные иногда целыми группами насилуют женщин, у тех это называлось «попасть под трамвай» или «автобус». Но она думала, что такие преступления совершаются втайне, под угрозой ножей. Тут же ей, не моргнув глазом, предлагали согласиться добровольно, даже советовали уцепиться, чтобы было удобнее покатиться по страшной дорожке.

Анна Ильинична сделала шаг назад, стараясь не согнуться под ветром.

— Ко мне с такими предложениями не лезьте!— Она чуть не плакала от злости и безысходности.— Я работаю, а не кантуюсь. Как вам не стыдно — так нелегко, так страшно нелегко, а у вас одно на уме — кантоваться!.. Хуже, чем животные! Да я лучше умру, чем пойду на это!

— Поболтала, хватит!— прохрипел он.— Культурник выискался — работай, работай!.. От работы кони дохнут, а чем мы хуже лошадей? Дарма я к тебе пришкандыбал что ли? Пошли, говорю!

Он протянул руку, она оттолкнула ее.

— Не смейте! Никуда я с вами не пойду.

Он схватил ее в охапку, пытался потащить на руках. Ветер помог Анне Ильиничне, их усилия слились в один

удар — уголовник упал. Вскочив, он снова накинулся на Анну Ильиничну.

— Врешь, п дла!— ругался он.— Чего надумала — замерзать! Не дам: ясно? Силком перекантуемся, раз добром не хочешь. Меня же засмеют, если не притащу. И тебя, глупую, жалко — пропадешь!

Из последних сил Анна Ильинична снова вырвалась. Отбежав, она схватила лом и занесла над головой.

— Попробуйте подойти теперь!— крикнула она.— Не пощажу!

Он понял, что она говорит серьезно. Долгую минуту он не отрывал от нее сердитых глаз.

— Дура!— сказал он.— Я же от сердца. Ладно, пропадай, раз нравится.

Он повернулся и зашагал к обрыву. Ветер наддал ему в спину, мужчина покатился под откос и сумел задержаться лишь у навеса. Там он оглянулся и погрозил Анне Ильиничне кулаком.

О том, что происходило потом, Анна Ильинична сказала, что это были самые тяжелые часы в ее жизни. Она и не подозревала раньше, что может быть так плохо. Ей пришлось работать в одиночку до вечера, пока не спал ветер и не выползли из своих укрытий стрелки. Когда бригада возвращалась в зону, Анну Ильиничну поддерживали две дюжие женщины, сама она уже не могла передвигаться. Отморожений на теле, к счастью, не оказалось, но даже черствый «лепком» без упрашиваний и споров дал освобождение от работы на три дня, так ей было плохо.

Закончив свой рассказ, Анна Ильинична победоносно оглядела нас. Она ждала похвал, преклонения перед ее твердостью. Мы сконфуженно молчали. Ее обидело наше молчание. Она обратилась ко мне:

— По-вашему, у меня оказалось мало мужества?

Я замялся.

— Как вам сказать, Анна Ильинична? Мужества у вас, конечно, много, даже очень много — нельзя не восхититься... Но разума...

— Вот как! Я, оказывается, поступила неразумно! Уж не хотите ли вы сказать, что я должна была принять предложения этих двух ужасных людей?

— Видите ли, Анна Ильинична... Да, именно это я и хотел сказать — вам надо было согласиться, а не отбиваться. И мне кажется, они не такие уж ужасные — эти два человека.

Анна Ильинична вспыхнула, но сдержалась. Она сказала с высокомерной холодностью:

— Может, вы все-таки объяснитесь?

— Конечно. Боюсь, вы неправильно поняли их намерения. Кантоваться, по-лагерному, примерно то же, что и волынить или, вернее, отлынивать от работы. Вот что они вам предлагали — отдохнуть, переждать в местечке потеплее, пока кончится пурга. Короче — устроить длительный перекур. Согласитесь, в этом нет ничего оскорбительного!

ВАЛЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕМИИ

Женские бараки существовали в каждой из наших лагерных зон, но женщин и в лагере, и в поселке — «потомственных вольняшек» либо освобожденных — было много меньше, чем мужчин. Это накладывало свой отпечаток на быт в зоне и за пределами колючей проволоки. Женщины, как бы плохо ни жилось им в остальном, чувствовали себя больше женщинами, чем во многих местах на «материке». За ними ухаживали, им носили дары и хоть их порой — в кругу уголовников — и добывали силой, но добывали как нечто нужное, жизненно важное, в спорах — до поножовщины — с соперниками. Их не унижали фактом своего существования, не подчеркивали ежедневно, что ныне, в силу крупного поредения мужчин, они, женщины, хоть и приобрели первозначимость в труде и семье, но с какой-то иной вышки зрения стерлись во второстепенность. Женщины ценили свое местное значение, оно скрашивало им тяготы сурового заключения и жестокого климата. Я иногда читал письма уехавших подругам, оставшимся на севере: очень часто звучали признания — дура была, что не осталась вольной в Норильске, а удрала назад на тепло и траву. Есть здесь и тепло, и трава, только здесь я никому не нужна, а вкалывать надо почище, чем в Заполярье.

Такой порядок существовал до войны и первые годы войны, пока в каждую навигацию по Енисею плыли на север многотысячные мужские этапы. Война радикально переменила положение. Сажать в лагеря молодых «преступивших» мужчин стало непростительной государственной промашкой, их, наскоро «перевоспитав», а чаще и без этого, отправляли на фронт. Это не относилось, естественно, к «пятьдесят восьмой», но и поток искусственно выращиваемых политических заметно поубавил-

ся — до конца войны, во всяком случае. И вот тогда прихлест женщин в лагеря стал быстро расти. В основном это были «бытовички», хотя и проституток и профессиональных воровок не убавилось, они просто терялись в густой массе осужденных за административные и трудовые провины.

Хорошо помню первый большой — на тысячу с лишком голов — женский этап, прошагавший мимо нашего лаготделения в зону Нагорное, выстроенную для них. Коменданты и нарядчики еще с вечера разнесли по зоне потрясающую весть — в Дудинке выгружают женщин, ночью их повезут в Норильск, днем они прошествуют на Шмидтиху. Из нашей зоны был хорошо виден вокзал внизу, и еще с утра свободные от работ высыпали к проволочным оградам — не пропустить прихода поезда с женским этапом. В нормальный день стрелки на вышках не подпустили бы так близко к «типовым заборам» отдельных заключенных, соседство зека с проволокой можно было счесть и за попытку к бегству с вытекающими из того последствиями. Но сейчас у проволочных изгородей толпились не единицы, а сотни, и ни один не рвался в ярости либо в отчаянии рвать проволоку — «попки» благоразумно помалкивали.

Я в эти дни выходил в вечернюю смену и, конечно, не захотел пропустить женского этапа. Но в низины зоны — она строилась террасообразно, вокзал лучше был виден из нижних бараков — не пошел, там уж слишком густела толпа, а пристроился недалеко от вахты — здесь тянулось шоссе от вокзала до рудника открытых работ и угольных шахт.

— Подходят, подходят! — заорали из нижней толпы.

Выгрузка этапа всегда дело долгое, а женского этапа особенно. Женщины, в отличие от даже самых непокорных уголовников, мало считаются с криками и руганью конвойных. И прошло не меньше часа от прихода поезда, прежде чем мы увидели ряды женщин, медленно поднимавшихся по горной дороге мимо нашего лаготделения.

Это был первый чисто женский этап, который мне довелось видеть — и он врубился в сознание навсегда. Еще многие тысячи женщин должны были прибыть в Норильск, еще многие годы поставка в лагеря женщин составляла важную долю героических трудовых усилий го-

сударственной безопасности. Но картина, подобная той, что открылась мне в первом этапе, уже так незнакомо ярко не повторялась. Шел сорок третий год самого кровавого столетия в истории человечества, шла самая жестокая война из всех, какие человечество знало. До нас, нестройно толкающихся у проволочного забора и живших в искусственном, сравнительно благополучном мирке, вдруг страшным обликом дошло, какие сегодня условия на «материке», на воле, которой нам всем так не хватало, к которой мы так жадно стремились...

День был неровный и недобрый, шел сентябрь, самый непостоянный месяц в Заполярье. В дни этого месяца бывает, что светит солнце и красно пылают тундровые мхи и кустики, томным золотом сияют лиственничные лески. Но бывают и муторные ледяные дожди, и первые снежные метели, и гололеды, рвущие электролинии и обламывающие ветви деревьев. В тот день была просто плохая погода, без особых выбрыков природы. Глухое небо просеивало мелкий дождь, под ногами хлюпало. С верховьев Угольного ручья — междугорья Шмидтихи и Рудной — дуло по-обычному, то есть для нас уже привычно, для новичков севера — нестерпимо. Мы стояли у проволочных изгородей и смотрели на женщин, а женщины шли мимо и смотрели на нас. Мы с нетерпением ждали встречи с женским этапом, готовились, уверен, приветствовать подружек по несчастью веселыми криками, шутками, острыми лагерными словечками. Вместо криков и шутливых поздравлений мы молчали. Мы были подавлены. Не я один, все, стоявшие по эту сторону проволочного забора. Мы реально увидели картину, казавшуюся каждому непредставимой.

В лагере уже начали выдавать зимнее обмундирование, но пока получали его строители, работавшие на открытом воздухе. В нашей эксплуатационной зоне лишь геологов снабдили полушубками, остальные еще носили летне-осеннюю одежду — кто щеголял в телогрейках первого срока и кожаных сапогах, кто кутался в «беу» на плечах и чиненную сто раз обувь. Но какая бы одежда ни была на нас, мы не мерзли и не мокли. Лагерное начальство твердо — по собственному неоднократному опыту — знало, что плохая одежда неотделима от множащихся невыходов на работу. А массовые невыходы грозят выговорами и наказаниями и даже — тоже было прове-

рено — грозным вопросом: «А по чьему вражескому заданию вы систематически срываете план?..» И летняя одежда у нас была летней одеждой для севера, в ней можно было перебедовать и неморозные снега, и неледяные ветры, и промозглую сырость с дождем.

А мимо нас тащились трясущиеся от холода, смертно исхудавшие женщины в летней одежде — да и не в одежде, а в немыслимой рвани, жалких ошметках ткани, давно переставших быть одеждой. Я видел молодые и немолодые лица со впавшими щеками, открытые головы, открытые ноги, голые руки с трудом тащившие деревянные чемоданчики или придерживавшие на плечах грязные вещевые мешки. И меня, и всех, кто стоял со мной у забора, резануло по сердцу — в этапе были и совершенно босые, даже тряпок, скрепленных веревками, не было у них. Женщины двигались по диабазовому щебню нашей горной «грунтовки», кто проваливался с хлюпаньем в лужи, кто вскрикивал, напарываясь на острый камень.

— Сволочи!— прошептал кто-то около меня. Я догадывался, к кому относится это проклятье.

Вдоль женского этапа, с винтовками наперевес, браво держа дистанцию, вышагивала охрана. Не знаю, чего уж наши стрелочки боялись — того ли, что женщины бросятся через колючую проволоку к нам, не добредя до своей законной «колючки», или что повалятся наземь перед нашей вахтой? Возможно, им хотелось показать нам и этапу, что они начальство, вершители судеб людей низшего сорта и верные охранители тех, кого надо охранять от таких, как мы. Но только, проходя мимо, они громко и сердито покрикивали: «Не сбивать шагу! Держи равнение! Пятерка, шире шаг! Кому говорю — не высовываться! Эй ты, иди вперед, а не вбок!»

Женский этап двигался в гору в молчании, женщины не переговаривались между собой, не перекликались с нами. Только одна вдруг восторженно крикнула соседке, когда они поравнялись с вахтой:

— Гляди, мужиков сколько!

— Живем!— отозвалась соседка.

Я потом выспрашивал знакомых, наблюдавших женский этап, слыхали ли они еще какие-нибудь восклицания, обращения. И все подтверждали, что этап в тысячу женщин проследовал мимо нас в молчании. Только

эти две женщины, которых я слышал, как-то выразили веру в наше доброе отношение и надежду на улучшение жизни.

В нашей зоне допоздна не стихали шумные разговоры. Нас словно прорвало, когда последняя пятерка этапа прошла угловую вышку. Я постоял, послушал, что говорят, и воротился в свой барак — готовиться к вечерней смене. Но и на заводе — в управлении, в цехах, в конторах только и бесед было, что о женском этапе.

— Ну, голодные же, ну, доходные — страх смотреть!— кричал один.

— Подкормятся. Наденут теплые бушлаты и чуни, а кто и сапоги, неделю на двойной каше — расправятся. Еще любоваться будем!— утешали другие.

— Надо подкормить подруг!— говорили, кто был помоложе.— Что же мы за мужики, если не подбросим к их баланде заветную баночку тушенки.

—... буду, коли своей не справлю суконной юбчонки и, само собой, настоящих сапог!— громко увлекался собственной щедростью один из молодых металлургов.— У нас же скоро октябрьский паек за перевыполнение по никелю. Весь паек — ей!

— Кому ей? Уже знаешь, кто она?— допытывался его кореш.

Металлург не то удивлялся, не то возмущался.

— Откуда? Еще ни одной толком не видал. Повстречаемся, мигом разберусь, какая моя. И будь покоен, смазливая от меня не уйдет.

— Вот как повстречаться?— деловито прикидывал опытный лагерник.— В какую промзону их выведут? Если на рудник и шахту, пиши пропало — там местных мужиков навалом. На разводе еще поглядим на красуль. А что по-хорошему — не пощастит!..

— Нечтяк!— радостно кричал тот же металлург.— Выпрошу у знакомого коменданта пропуск на рудник — и подженюсь до освобождения.

Мой друг Слава Никитин, механик плавильного цеха, поделился со мной своими скорбными наблюдениями над женским этапом:

— Что делается на воле, Сергей? Юбку одна придерживала рукой, чтобы шматья не отвалились. Руки голые, шея голая, на голове одна волосяная кудель... И все в своем домашнем, ни на одной казенного. Ну, поизноси-

лись на пересылках и на этапе, понимаю. Но хоть бы одно настоящее пальто, хоть что-то похожее на настоящее платье...

— Война, Слава. И голодуха в тылу. Были, наверное, у каждой и пальто, и хорошее платье, и ботинки. У кого украли на пересылках, другие отдали за подкормку. Голод не тетка, слышал такую философскую истину?

Мысль Славы, всегда прихотливая, скакнула в сторону.

— Ты их хорошо рассмотрел? Я всех сразу определил. Ты знаешь, я физиономист.

— Красивых не приметил,— осторожно высказался я.— Так, средней стати. Женщины, в общем, как женщины. С печатью времени на челе.

— Причем здесь чело? Стихи, наверное? Красивая, некрасивая — не физиогномистика, а парикмахерское любование. Я вот о чем. «Пятьдесят восьмую» видно издалека, их не было, за это ручаюсь. И блатных не густо, десятка два-три от силы. Короче, бытовички. Чего-то по случаю уворовала, почему-то в колхозе не дотянула трудодней, на работу без оправдания не вышла... В общем, народ, а не интеллигенция. Нам шили преступления, каких в натуре не было. Этим и шить не понадобилось, сами преступали законы. У каждой своя вина.

— Что называть преступлениями, Слава? И вообще: в ту ночь, как умерла княжна, свершилось и ее страданье; какая б ни была вина, ужасно было наказанье.

— Опять стихи?— подозрительно осведомился он.— Поверь моему дружескому слову, когда-нибудь тебя за стихоплетство!..

— Стихи, Слава. Только не мои. Мне до таких стихов, как Моське до слона.

— Это хорошо, что не твои. Рад за тебя,— сказал он, успокоенный.— Не то услышит грамотный стукач и накатает, что стихотворно клевещешь на государственную политику справедливого возмездия за преступления. В смысле строгого наказания всего народа за самую малую вину перед народом. Это тебе будет не умершая княжна.

В рассуждениях Славы Никитина я не всегда различал, где он серьезен, а где иронизирует.

Он, конечно, был физиономист, но особого толка — находил с первого взгляда в лицах то, чего в них и в

помине не было. Особенно это проявлялось, когда он предсказывал скверные намерения и скрытые преступления по тому, как человек смотрит исподлобья, либо по хитрой улыбочке, по нехорошему голосу, по порочным, а не трудовым морщинам на щеках. Он хорошо знал уголовников и ненавидел их — это помогало правдоподобно предсказывать, что они совершат в любой момент. Но с нормальными людьми он чаще ошибался, он мало верил в исконную добропорядочность человека. Я как-то сказал ему, что Гегель считал человека по природе своей злым, а не добрым — и с этой минуты Слава уверился, что в истории был один настоящий философ — конечно же Георг Вильгельм Гегель. А если Слава ошибался и объект его обвинительной физиогномистики не совершал скверных поступков, Слава вслух утешался: «Трус, не посмел на этот раз. Но ты еще увидишь — такое вытворит, что охать и хвататься за голову!»

Ошибся Слава и в классификации женского этапа. Пятьдесят восьмая статья присутствовала не густо, но все же была. А профессиональной воровкой и проституткой в этом этапе являлась чуть ли не каждая третья. Со следующими этапами их еще прибывало. Профессия, названная древнейшей, была не только первой из человеческих профессий, но и самой живучей. Формально за проституцию не преследовали, реально же активистками этого, видимо, очень нужного ремесла забивали все лагеря страны. Норильск не составлял исключения.

До первого женского этапа, о котором я рассказывал, женщин не селили в особых зонах, а размещали их в бараках во всех лаготделениях — лишь немного в стороне от мужских. Это особых трудностей не причиняло, даже коменданты не суетились чрезмерно, пресекая слишком уж наглые — чуть ли не на глазах посторонних — свидания парочек. Но к концу войны большинство женщин водворили в женские лаготделения. Женщин в Норильске стало гораздо больше, а на предприятиях и в учреждениях создавалось впечатление, будто их ряды поредели. Только специалисток не трогали со старых мест, для остальных женщин начальство придумало специфически женское занятие — ручные наружные работы. Конечно, их одели в лагерную одежду, достаточно надежно защищавшую от холода и дождя, конечно, их подкормили, чтобы не валились от бессилия на переходе из зоны

жилья в зону труда. Но вольного общения с мужчинами женщинам старались не давать — сколько это было возможно.

Это, естественно, не всегда было возможно. Любовь прокладывала свои дорожки в самой глухой чащобе начальственных запретов.

Я как-то шел на границе зоны. На другой стороне проволочного забора, на улице поселка, бригада женщин разгребала лопатами снег. По эту сторону несколько мужчин перешучивались с женщинами. Одна кричала:

— Ребята, передайте Пашке из ремонтно-механического , что завтра наша бригада выводится на расчистку снега у плавильного. Пусть не собирает большого трамвая. Машка тоже будет, сегодня у нее освобождение. Пусть Костя из воздуховки приходит, она выйдет ради него, а то ей еще болеть.

— Передадим!— орали с хохотом мужчины из промзоны.— Придет ее Костя, не сомневайся. И насчет трамвая для себя не волнуйся — будет!

Так совершался уговор о деловом и любовном свидании. И «трамвай», то есть группу любовников для одной соберут, и некоего Костю на любовную встречу с другой приведут: каждой — свое.

Как я уже сказал, появление специальных женских зон только для общих работ привело к уменьшению женщин на промышленных площадках, где уже действовали разные заводы и цехи. И значение женщин, оставшихся на заводах и в учреждениях, — и без того заметное в условиях, как любят писать в газетных статьях, «подавляющего большинства» мужчин — быстро возросло. А как велико было это значение, доказывает забавное происшествие, случившееся на нашем Большом Металлургическом заводе в середине сорок четвертого года.

Мы сидели в кабинете начальника плавильного цеха, ожидая важного совещания. В директорском фонде появилось несколько килограммов масла, мешок сахара и ящик махорки, нужно было распределить это богатство по цеховым службам для премирования лучших заключенных. Я пришел со списком своих лаборантов и прибористов, другие тоже держали в руках бумажки с фамилиями.

Рядом со мной, за столом, покрытым красным сукном, сидели Ярослав Шпур, мой приятель, старший мастер це-

хового ОТК, и мало знакомый нам Мурмынчик, лагерный работник, что-то вроде заведующего клубом или инспектора культурно-воспитательной части. Мы знали, что в недалеком прошлом он был профессором истории музыки в известной всей стране консерватории, долго бедовал на общих работах и в тепло попал сравнительно недавно, заплатив за это, кому следовало, извлеченным изо рта золотым зубом.

Мы со Шпуром тихо беседовали, а Мурмынчик сидел молча и прямо, ни к кому не оборачиваясь и ни с кем не разговаривая. Он был лет сорока, седоватый, худой и хмурый. Левый его глаз подергивался тиком, правый глядел пронзительно и высокомерно.

— Серьезный мужик,— шепнул я Шпуру.— Не могу без улыбки смотреть на него.

— Серьезный,— согласился Шпур тоже шепотом.— Не все легкомысленные, как ты. Надо уважать положительных людей.

В кабинет вошел начальник цеха Владимир Ваганович Терпогосов, и совещание началось. Собственно, никакого совещания не было. Мы знали заранее, сколько человек каждому из нас надлежит представить на премирование, и молча протягивали Терпогосову наши списки. Он ставил утвердительную галочку против фамилии или вычеркивал ее своим огромным, как жезл, начальственным карандашом — раньше такими карандашами пользовались одни плотники. Мой список был просмотрен в минуту и сдан сидевшему здесь же секретарю. О кандидатурах электриков и механиков слегка поспорили ("Штрафовать вас нужно за безобразное обслуживание, а не награждать"— высказался Терпогосов), потом и эти списки отправили на исполнение.

Но над бумажкой Шпура Терпогосов задумался.

— Это кто же Семенова?— спросил он, постукивая карандашом о стол.— Не Валя?

— Валентина,— ответил Шпур.

На подвижном лице Терпогосова изобразился ужас.

— Ты в своем уме, Шпур? Да ведь это шалашовка! Сколько раз ты сам приходил ко мне с просьбой убрать ее подальше от вас. Хуже Вали нет работницы на заводе, а ты вздумал ее премировать.

Все, что Терпогосов говорил, было правдой, но Ярослав не признавал правды, если она колола глаза. Неда-

ром его считали самой упрямой головой на заводе. Я знал, что Валю он внес в список для количества, чтобы полностью выбрать отпущенный ОТК лимит премий, а не для того, чтобы ее персонально облагодетельствовать. Мысль о том, что он не сумел отстоять своего работника, была для него непереносима. Мгновенно вспылив, он кинулся в спор, готовый сражаться до тех пор, пока не пригрозят карцером за строптивость или не прикажут убираться из кабинета — это было простейшим окончанием затеваемых им дискуссий. Начальство довольно часто прибегало к подобным категорическим решениям в запутанных случаях.

Раздосадованный Терпогосов прервал Шпура уже на третьем слове и обратился к нам.

— Вы знаете Валю. Прошу высказать свое мнение.

Да, конечно, Валю мы знали. И высказать мнение о ней могли. Совещание у Терпогосова проходило, когда на нашем заводе имелось всего пять женщин и они работали среди пятисот мужчин. Однако и это было еще не все. Валя была не только одна из пятерых, но и единственная — молодая, красивая, веселая и доступная каждому, кто не сквалыжничал, добиваясь ее. О ее неутомимости и щедрости в любовных делах рассказывали прямо-таки невероятные истории, и она их не опровергала. Поклонники ее никогда не соперничали, им хватало — главным образом, за это ее и превозносили. А я, если на всю честность, даже не подозревал до нее, что у девушек бывают такие великолепные серые глаза, такие тонкие, солнечного сияния длиннющие волосы и такая дьявольски узкая талия при широких — почти мужских — плечах. И мы знали, конечно, что контролером ОТК она только числится, во всяком случае, слитков никеля с ее клеймом не смог бы разыскать самый дотошный приемщик. Зато Валя легко обнаруживалась во всех местах, где ей не полагалось быть — на рудном дворе, в электромастерской, в конструкторском бюро, в коридоре заводоуправления, на газоходах, в потайных комнатушках аккумуляторных и высоковольтных подстанций. Обычно ее кто-нибудь сопровождал, девушке одной небезопасно слоняться среди изголодавшихся мужчин, и каждый раз это был другой сопровождающий — в зависимости от того, куда она забредала.

После наших выступлений Шпур потух. Даже он понял, что дальше спорить нет смысла.

Но тут попросил слова Мурмынчик.

Мы говорили сидя, он церемонно встал. Проведя рукой по стриженной голове — прежде у него, вероятно, были густые волосы — он проговорил сухо и неторопливо: «Я разрешу себе не согласиться с уважаемым большинством»— и после этого произнес настоящую речь,— не три минуты, не пять, наконец, как принято было на совещаниях, а на все сорок. Он не высказывался в прениях, как мы, но словно читал лекцию, распределяя материал от звонка до звонка. Но суть была не в метраже его речи. Суть была в том, что уже через минуту мы, зачарованные, не отрываясь, смотрели в его лицо, ловили каждое его слово, упивались его глуховатым, страстным голосом — он умел говорить, этот не то инспектор КВЧ, не то заведующий клубом.

О чем он говорил? Не знаю. Что-то о бедных девушках, которых мы толкаем на преступление своей бездушностью. Или, может, о том, что человеку свойственно питаться и стремиться к уюту и что униженный, лишенный уюта и достаточной пищи, истощавший и одинокий, он ни перед чем не остановится, чтобы удовлетворить свои естественные влечения. Во всяком случае, хорошо помню, Мурмынчик призывал нас поверить в чистоту человеческой души и обещал, что на доверие никто не ответит подлостью.

— Скажите самому гадкому преступнику, только искренне, от сердца скажите ему: «Верю, что ты хороший, верю и знаю это о тебе»— и человек станет лучше. А здесь не преступник, восемнадцатилетняя наивная девушка, что она знает, что умеет? Протяните ей руку помощи, она не отвергнет ее, нет!— так великолепно закончил свое выступление Мурмынчик, не то инспектор, не то заведующий.

Долгую минуту мы молчали, придавленные его обвинениями.

— Н-да!— ошеломленно сказал Терпогосов.

— Именно!— мрачно подтвердил Ярослав Шпур.

— Ничего не возразишь!— поддержал еще кто-то.

Терпогосов был человек вспыльчивый, добрый и решительный. На заводе его любили все — заключенные, вольнонаемные, даже четыре остальные — кроме Вали —

5 Зак. 3931

женщины. Он вообще был из тех, кто должен нравиться женщинам. Думаю, быстрее всего к нему привязывались дети и собаки, ибо у детей и собак особое чутье на хорошего человека. Но проверить эту уверенность я не мог — детей в нашем поселке почти не было, а местных собак с первого дня их жизни воспитывали в ненависти к людям, меняя их природный характер по правилам передовой науки.

— Ладно,— сказал Терпогосов Мурмынчику.— Если у этой Вали сохранилось хоть десять процентов тех душевных качеств, о которых вы говорили, заглохнуть им не дадим.

И он распорядился секретарю:

— Срочно разыскать и доставить сюда Валю!

Пока Терпогосов просматривал оставшиеся списки, я заговорил с Мурмынчиком:

— Приходилось слышать знаменитых профессоров, таких ораторов, как Луначарский,— сказал я.— Но ваша сегодняшняя речь по форме лучше всего, что я до сих пор слышал.

Он даже не обернулся. Мое мнение его не интересовало.

Я продолжал:

— Такое великолепное умение, конечно, помогает работе культурника.

Тогда он немного смягчился и проворчал:

— С бандитами тоже надо разговаривать, как с людьми.

— И я так думаю. Но вот на профессиональных проституток из Нагорного лаготделения даже ваша речь вряд ли подействовала бы.

Он сказал сухо:

— Во всяком случае, я кое-что сделал, чтобы не умножать их армию.

— Не понимаю вас.

— Сейчас поймете. В наше отделение временно перевели одну женскую бригаду — слыхали? Половина — чечено-ингуши и прочие проштрафившиеся в войну народности. Так вот, там было четверо девушек, еще не испорченных девушек, понимаете? Боже, как их обрабатывали! Таскали подарки, вещи и еду, устраивали на легкую работу, в теплое помещение — только чтоб поддались. Ну, одна не стерпела, завела лагерного «мужа», нашего же коменданта, сейчас она работает в больничной

лаборатории. А трех я отстоял, я вдохнул в их души стойкость. В отместку их заслали на карьер, мучают холодом и голодом, непосильным трудом. Но они вытерпят до конца. Я в них уверен.

У меня было дурацкое свойство, оно всегда мне мешало — я не столько вслушивался и вдумывался, сколько вглядывался в то, что мне говорили. Я увидел этих троих девушек, полузамерзших, грязных, вечно голодных. Они ломали кирками бутовый камень, их засыпал снег, опрокидывал ледяной ветер. И дома, в зоне, их не ждет друг — случайный и недолгий, но горячий и верный — они бредут под конвоем, мечтая только об отдыхе, единственном доступном благе.

— Да, до конца,— сказал я.— До конца своего срока, конечно. Сейчас им по двадцати, этим девушкам, на волю они выйдут рано состарившимися тридцатилетними женщинами. Так и не видать им жизни!

— Что вы называете жизнью?— возразил он сурово.— Нужно точнее определить этот неясный термин,

Мы не успели определить неясный термин «жизнь». В кабинет ворвалась оживленная Валя. Она остановилась у стола, взмахнула своими удивительными праздничными волосами, улыбнулась дерзкой, самоуверенной, манящей улыбкой. Она откинула назад голову — ее большие, широко расставленные груди были нацелены на нас, как пушки, серые глаза светились, яркие губы приоткрылись. Нет, она не дразнила нас, одиноких, она знала, что ее вызвали по делу. Но она была уверена, что никакое дело не помешает нам любоваться ею, она лишь облегчала нам это непременное занятие.

— Я здесь, гражданин начальник,— сказала она Терпогосову звонко. — Ругать будете?

Терпогосов не глядел на нее. Он был тогда неженатым, так ему было легче с ней разговаривать.

— Вот что, Валя,— сказал он.— Ругать тебя, конечно, надо — поведение не блестящее... Тут мы премии распределяли для лучших работников. Ну, до лучшей тебе далеко... Однако есть мнение — поддержать тебя авансом, материально помочь встать на честную дорогу, а ты в ответ на это исправишься. Как — не подведешь нас? Оправдаешь доверие?

— Простите, гражданин начальник,— сказала Валя,— а велика премия?

Терпогосов вспыхнул, мы тоже почувствовали неловкость — речь шла о высоких принципах, а Валя примешивала к ним какую-то базарную торговлю.

— Да не маленькая,— ответил Терпогосов, стараясь сдержать раздражение,— но и не огромная, конечно. Время военное, фонды скудные. Ну, полкило сахара, граммов двести масла, пачка махорки...

— Одну минуточку!— воскликнула Валя.— Я сейчас вернусь!

И не успели мы остановить ее, как она выбежала из кабинета. Мы в недоумении переглядывались. Терпогосов озадаченно рассмеялся, Ярослав Шпур нахмурился, один Мурмынчик холодно глядел поверх наших голов — левое нижнее веко у него подергивалось.

Валя возвратилась назад меньше чем за пять минут. Она с усилием тащила увязанный пакетом пуховый платок. Широким движением рванув узел, она вышвырнула на стол содержимое пакета. По сукну покатились коробки мясных консервов, пачка сахара, килограммовый ком масла, печенье, папиросы. Это было, конечно, не лагерное довольствие, тут собрали, по крайней мере, полумесячный паек вольнонаемного.

— Раз у вас фонды скудные, я немного добавлю,— с вызовом сказала Валя.— Мне не жалко, все это я заработала за сегодняшнее утро.

Терпогосов первым овладел собой.

— Что ж, добавка твоя принимается,— сказал он.— А пока можешь идти.

Когда мы немного успокоились, я обратился к Мурмынчику:

— Мне кажется, все-таки на эту Валю ваши речи не подействуют — не так разве?

Он ответил высокомерно:

— Не знаю. Я с ней еще ни разу по-настоящему не беседовал. Не хочу гадать.

ЛЮБОВЬ КАК МАТЕРИАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА

После освобождения я некоторое время проживал у моего друга Виктора Лунева, затем переехал в гостиницу — и пожалел: Виктор обиделся, что я от него уезжаю, ссылаясь на то, что четвертый человек в его комнатушке слишком осложняет своим непрерывным присутствием даже самую душевную дружбу; а в гостинице было гораздо скучней.

Мы подружились с Виктором в начале войны, он прибыл тогда в летнем этапе из Красноярска и получил направление в наш опытный цех. Уж не помню, что он у нас делал, он был экономист, кончал знаменитую «Плехановку» — специальность, мало подходящая для экспериментов с металлургическими процессами. Нас с ним сдружила плохая работа ВЭС-2, второй временной электростанции, обслуживавшей поселок и спешно возводимые промышленные объекты. Десяти тысяч киловатт ВЭС-2 решительно не хватало на всех, и вечерами диспетчеры отключали цеха, не внесенные в список первоочередных. Наш Опытный цех, естественно, в льготных списках не числился. Электричество надежно заменяли свечным и керосиновым освещением, но работы прекращались. В середине девятнадцатого века, когда электричества и в проекте не было, куда сложней исследования ставились и велись. Но то была эпоха технического варварства, а мы, даже заключенные, жили в высокоцивилизованном двадцатом и держались соответственно своему великому веку. И потому, как только, предварительно помигав, лампочки гасли,— печи тушились, электролизные ванны переставали бурлить, химики бросали штапеля и колбы. Мы разбивались на группы сообразно своим интеллектуальным запросам — одни примащивались к

свечам с книгами, другие в углах забивали «козла», кое-кто в заначках метал «колотье», то есть что-то или кого-то проигрывал в карты. Некоторые заваливались подремать, а мои друзья собирались у меня в потенциометрической — и начинался веселый треп в полутьме. Вот в это время Виктор Лунев и стал активистом «выключенных вечеров», так мы называли наши сборища в часы, когда иссякало электричество.

У Виктора обнаружились две приятные особенности. Он обладал чистым, очень звучным, хорошо поставленным баритоном. И он знал массу старинных русских романсов и современных песенок. Он сам скромно говорил о себе: «В памяти у меня романсов — вагон и маленькая тележка». Я не очень уяснял себе, как можно романсы разместить в вагоне, тем более — в маленькой тележке, но радостно эксплуатировал дарование нового друга. Ежевечерне — в темные вечера, разумеется, выпрашивал, вытребовал, провоцировал его на пение для нашей приятельской аудитории.

Однажды он предложил мне:

— Ты, Сергей, знаешь наизусть немало стихов. Давай посоревнуемся, кто помнит больше: ты стихов или я романсов?

Любое соревнование требует административного оформления. Слушатели приходили сами, а судей мы выбрали: Софью Николаевну Кириенко, жену нашего начальника, и Людмилу Алексеевну Лобик, жену начальника электропечей на Большом заводе. Обе были с высшим образованием, приехали из эвакуированного Мончегорска, работали инженерами-исследователями в моей группе — и любили слушать и романсы, и стихи.

Так начались вечерние концерты в потенциометрической. Вольнонаемные уходили раньше заключенных: их рабочий день был меньше нашего на два часа, но ни Софья Николаевна, ни Людмила Алексеевна не покидали ОМЦ, пока нас с Луневым не вызывал бригадир на сборы в зону. Мы с Виктором начали со стихов Пушкина и романсов на его стихи. И вскоре я с беспокойством понял, что проигрываю соревнование: Виктор знал романсов больше, чем я стихов. И когда он в ответ на одно стихотворение спел четыре романса, написанные на эти стихи четырьмя композиторами, я возмутился:

— Это нечестно, Виктор. Мы не уславливались, что ты будешь петь разные романсы на одни и те же стихи.

Он хладнокровно опроверг меня:

— Но мы и не договаривались, что на каждое стихотворение поется только один романс. Я должен набрать соревновательный запас. Ты скоро начнешь гробить меня Пастернаком и Мандельштамом или, скажем, Гумилевым с Кузьминым. А на их стихи я романсов не знаю.

Наш спор продолжался три вечера — и я успел добраться уже до Тютчева и Некрасова, а Виктор еще пел Пушкина и Лермонтова. Уж не помню, что вынудило нас прервать соревнование — то ли на ВЭС-2 улучшилась работа, то ли стукнули в нужное место, но пение и стихи пришлось прекратить. Обе наши добрые судьи — Софья Николаевна и Людмила Алексеевна — согласно постановили, что ни один не взял верх над другим.

Лунева вскоре перевели из нашего цеха в Управление Комбината диспетчером. В 1943 году он освободился, поселился в каком-то самодельном — из фанеры и жести — балке, выезжал в командировки, разыскал эвакуированных из Ленинграда мать и дочку, привез их в Норильск и, как глава солидной семьи и хороший работник, получил от комбината настоящую комнату в квартире с настоящими удобствами, да еще в настоящем трехэтажном доме — к тому же возведенном по прекрасному проекту заключенного архитектора Мазманяна (после освобождения создатель этого дома воротился в свой родной Ереван и, кажется, работал там главным архитектором столицы Армении).

Чтобы я случайно не убрался в какой-нибудь заранее договоренный шальной «балок» — так практически поступали все освобождаемые (наш с Виктором друг Лев Никонов, видный проектировщик, шутил, что только в Варшаве в первую неделю после освобождения был больший дефицит жилья, чем в Норильске, где на каждое живое человеческое тело приходилось в это время всего два квадратных метра жилплощади,— норма скорей для мертвых, чем для живых). Так вот, чтобы я не сгинул во многочисленных норильских шанхаях, Виктор поджидал меня у ворот УРО, где выписывались вольные документы, и в машине, взятой в гараже комбината, торжественно привез в свою роскошную комнату.

Здесь мы в новых условиях возобновили прежние концерты. Только я старался поменьше читать стихи, а он старался поменьше петь, заменив свой голос голосами певцов более известных. Думаю, первым его хозяйственным приобретением на воле был старенький патефон, привезенный из командировки с набором иголок, которого хватило бы до следующего тысячелетия,— тот патефон стал главным героем наших праздничных вечеров. И пластинки в командировках Виктор покупал охотней, чем добавочный хлеб, во всяком случае на пластинки он не скупился, а платить за рыночные буханки расщедривался редко, хотя законного пайка по рейсовым карточкам ему всегда не хватало, он часто об этом говорил со вздохом. В Норильске он продолжал собирательство пластиночного вокала, я тоже увлекся коллекционированием пластинок, правда, специализировался больше на инструментальной музыке. И мы закатывали концерты допоздна, лишь приглушая патефонную громкость в предполуночные часы.

На музыку к Виктору часто являлись его знакомые и друзья, я стеснялся приглашать своих друзей в чужую квартиру. Среди его знакомых иногда появлялся прораб Рудстроя по имени Борис, а по фамилии не то Болхов, не то Балкин — буду для определенности называть его Балкиным. Очень занятный человечишко был этот Балкин. Невысокий, круглощекий, с маленькими живыми глазками, неожиданно массивным для небольшого лица носом, всегда насмешливым выражением лица и хрипловатым смеющимся голосом. Он участвовал в нашем разговоре только тем, что подавал иронические реплики либо что-то вышучивал. Виктор считал его крупным строителем, утверждал, что он много видел и пережил, и прекрасный рассказчик о пережитом. Но я долго не слыхал внятных рассказов Балкина, пока сам, когда мы прослушали серию неаполитанских романсов, не пустился в разглагольствования о природе любви.

— О странной болезни, именуемой любовью, известно все, за исключением одного: что она такое?— так высокопарно начал я тот свой монолог о любви.— Любовь исследована до дна на глубину, превышающую достигнутую при проходке шахт и бурении скважин. О любви написаны горы романов, километры стихов, гектары прокурорских докладов и тонны следственных материалов с приложением вагонов вещественных доказа-

тельств. И все же любовь остается величайшей тайной человечества. Любви нельзя научиться по самым лучшим любовным книгам. Каждому приходится хоть раз в жизни открывать ее вновь и вновь для себя, со всем, что сопутствует великому открытию: замиранием сердца, ликованием, страхом, поочередно сменяющимся сознанием, что ты гений, дурак, прохвост и лучшее в мире создание. Кнут Гамсун, специализировавшийся на «страсти нежной», как-то поставил на попа наболевший вопрос: «Что есть любовь?» И безнадежно посоветовал: «Спросите у ветра в поле.»

— Вы тоже считаете, что надо обратиться к ветру в поле, чтобы узнать, что такое любовь?— насмешливо поинтересовался Балкин и выразительно искривил свое подвижное лицо.

Я расценил его гримасу, как возражение, и кинулся в спор.

— Да, я не знаю, что такое любовь, как и не знаю точно пищеварения в моем желудке. Знаю, что пищеварение идет нормально и потому я сыт или, наоборот, голоден. И знаю, что любовь — не трепетный цветок, стыдливо вянущий от постороннего взгляда, а скорей похожа на здоровенное существо с мускулами быка и глоткой пароходной сирены и, стало быть, может постоять за себя в любой житейской потасовке. То есть знаю, как выглядит любовь со стороны, каково ее практическое действие. А вот что она такое сама по себе, в своей имманентности, чтобы философски ее определить — нет, до этого никто еще не дошел: ни сами любящие, ни воспевающие любовь поэты, ни объясняющие ее ученые.

— Интересно,— сказал Балкин.— Даже очень интересно — со стороны все видно и ясно, а что именно ясно — не разобрать. И насчет вот этого — мускулов быка и глотки пароходной сирены... Беретесь доказать?

— Конечно. Для доказательства расскажу вам невероятную историю о том, как устраивались любовные свидания на заводской трубе.

— Убедительная история,— одобрил Виктор. Он знал, о чем я буду рассказывать.

На никелевом заводе, ко времени моего рассказа, несли свои функции две кирпичные трубы — первая метров в 140, вторая — чуть поболее 150. Высота трубы подбиралась из расчета, чтобы высасываемые ею из металлургических агрегатов вредные газы не душили поселок, а

уносились далеко за его пределы. И если с Норильского трехгорья не свергались в долину ветры, трубы трудились исправно. Только в отдалении от поселка гибли северные леса. И морозы ниже пятидесяти градусов, и свирепые циклоны с океана, и вечную мерзлоту, не позволявшую корням углубляться — все тысячелетия выносили сверхвыносливые леса, а соседства с индустрией не снесли. А когда задували горные фены, газы заволакивали и поселок — и люди тогда узнавали, что должны чувствовать леса. Правда, люди в отличие от мощных деревьев сразу не гибли.

Трубы выкладывались с хорошим запасом прочности — стены у основания толщиной в пять-шесть метров, на вершине — около трех. Выкладывали их с великим тщанием из специального кирпича опытные трубоклады. И выкладывали без спешки, типичной для всех других строительств, — слишком уж серьезными последствиями грозила плохая кладка. И сушили свежую кладку зимой и летом, не полагаясь на милость погоды, снизу в трубу непрестанно вдували теплый воздух. Вторая труба возводилась уже в середине войны, она неторопливо росла несколько месяцев. И вот на ней-то и разыгрались события моего рассказа.

Ночью трубоклады уходили, и к трубе тайком устремлялись парочки. Зимой на промплощадке встречаться негде — в цеху полно людей, снаружи мороз и снег. А в канале трубы тепло, ветра нет, канал освещен лампочками. Мужчины с женщинами карабкались по внутренним монтажным лесенкам и удобно устраивались на верхней площадке. Даже на самой вершине, где толщина стен около трех метров — ширина средней комнаты — можно свободно вытянуться и гиганту. А над головами шатер, спасающий и от снега, и от дождя, и от головокружения. Один молодой уголовник, трудившийся в обжиговом цехе и в нужное время убегавший на высокотрубные свидания, с восторгом описывал удобства любви на трубе. Одно было страшно, признавался он, — лезть туда, цепляясь за внутренние скобы, а пуще того — спускаться.

— Вот что такое любовь,— с торжеством закончил я. — Совершенно непонятное в существе своем чувство, а гонит человека на немыслимые поступки. Даже здоровому крепкому парню страшно карабкаться по сто-

метровой стене, а каково же бабе? Нет, карабкались и лезли, передыхали и снова ползли. Я как-то проник в трубу, чтобы посмотреть — вмиг голова закружилась от одного вида высоты, а они не опытные же трубоклады... Платили смертным страхом, ежеминутной возможностью гибели за часок удовольствия. И после этого будете оспаривать, что у любви мускулы быка и что она вовсе не нежный цветок, сникающий от легкого дуновения ветра?

— И не подумаю,— сказал Балкин, посмеиваясь.— Даже полностью согласен с вами насчет быка и цветочков. Но только скажу в дополнение, что грош цена вашим прорабам и заводским начальникам,— никто не подумал использовать могучую силу любви. Да и вы тоже... Неплохо описали и мускулы, и глотку сирены. Так сказать, философский взгляд со стороны. А что любовь — великая проиводительная сила и что ее можно использовать в материальном производстве — об этом вы и не подумали.

— Любовь как материальная производительная сила? Любовь как некая экономическая категория? Уж не хотите ли вы сказать?..

— Да, именно это! Я пошел дальше вас в понимании любви. Скромно признаюсь: я первый в мировой истории использовал любовь именно как материальную производительную силу, как важный экономический фактор. И заплатил за это великое техническое открытие всего десятью сутками карцера. Зато возглавляемый мною участок впервые за несколько лет вышел в передовые, а мне пообещали два года досрочки — и выполнили обещание. И если я сейчас с вами пью этот разбавленный деготь, который Виктор Евгеньевич почему-то называет цейлонским чаем, а не валяюсь на нарах в моей бывшей зоне, то лишь потому, что не индивидуально плотски, не абстрактно философски, а производственно практически понял, что такое любовь и как ее приспособить к экономике строительства.

Мы дружно хохотали. Виктор с восторгом воскликнул:

— Что я тебе говорил? Борис — златоуст! При капитализме он был бы лидером в парламенте, а у нас новатор в горном строительстве. Просто бери карандаш и записывай каждое слово!

Записывать рассказ Балкина я не стал, но постарался запомнить. И передам его своими словами.

Все началось с того, что Балкина с этапа сразу доставили в Нагорное отделение, населенное почти исключительно женщинами. Он никого в Норильске не знал, но лагерное начальство имело о нем исчерпывающие сведения — строитель по специальности, сидит седьмой год, осталось три, трудился на многих объктах и был энергичен и деловит. А в бараке его предупредили, что он должен опасаться начальника зоны Брычникова — хам по поведению, зверь по жестокости, дубина по интеллекту.

Два дня Балкин вкалывал на общих работах, а утром третьего предстал пред грозные подслеповатые очи Ефима Брычникова.

Даже среди вохровских офицеров Брычников числился «здоровилой» и «железякой». Несколько незаурядных дел, совершенных незадолго до того, как его выбросили из партии и уволили с комбината, прославили имя Брычникова и в блатном мире. Знаменитого Моньку Прокурора, наотрез отказавшегося выходить на работу, Брычников самолично перевоспитывал в своем кабинете — Моньку после этого разговора на руках доставили в ОПП — местный Оздоровительно-профилактический пункт, более, впрочем, известный под скептическим наименованием «Отдел подготовки покойников». А когда «постельный шарик» Катька Крыса, вызванная для уточнения анкетных записей в личном деле, крикнула в качестве последнего аргумента: «Не трожь, говору, я же сифилисом больная!», Брычников бодро ответил, наращивая усилия: «Поделим пополам, нехорошо жадничать!» Если же к этому добавить, что язык старшего лейтенанта Ефима Брычникова исчерпывался несколькими словами, обслуживающими единственный глагол «дать», и сводился к неприхотливой вариации фразы: «Давай, а то дам!», то облик начальника Нагорного отделения станет ясен. Балкин не был человеком робкого десятка, но на рожон не лез. Он почтительно стоял перед Брычниковым и старательно придавал своему насмешливому от природы лицу идеологически выдержанный вид.

— Контрик?— прохрипел Брычников, не удовлетворившись внешним осмотром.

— Статья пятьдесят восьмая, пункт восьмой, через семнадцатую уголовного кодекса РСФСР,— мягко уточнил Балкин.

— Я тебе дам, контра!— завопил Брычников, стукнув кулаком по столу.— Вредил, гад! Вредить не дам, понял?

Борису Балкину, закончившему кроме Харьковского Строительного института еще Военно-Строительную Академию, удалось сравнительно просто разобраться в «крикописи» начальника Нагорного отделения, как ее называл старик Никифорыч, дневальный конторы Рудстрой, в прошлом профессор-ассириолог, специалист по клинописным таблицам. Балкин на лету переводил в уме крики Брычникова на более привычный ему русский язык. В результате беглой расшифровки получилось следующее. Ему, Брычникову, начхать на дипломы Балкина, он готов сегодня же сгноить его, Балкина, на тяжелых работах, затаскать по штрафным изоляторам, натянуть ему на плечи деревянный бушлат. Он, Брычников, считает, что только так и следует обращаться с террористом, шпионом и диверсантом Балкиным. На время это придется отложить, но не радуйся, инженер, расправа от тебя не уйдет! Обстоятельства не во всем подчиняются Брычникову. На строительстве рудника — прорыв, нужно принимать срочные меры, а то всем достанется — кому по шапке, кому по заднице. Начальник строительства полковник Волохов уверен, что Балкин сможет добиться перелома. Для этого его и перебросили сразу в Нагорное. Сегодня же примешь самый отстающий десятый участок. Рабочие на участке — одни бабы, так чтоб все было в ажуре, понятно? Каждый вечер докладывай выполнение. А не дашь выполнения, пеняй на маму, что родила, — больше винить некого! Чего стоишь, выпучив глаза?

— Разрешите идти выполнять, гражданин начальник? — почтительно осведомился Балкин. Он никак не мог отделаться от военной привычки стоять прямо и говорить четко.

— Давай!— разрешил Брычников, несколько смягчаясь оттого, что инженер, видимо, неплохо понял его технические указания по части строительства.

Балкин прежде всего направился в вещевую каптерку — он был опытный лагерник и знал, что никакое добро, как бы мало оно ни было, нельзя выпускать из рук,

тем более такое богатство, как обмундирование первого срока, полагавшееся ему по новому чину. В скрипучей — от свежести — черной телогрейке и ватных брюках, в кирзовых сапогах, с начальственной папкой под мышкой, он прибыл на свой десятый участок и вступил в командование. Это событие было отмечено лихим матом трех девиц, разравнивавших площадку перед конторой.

— Начальничек!— кричали они.— Подженимся на крылечке. Не пожалеешь! Такое чудо покажем — сроду не видел! Или неверующий?

Балкин пробежал в свой новый кабинет, бросив на ходу:

— Я от праведной веры в женские чудеса до святости дошел! Каждый раз крещусь, как стаскиваю штанишки. Но сейчас некогда, хорошенькие, потерпите до другого случая.

Теперь уже не мат, а хохот несся ему вслед. Повеселевшие девицы снова взялись за лопаты, а Балкин вызвал бригадиров и открыл совещание. Отчаянное положение десятого участка вскоре стало ему ясно во всех подробностях.

— Мужиков на нашем объекте нет, а что с женщин спросишь?— сказал один из бригадиров.— Еле-еле по полнормы наворачивают.

— Хахаля́ мешают, вот причина,— мрачно добавил второй.

— Какие хахаля́?— не понял Балкин.

— Расконвоированные,— пояснил бригадир.— Мужики из других зон. Лбы. Им бы спать после своих ночных и вечерних смен, а они, взамен сна, на горе по кусточкам и поджидают марух. А те только об этом и болтают, как бы выскочить к ним. Не до работы...

Слово взял третий бригадир:

— Погубит нас любовь! В производстве нет вреднее любви. Я считаю так: нагнать комендантов и свернуть любви шею.

— А штрафы не применяете?— поинтересовался Балкин.

— Штрафуем!— отозвались бригадиры хором.— Бригада на уменьшенном питании, как злостно невыполняющая нормы. А толку нет. Хахаля́ сами недоедают, а притащат своим марухам пайку-другую.

— Понятно!— бодро сказал Балкин.— Ситуация нелегкая. Ничего, как-нибудь перебедуем. Теперь попрошу вас пробежаться со мной по рабочим точкам.

На участке работало около ста женщин. При виде нового начальника, окруженного бригадирами, они торопливо хватались за лопаты, кирки и носилки. Но Балкин наметанным глазом строителя легко определил, что усердие — показное. Уже один вид ржавого инструмента свидетельствовал, что пользуются им без особого старания.

— Нелегкая ситуация!— повторил Балкин еще веселее и повернулся к бригадирам.— Где тут у вас парк культуры и отдыха со спальными местами для влюбленных?

Его провели по склону горы — на вершине ее шло строительство рудника и находился балкинский десятый участок. Склон был густо прикрыт карликовой ольхой и рахитичными березками. Далеко внизу, вдоль ручья, тянулись проволочные заборы, отделявшие производственную зону от остального мира. Горный лесок казался пустым, только на некоторых кустиках позвякивали тундровые синички.

— Это самое!— хмуро сказали Балкину бригадиры.— Прячутся здесь, подлюги!

Неплохое местечко!— одобрил Балкин.— В солнечную погоду загорать можно!

— Или мы ее, или она нас!— повторил один из бригадиров.— Столько зла от любви, просто не поверишь!

Пока они разговаривали, осматривая гору, в воздухе потемнело и над строительными участками рудника вспыхнули прожекторы. У конторы гулко ударили в подвешенный рельс — дневная смена закончила работу.

И тотчас же мертвый лес ожил. Из кустов, из-под березок, из лощинок выползали парни в бушлатах и телогрейках, с котелками в руках, с буханками подмышками. А навстречу им с вершины посыпались кричащие, визжащие и хохочущие женщины. В общий гам ворвались пронзительные голоса неизвестно откуда возникших комендантов, с усердием разгонявших парочки. Теперь вся гора гремела, ругалась и целовалась, и ликовала. Потом прогудели новые удары по рельсу — приказ строиться в колонны к разводу. Неистовые голоса комендантов стали покрывать прочие звуки. Женщины пробегали мимо Балкина с дарами возлюбленных, сверкая на него веселыми глазами.

— Начальничек!— кричали они задорно.— Чего бельмы вылупил? Завидки не берут?

— Как вам это нравится?— безнадежно сказали бригадиры, когда все опять стихло.— Попробуй в этих немыслимых условиях выгнать запланированную производительность...

— А высокая производительность есть решающее условие победы нашего общественного строя,— насмешливо пробормотал Балкин. И добавил решительно: — Считаю, что вами допущен коренной ляпсус в толковании высочайших философских категорий бытия, и именно от этого проистекают производственные беды. Покорить природу можно, лишь покоряясь ей!

И, громко расхохотавшись — к большому смущению бригадиров — Балкин торжественно провозгласил в качестве директивы к действию удивительную формулу повышения выработки на участке: «Основой производства сделаем любовь!»

На следующий день, после полудня, Балкин отправился опять — уже один — на склон горы. Он переходил от кусточка к кусточку, вскоре наткнулся на паренька, пристроившегося под березкой. Тот мирно спал, положив голову на свежую буханку хлеба — чтобы услышать, когда ее будут утаскивать. Балкин потолкал его ногой, и паренек испуганно вскочил. Приняв Балкина за нового коменданта, он сгоряча хотел драпануть, но Балкин остановил его.

— Дело есть, нужно побеседовать,— сказал он.— Зови всех прибывших своячков на производственное совещание по вопросу любви.— И заметив, что паренек колеблется, поспешно добавил:— Я серьезно, чудак! Ищите меня вон под теми кусточками, там коменданты не помешают.

Около него собралось шестеро хахалей — здоровые парни, типичные лагерные лбы.

— Плохо, ребята,— вздохнул Балкин, убедившись, что, по случаю раннего времени, основной актив не собрался.— Производственная программа срывается из-за ваших встреч. Есть решение — усилить охрану. Еще комендантов нагонят. Кого поймают, потащут в штрафной изолятор.

Лбы дружно забушевали:

— Сволочь! Падло! Гадюка! Твое что-ли забираем! Иди, знаешь, куда!

А один пригрозил:

— Встретим вечером около барака, все припомним — жаловаться не придется!

Балкин сокрушенно развел руками.

— Да разве это я придумал, ребята? От меня самого требуют — выполняй программу! Кому охота новый срок зарабатывать? Войдите в мое положение.

Ему кричали еще яростней:

— А ты входишь в положение? На десять минуток не отпускаешь баб с объекта. Словечком не перемолвишься. Одно знаете, гады,— работай, работай! От работы кони дохнут, а это же женщина. Что она может?

Балкин снова вздохнул.

— Вот-вот, и я это говорю — не справляются ваши девчата с нормами. И сосредоточиться не могут, все о вас думают. Вам бы помочь им, пожалеть бедных, а вы еще усугубляете. Не сочувствуете своим марухам.

Озадаченные лбы стали защищаться.

— Почему не сочувствуем? Очень даже сочувствуем. Помогаем, сколько можем.

Балкин презрительно покривился.

— Помощь — притащил кусок хлеба!— Он повернулся к пареньку.— Ты, например, дрыхнешь под кусточком, а твоя деваха седьмым потом исходит. А мог бы подойти и подсобить — никто не прогонит. И она бы раньше освободилась, поговорили всласть — не по-собачьи! Нет, на это силенок не хватает!

Лбы быстро посовещались между собой.

— Слушай, начальник!— сказал один.— Котелок у тебя варит, точно. Договариваемся — мы поможем девчатам схватить норму, а ты после сразу их отпускай. Разбегаться далеко не будем. К разводу все явятся, как штык!

— Ну нет!— твердо сказал Балкин.— Тоже дурака нашли! У моего участка жуткая задолженность еще за тот квартал. Кто мне такую нехватку покроет — Пушкин? Тридцать процентов сверх дневной нормы наворочаете — пожалуйста, никого не держу. Целуйтесь хоть у вышки, под носом у стрелка. От себя порекомендую комендантам не попадаться.

— Ладно,— сказали парни после нового совещания.— Выбьем тебе тридцать процентов сверх нормы. А свободное время, что останется от рабочего дня,— наше. Так что ли?

— Какие сомнения?— заверил их Балкин.— За час свернете задание, уходите через час.

Посмеиваясь, он неторопливо выбирался из кустарника — лбы, летя на вершину, как на крыльях, далеко опередили его.

Уже к вечеру этого дня выполнение норм скакнуло вверх. А когда слухи о новых порядках на десятом участке дошли до всех, посещавших лесок на склоне горы, Балкин по производственным показателям заметно обогнал соседей. Начальник лагеря полковник Волохов по телефону поздравил Балкина, похвалил его отличное техническое руководство и пообещал исхлопотать награду — два года снижения срока.

— Только не сбрасывать темпов!— кричал в трубку полковник.— Так держать! Верю в твои инженерные знания, Балкин!

— Есть, гражданин начальник!— отрапортовал Балкин.— Доверие оправдаем!

Но сразу же после телефонного звонка Волохова в контору прибежал растерянный старший комендант и потащил Балкина в кандей. Балкин расписался в десяти сутках штрафного изолятора с одновременным исполнением служебных обязанностей и весело — по обыкновению — задумался над нелегкой судьбой тех, кто устраивает перевороты в таких устоявшихся областях, как любовь и промышленное строительство. Среди размышлений он не услыхал, как в камеру вошел Ефим Брычников. Прославленный начальник Нагорного лаготделения долго пронзал взглядом опустившего голову Балкина.

— Даешь?— прохрипел Брычников.

— Работаю помаленьку,— скромно согласился Балкин.

Брычников сел рядом с Балкиным и достал из внутреннего кармана шинели бутылку, два стакана и коробку консервов.

— Чтоб не скучал в карцере,— пояснил он.— И я с тобой пропущу стаканчик. Ну, будем здоровы!

Когда спирт был выпит и консервы съедены, Брычников заговорил опять:

— Ну, дал, ну, дал — за неделю на первое место вымахнул! Голова у тебя, гад! А что лагерный режим нарушаешь, за это придется отсидеть. Не могу дать спуску, понимаешь? Комендатуре дал указание: вылавливать все парочки, которые в рабочее время, ясно?

Он встал и запахнул шинель.

— Пусть коменданты не свирепствуют,— осторожно заметил Балкин.— Упадут снова производственные показатели, вас тоже по волосам не погладят.

Брычников ответил, не глядя на Балкина:

— Было у нас в зоне пять комендантов. Ну, мы помозговали, четырех временно перекинули в другие зоны. Боюсь, не справится один, как по-твоему?

. . .

— Вот так и совершилась производственная революция на самом отстающем участке Рудостроя,— закончил свой рассказ Балкин.— И как многие великие революции в истории, она вышла за свои законные пределы, перемахнула свои достижимые цели. Мы слишком уж перевыполнили производственные нормы, к нам кинулись перенимать опыт. И обнаружили, каким способом мы рвем производственные рекорды. И придушили нашу замечательную инициативу, как не раз в истории душили великие начинания.

— Как это отразилось на вас?— спросил я.

— Никак не отразилось — ведь из списка на досрочное освобождение не вычеркнули. А Брычникову не везло. На него уже давно сыпались жалобы, стали разбираться. С работы его сняли, не знаю, где он сейчас. Парень он, в общем, неплохой — такой же бандит, как и те, над которыми начальствовал.

Я уже писал, что после двух-трех месяцев житья у Виктора переехал в гостиницу. И, кажется, уже не встречался с Балкиным. В конце навигации 1945 года он выехал на «материк», больше я о нем не слышал. Совершенную им революцию в методах повышения производительности труда погубил ее слишком большой успех. О'Генри назвал один из своих рассказов: «Трест, который взорвал себя»— название вполне подходит и к производственным достижениям замечательного строителя Бориса Балкина.

Виктор Лунев вскоре тоже уехал из Норильска. Раз уж я заговорил о нем, скажу, что судьба в дальнейшем ему не улыбалась. Когда он появился в Норильске, мы все — кто втайне, кто открыто — завидовали ему. Он был из счастливчиков — получил всего пять лет, навесили легчайший десятый пункт пятьдесят восьмой статьи: болтовня, анекдотики. И вышел на волю в сорок третьем, война переломилась в победу — и в лагере, и в обществе

наметилось что-то вроде посвежения. Даже причина, по которой ему пришлось покинуть Север, не казалась очень уж зловещей: заныли легкие, надо было сменить климат, получил на отъезд письменные благодарности и добрые пожелания. А после войны в стране задули опять холодные ветры. Бывших заключенных — только «пятьдесят восьмую», естественно,— массами возвращали в тюрьмы. Правда, особенно не усердствовали, давали новый срок, если легко к тому подбирались поводы, а если поводов быстро не находилось, выпускали в беспаспортное ссыльное бытие. Мы в Норильске в этом смысле оказались в привилегированных условиях, нас не сажали вновь в тюрьму, а просто вызывали в комендатуру, отбирали паспорта и, оставляя на прежних должностях, объявляли бессрочную, на всю остальную жизнь ссылку. Делались такие поблажки в интересах Норильской промышленности, все же среди примерно шестидесяти тысяч вольных жителей поселка в те годы тысяч пятьдесят составляли бывшие заключенные, а добрая четверть их — наша «пятьдесят восьмая». Мы называли милостивое обращение с нами печально-веселой формулой: «Отрыв от свободы без отрыва от производства».

Виктору Евгеньевичу Луневу счастье «отрыва от свободы без отрыва от производства» не выпало. Он промаялся в тюрьме, получил новый срок и воротился в лагерное существование. Лишь после смерти Сталина он узнал вторичную свободу. И она уже была не веселой. Он жил в Усть-Каменогорске, снедаемый болезнью легких. В начале шестидесятых годов, лишь немного перевалив за пятидесятилетие, он скончался.

ПОБЕГ С КОРОВОЙ

1

Мой друг Виктор Лунев, дежурный диспетчер управления Норильского Комбината, явился по делам на Металлургический завод и нашел время заглянуть в организованную мной лабораторию теплоконтроля.

— Плохо твое дело, Сергей,— дружески информировал он меня, после осмотра двух комнат лаборатории и склада приборов.— Инженером-исследователем в Опытном цехе ты еще был на месте, а в начальники солидного предприятия решительно не годишься.

— Не предприятие, только лаборатория,— пытался я оправдаться.— И не начальник, лишь старший инженер. Название старшего тоже взял для солидности и дополнительной десятки премвознаграждения, так как других инженеров у меня нет и пока не предвидится. Нету над кем старши́ть.

— Один черт,— категорически установил Виктор.— Дело не в квалификации, а количестве работников. Сколько числится под тобой?

— Не считал точно, но человек тридцать будет. Слесаря, газоаналитчики, дежурные пирометристы, два мастера по ремонту приборов, уборщица, она же дневальная...

— Вот, вот, тридцать сотрудников да две комнаты и уборщица? А где уборщица? Почему комнаты не подметены? Их когда-нибудь мыли? Пищевое и вещевое довольствие ей выписываешь?

— Выписываю. Но где она — понятия не имею!— признался я сокрушенно.— Приходит с общим разводом, но до лаборатории добирается не каждый день. Пропадает по цеховым закоулкам, девка молодая — хахаля́ тянут к себе.

— О чем и говорю — никудышний ты руководитель! Разве можно в промзоне брать женщину в дневальные?

Десяток заводов, вольняшек сотни, зеков тысячи, все мужчины, а баб? Наберешь полсотни — и точка. Будут с метлами носиться! Самого главного начальнического задания не осилил.

— Грамотно вести технологический контроль — вот мое главное задание. Нарекания пока не слышал.

— Поверхностное понимание. Промашки в металлургическом процессе и контроле над ним неизбежны — и с этим заранее примиряются. И на солнце есть пятна, слыхал? Но пятен ни на стенах, ни на полу не должно быть в солидном учреждении. Тем более в лаборатории. Это тебе не солнце, все здесь обязано сверкать. Квартира начальника Комбината должна по чистоте уступать твоим комнаткам, тогда и до него дойдет, что ты в своем инженерном деле мастак.

— Что же ты предлагаешь?

— Выгнать свою дневальную — первое. Взять мужчину в уборщицы, пожилые мужики на тайные свидания с бабами не бегают,— второе! И лучше «пятьдесят восьмую», а не блатняка или бытовика,— третье и последнее. У интеллигента, даже если он жижу выскребает из нужника, всегда ответственность за свое любимое дело. Ибо у нас труд — дело чести, доблести и геройства, так пишут на плакатах, а он внимательный читатель, а не Нечтяк Нечтеус. Недавно в Рудстрое приняли в дневальные бывшего профессора по восточным древним языкам. Не знаю, как у этого доходяги-большесрочника с вавилонской клинописью и законами царя Хаммурапи, но полы он буквально вылизывает. Истинный мастер метлы и тряпки, вот что значит университетское образование и справедливо полученное ученое звание.

— Не уверен, что удастся добыть профессора в говночисты. Но какого-то трудягу из нашего брата постараюсь перевести с наружных работ в тепло. Спасибо за удачную подсказку, Виктор!

2

Нарядчик нашей бригады был парень смышленный. Он мигом сообразил, что, поставив мне интеллигентного дневального, заработает на этом неплохую порцию спирта из технологических запасов лаборатории. Несколько

дней он выдержанно пропадал в УРО — учетно-распределительном отделе,— выискивая из списков тысяч зеков нашей зоны, выходящих на общие — наружные — работы нужного мне интеллигента-доходягу, потом, сияющий, ворвался ко мне:

— Нашел, что тебе требуется! Фраер в пяти поколениях. Черт чистой воды. К тому же полковник. Исполнительность вложена в него с колыбели. Без особого мамниного разрешения даже сиську не сосал. С тебя пол-литра.

— Полковник?— удивился я.— Что-то в нашей зоне не помню советских полковников. Из освобожденных на радость НКВД наших недавних пленных?

— Почему советских? Я же тебе говорю, потомственный фраер,— разве в нашей армии такие бывают? Прибалт. В плен никогда не попадался, потому что у них не воюют. Полковники там мундирные, а не боевые. Наши взяли перед войной за шкирку и сюда. Третий год бедует на общих. Жутко обносился и отощал. Зато друг генерала Бреде, вместе каждый вечер по-своему талдычат. Самый заслуженный в генеральской хевре.

— Что ты врешь?— не выдержал я.— Генерала Бреде со всеми его товарищами еще в начале войны расстреляли на озере Лама.

— Хорошо, пусть двести граммов,— уступил нарядчик.— Завтра выведу к тебе на работу.

— А фамилия как?

— Азацис. Латыш, коренной рижанин.

— Вот видишь — латыш. А генерал Бреде, сколько знаю, был начальником главного штаба эстонской армии. Лепишь, как горбатого к стенке.

— Ладно, согласен на сто неразведенного. Завтра вечерком прихляю со своей закусью. Могу и на тебя притащить — чудная американская тушенка с лярдом, ребята наворовали на вольном складе. Натурально, граммов пятьдесят добавишь.

Так в нашей лаборатории появился новый дневальный. Он поначалу ужаснул меня — очень уж был грязен и оборван, да и несло от него на десять метров чем-то до того скверным, что невольно чихалось. Я обрисовал ему несложные обязанности сторожа и уборщика, послал вне очереди в баню и пошел к начальнику Управления Заводов Александру Романовичу Белову выпрашивать

одежду для нового дневального. Белов хорошо относился к лаборатории и ко мне лично — много позже, когда он был директором атомного оборонного завода, а я писал книги о западных и советских ядерщиках — мы с ним неоднократно дружески встречались в Москве. Но на обмундирование первого срока Белов не раскошелился, зато бушлат, ватные брюки, шапку и ботинки второго срока разрешил без упрашиваний — а это было уже совсем не то, в чем кутались на общих работах. Спустя два дня, Азацис появился в лаборатории человек человеком — в одежде поношенной, но мало отличающейся от той, в какой щеголяли не только зеки, но и «вольняшки» — бывшие заключенные, оставленные после освобождения в нашем заполярном городе.

Я постарался в первом же обстоятельном разговоре выяснить, был ли Азацис военным и встречался ли с генералом Бреде. До всех нас в свое время доходила темная история о том, как расправились с военными эстонцами, привезенными в Норильск в сороковом году на временное поселение. Вначале их разместили на прекрасном озере Лама, недалеко — по сибирским масштабам — от Норильска, в недавно выстроенном курортном домике, на принудительные работы не выводили и самое главное — кормили «от пуза». Но с первых дней войны в Норильск прилетела специальная комиссия — и всех эстонцев, во главе с генералом Бреде, в один день, без следствия и суда, расстреляли, а трупы так захоронили, что и после войны, когда Лама стала открытым поселением, нигде не могли отыскать следов их общей могилы.

Азацис, и вправду бывший военный, с Бреде знаком не был и ничего нового к тому, что я знал, не добавил. Зато дневальным оказался превосходным. Он боролся с грязью, как с личным врагом. Не осмелюсь утверждать, что он вылизывал полы, как тот незнакомый мне старичок-профессор на Рудстрое — в заводской лаборатории не дал бы эффекта даже такой экстравагантный способ поддержания чистоты: слишком уж много вокруг теснилось коксовых батарей и плавильных и обжиговых печей, слишком часто разгружались железнодорожные составы с рудой и флюсами — пыль в воздухе порой затемняла солнце. Но каждый день Азацис по утрам выгребал ведерко грязи и раза три в день выметал с очищенных полов по совку непрерывно добавлявшегося сора. Я был до-

волен исполнительным полковником, так быстро перековавшимся в высококвалифицированного дворника.

Несколько нехороших обстоятельств стали вредить уборщицкому умению Азациса.

Ко мне пришли две моих пирометристки — боевая красивая Зина и тихая простенькая Валя — и пожаловались, что Азацис плохо себя ведет.

— Пристаешь к девчатам?— деловито осведомился я. Ничего умнее мне сгоряча в голову не пришло.

— Пахнет от него,— объявила Зина.

— Чешется,— добавила Валя.— Все время чешется.

Выяснилось, что выданная Азацису не новая, но терпимая одежда и внеочередная баня не истребили заматеревшего аромата грязного барака и долгих трудов в земляных карьерах. И что он отнюдь не подвижник личной гигиены, во всяком случае не тратит на нее тех усилий, какие затрачивали другие заключенные, переселившиеся «с общих в тепло».

Пришлось вызвать в свою комнатушку — она звалась у лаборантов «кабинетом начальника» — исполнительного дневального и провести без посторонних агитационно-педагогическую работу.

— Сергей Александрович, к чему?— душевно сказал Азацис, выслушав мои претензии.— Ведь мы же на дне! На самом дне жизни! Ужас, только подумать, как жили раньше! Какая разница — немного чище, немного грязнее... Что вокруг нас? Барахтаемся, переворачиваемся...

— Есть разница,— сказал я твердо.— И на дне неодинаковые степени существования. Разве на земляном карьере и в лаборатории одинаково? Хотите на общие воротиться?

— Зачем вы так?— сказал он с обидой.— Неужели я не понимаю? Так вам благодарен, что вытащили из этого ужаса!

— Вот видите — сами чувствуете разницу между своим нынешним бытием и бытом тех, кто не выбрался с наружных работ. Но есть еще одно отличие, нравственно гораздо более важное, чем все бытовые неодинаковости нашего общего существования на общественном дне.

И я растолковал Азацису, что хотя мы с ним заключенные, но нас со всех сторон окружают вольные. Это наши девушки-лаборантки — они привезены из сибирских таежных сел, и им заранее обещали, что они уви-

дят в Норильске северную столицу, не уступающую по культуре и устройству быта лучшим городам страны. И еще им пообещали, уже в Норильске, что они будут работать хотя и с заключенными, злыми врагами нашего трудового народа, но зато с настоящими специалистами, крупными в целой стране знатоками своего дела. И что это счастье для них — попасть под начальство таких нехороших, но ценных людей, учиться у них, перенимать их знания и умения. И результат: явившись в лабораторию, в другие учреждения, заполненные заключенными, они готовы выполнить любое наше указание, слушают нас, раскрыв рты. Да и не только они, девчонки и парни из лесных деревень! Наши руководители из коренных вольных тоже ведь понимают, что им выпала редкая удача — общаться со специалистами из столичных городов, и надо, пока те в их подчинении, перенять все, чего они в своей специальности достигли, а также общую их культуру. Начальник нашей центральной химической лаборатории Ефим Григорьевич Мышалов как-то сказал нам — мне, химикам Алексеевскому, Винеру, Заостровской: «Друзья, мне стыдно, что я на воле, а такие, как вы, в заключении». Вот что за люди нас окружают, Азацис! Неприлично появляться перед ними грязным, завшивленным, скверно пахнущим. Мы обязаны держать себя в чистоте, даже если придется пожертвовать какой-то частью своей продовольственной пайки. Я заплатил за кусок туалетного мыла и флакончик одеколона премиальной банкой американской тушенки и полпачкой махорки. Почему бы и вам не сделать этого?

И я закончил строгим наставлением:

— Завшивленных и провонявших я в лаборатории не потерплю. Учтите это в дальнейшем, Азацис. Претензий на вас в этом смысле не должно ко мне поступать.

Азацис принял к исполнению все мои требования. Но, к сожалению, пошел дальше их — и это привело его к окончательному падению. Он отделался от паразитов, и хотя одеколона не завел, но разжился настоящим мылом, вместо той зеленой полужижи, полутеста, которую нам тогда выдавали в бане. Зато, усердно улучшая свою внешность, он стал присматриваться к внешности наших лаборантов. Мужчины, слесари и прибористы, его не интересовали — все по-мужски всклокоченные, мятые, часто рваные, далеко не всегда чистые — заключенных

все же насильно водили в баню раз в неделю, а наши вольные парни ограничивались собственными потребностями в чистоте, а потребности не у всех были настоятельны и одинаковы. Зато на вольных девушек Азацис «положил глаз» и обнаружил, что нарядами ни одна не блистает, но у стенного зеркала каждая выстаивает по десятку раз в смену: изучает свои гримасы и мины, то приглаживает, то распатлывает волосы, высматривает непорядок на щеках, а те, что постарше, красят себе губы красными химическими карандашами — с начала войны, по слухам, даже на материке исчезла губная помада, а о заполярном Норильске и говорить не приходилось. И, естественно, он скоро сообразил, что на стремлении женщин к красоте можно неплохо разжиться, если хорошо постараться.

Он пришел в мою комнатку, когда я, оторвавшись от служебных дел, писал пятистопным ямбом злободневную современную трагедию из средневековой жизни.

— Сергей Александрович, у вас нет ланолина? Дайте немного,— попросил он.

— Ланолина?— удивился я.— Никогда не слыхал о таком звере. Где он водится? И для чего он вам?

Азацис разъяснил, что ланолин что-то вроде воска, вымываемого с шерсти овец. И что из ланолина, добавив туда какие-то специи, приготавливают косметические кремы. И что его жена, ненавидевшая заводские поделки, сама приготавливала себе превосходные мази на ланолине. И что он помогал ей и в конце-концов стал мастером по изготовлению «мазильной косметики».

— Мне бы немного ланолина,— вздохнул он.— Я бы приготовил такой крем, что самая дурнушка из лаборанток станет красавицей. Может, у ваших знакомых есть овцы?

— Я с овцами всегда имел дело только после того, как они превращались в шашлыки,— ответил я.— И какие могут быть овцы неподалеку от полюса? Этих животных в Заполярье по этапу не ссылают — не подобрали для них пока уголовной статьи.

Он все же нашел, как добыть ланолин. Девушкам — во время моего отсутствия, естественно,— он столько наговорил о чудодейственных свойствах своих кремов, что каждая быстро уверилась в возможности превращения в писаную красавицу. Овцы в Заполярье, точно, не водились, но в южных енисейских селах, всего в тысяче-двух километрах от Норильска, они входили штатно в список

местного животного населения. Думаю, не одна, а с десяток наших девушек сели за слезные письма родным о срочной косметической помощи. И в скором времени у Азациса появилась консервная банка доверху полная какой-то дурно пахнущей массы. А рядом с ней он поставил и вторую банку, тоже жестяную, но с крышкой — уже готовый косметический продукт.

Девушки теперь стайками бегали в угол большой комнаты, где Азацис устроил свою дневальную резиденцию. Они приносили ему дары от своих вольнонаемных пайков — кто фунтик сахара, кто горсть махорки, кто — немного тушенки, кто просто полбуханки хлеба, а некоторые и деньги,— деньги были, конечно, хуже готовых продуктов, но их он тоже принимал. И он быстро раздобрел: щеки округлились, вдруг появился нормальный живот из впадины, куда недавно проваливалась телогрейка. И он стал важен, говорил со всеми по-прежнему вежливо, но с какой-то новой значительностью. Он отчетливо понимал свою нынешнюю роль в нашей лаборатории — и не только в ней: уже из воздуходувки, с аккумуляторной подстанции, из заводоуправления прибегали работающие там вольнонаемные девчата.

Я, разумеется, не мешал его промыслу. Все мы, заключенные, что-нибудь мастерили, чтобы заработать немного к пайку. Я с лабораторным мастером Мишей Вексманом изготавливал электроплитки — и хорошей глины для ложа, и нихромовой проволоки для спирали у нас хватало. Два слесаря мастерили самодельные запоры и замки. Все это сбывалось бывшим заключенным, «оттрубившим» свой срок: выходили на волю без всякого имущества, в магазинах хозяйственного добра всегда была нехватка, селились в «балках» — самодельных домиках из дерева и жести. И на самое необходимое обзаведение тратили не меньше половины своей зарплаты и примерно столько же нового вольнонаемного пайка. Один из моих освобожденных рабочих-бытовиков обрисовал свой вольный быт с мрачной откровенностью: «Живу хуже, чем в зоне, потому что хочу жить по-человечески. За балок — плати деньгами, за чашку, ложку, лампочку — махрой и жратвой, а насчет матраца и подушки — радуйся, что достал за половину месячного пайка». Это, конечно, относилось только к тем, кого не забирали в армию и кто не сматывался на «ма-

терик». Но Норильск имел броню и не любил терять своих рабочих — это ценилось у молодых освобожденцев даже больше, чем повышенные полярная зарплата и паек. Так что косметическому предприятию Азациса я препятствий не чинил, с коммерческой стороны он вел себя нормально.

Зато в технологии его производства быстро вскрылись крупные недостатки. Поначалу его молодые клиентки только радовались — то ли уже только оттого, что густо перемазывались белыми смесями, то ли от счастья приобщения к настоящей городской культуре — все они поголовно похорошели. Но вскоре то одна, то другая стали обнаруживать прыщи на щеках и шее. Испуганные, они бросились к нашим заводским «лепкомам», а у тех первые слова были: «Какой дрянью мазались? Еще хорошо, дурехи, что до открытых ран не дошло». Азацис не сразу свернул производство, но потерпевших накапливалось так много, что пришлось объявить банкротство еще до того, как наполовину опустела банка со злополучной косметикой.

Ко мне явился нарядчик — поговорить наедине.

— Одна скотина, к тому же мужик, а не девка, накатал заявление оперкуму,— информировал он меня.— Испугался за красоту своей уродливой девахи, понял? Опер шьет дело о вредительстве твоему любимцу. Диверсия против внешности наших красючек для подрыва обороноспособности промышленного тыла — вот такие пироги. Что будем делать?

— Ты с Азацисом говорил?

— С ним поговоришь! Трясется как овечий студень. Молит спасти. За хорошую благодарность, натурально.

— Твое мнение?

— Надо перевести в другую зону, лучше в строительную — от нашего промопера подальше. Вредней его нет во всем лагере, сто раз проверено. Там как-нибудь устроим, знакомых у меня везде полно. Ты с Беловым поговори, он опера уже не раз укорачивал, дело все же плевое.

— К Белову я немедленно пойду. Может, все же оставим Азациса?

— Раз у кума на него вырос зуб, здесь ему больше не светит. Что-нибудь опер подберет потом, надо же ему показать бдительность. На днях укроем подальше твоего

химика. Беру спасение на себя. С тебя двести неразбавленного.

— Ты же у Азациса взял.

— И с тебя возьму. И в другой зоне он еще двум-трем нужным людям добавит. Как можно иначе?

На другой день Азацис уже не явился в лабораторию. От хищных лап оперуполномоченного Зеленского, недавно произведенного из старлея в капитаны и оттого совсем озверевшего по части истерической бдительности, Азацису удалось спастись. И по словам нарядчика, он неплохо «устроился в тепло» на новом месте обитания и о косметических достижениях уже не мечтает. Больше я его не видел.

3

Проблема хорошего дневального снова обострилась. И нарядчик, и друзья в заводских цехах, и соседи по бараку усердно выискивали кандидатов нужных мне высоких кондиций — средних лет, не совсем калеку, непременно мужчину, к тому же «пятьдесят восьмую»... А когда я уверовал, что чаяния не оправдываются, нарядчик явился с новым предложением:

— Насчет «пятьдесят восьмой» отпадает, все разобраны по специальностям. Зато остальные — первого сорта! Тридцать лет, здоровяк, трудяга, каких не бывало... Как раз для тебя.

— Статья? — напрямик спросил я.

Он не сразу решился выложить все начистоту.

— Что до статьи, то, конечно... Но парень честный, где живет, там не гадит. Понимает — где можно, а где нельзя.

— Статья? — повторил я непреклонно.

— Пятьдесят девятая,— признался он.— Попал по зверской запарке. Ведет себя теперь порчаком, с чесноками завязал, к сукам не притырился. Висит как это самое в проруби. Когда-то, на пересылке, были с ним корешами, надо человеку подсобить, слово дал, и тебе голову на отруб — не подведет!

Я задумался. В уголовном кодексе РСФСР были две особенные статьи с многочисленными пунктами: пятьдесят восьмая, политическая, трактовавшая преступления

против государства, начиная от измены родине, шпионажа, диверсий, вредительства, террора до рискованных острот и анекдотиков в узком кругу; и пятьдесят девятая, куда собрали бандитизм, грабежи, убийства, разбои и прочее того же рода. Почти все настоящие уголовники, особенно те, что числили себя в «законе», хоть сами всемерно уклонялись от грозной пятьдесят девятой статьи и охотно брали на себя преступления послабее, рано или поздно попадали в нее. В отличие от остальных статей кодекса она, как и наша, пятьдесят восьмая, содержала в себе вышку — ultima ratio, последний аргумент государства. Правда, как и нам, «политикам», пятьдесят-девятникам «шили» эту статью почти столь же часто без достаточных оснований, лишь бы ликвидировать опасного бандита, либо запереть его в лагерь практически на всю жизнь — от пятнадцати до двадцати пяти заключения, если пощастило и избежал вышки, таковы были наказания по этой статье.

Поэтому я уточнил:

— Срок?

Ответ нарядчика был малоутешителен:

— Двадцать лет. И начался в прошлом году — сидеть и сидеть ему... Вообще-то срок второй, по первому ему светила всего десятка. Но сдурел, попал в непонятное — навалили по новой вдвое.

— За что получил второй срок?

— Дурость, говорю тебе, ничего больше. Ушел в побег с двумя из шайки-лейки Икрама. У того все отпетые, сам знаешь. Перед уходом немного пошуровали в зоне, взломали замок в каптерке, набрали запасы на дорогу. Больше месяца канали по тундре. Те двое так и ушли, а он повернул обратно. Встретил вольняшек и сам сдался.

— И такого отъявленного бандита ты мне суешь в лабораторию?— спросил я с негодованием.— Разбой в зоне, групповой побег! Хороша зверская запарка! Ты лучше скажи — как он от вышака отделался?

Нарядчик опустил голову. Он и сам не очень надеялся, что я соглашусь на его упрашивания. И понимал, что насильно послать бандита в лабораторию никакие лагерные придурки и кореша не смогут — заключенных по пятьдесят девятой даже в цеховые рабочие не брали. Но, помолчав, он продолжал уговор. Они, видимо, были свя-

заны очень уж крепкими дружескими узами — он и его кореш.

— Все верно — статья, разбой, побег тоже... Человек хороший, вот основа. Два месяца провел с ним на пересылке и этапе, так сошлись! Не пощастило ему в жизни, всю дорогу волочит по кочкам. Он ведь какой — рубаху с себя не пожалеет. И доверчивый, уши распахивает на каждое слово. Ты любишь расспрашивать, как кто живет, вот у меня выведывал, почему еще пацаном в воры пошел. А ты у него поинтересуйся, такая была житуха, что ужас один. Он ведь неграмотный, знаешь?

— Иди ты! У нас давно нет неграмотных.

— Даже не расписывается. Ни одной буквы не осилил.

— Так занят был, что не захотел школу посещать.

Нарядчик сказал очень серьезно:

— Точно, не было времени. Всю жизнь тратил на одно — выжить. На что другое ни единой минутки не стало за все его тридцать лет. Потолкуй с ним. Такое узнаешь, что и поверить нельзя.— И заметив, что я вдруг заколебался, нарядчик поспешно добавил:— Возьми на испытание. На месяц, на две недели...

Я вслух размышлял:

— В лаборатории вольнонаемные девчата, у меня казенное имущество... Статья бандитская все же... Вдруг кинется насильничать, взломает шкаф с дорогими приборами...

Нарядчик даже рассмеялся, насколько невероятной показалась ему нарисованная мной картина.

— Я тебя когда обманывал? Говорю, как на духу: статья жуткая, а человек хороший. Не темню.

Я подвел итоги нашему спору:

— Беру на испытание. До первого самого незначительного нарушения. И никаких потом поблажек и скидок.

— Поблажек не надо, нарушений не будет,— снова заверил обрадованный нарядчик.

4

На другой день он сам привел в лабораторию нового дневального. Этот поступок развеял мои последние сомнения. Я втайне опасался, что нарядчик получил от

бандита очень уж большую «лапу» и потому старается. Но личное сопровождение выходило за межи выгодного предприятия, так ведут себя только с настоящими друзьями.

— Фомка Исайченко,— представил мне нарядчик своего друга.— В смысле, конечно, Трофим Пантелеевич, только это для анкеты, а так он человек как человек — Фомка. Для твоих девчат можно и Трофим.

Трофим Исайченко, и впрямь, был по виду человек как человек — чуть ниже меня, человека невысокого, но гораздо шире в плечах, с крепкими руками, лопатообразными ладонями — серьезные хироманты ужаснулись бы, кинув взгляд на такую ладонь. На ней, я потом из любопытства поинтересовался, была всего одна линия и призрачный намек на вторую. И у него было хорошее лицо, отнюдь не бандитское, и самое для меня главное — открытая улыбка, а я всегда держался мнения, что добрая улыбка — визитная карточка души. Глаза зато были неопределенные, от погоды, а не от природы — утром светлые до водянистости, днем желтоватые, а ввечеру промежуточные между серыми и коричневыми. Цвет глаз, правда, не входил в объявленную мною нарядчику опись обязательных для дневального качеств, — и поэтому я не возразил ни тогда, ни потом против удивительного непостоянства их цвета.

— Будешь орудовать этой метлой, правда, поношенная,— показал я на главное орудие его ремесла, возвышавшееся в бывшем азацисовском углу.

— Сегодня же сделаю новую,— пообещал он.— Знаю местечко, где заначен привезенный с материка запас ивы. Выберу самые тонкие веточки. Разрешите отлучиться на часок?

— Не больше, чем на часок,— строго предупредил я.

И часа не прошло, как в лаборатории появился великолепный веник, много послуживший нам и после того, как Трофима в лаборатории уже не было. Старую метлу он тоже не выбросил — она осталась для грубого наружного подметания.

В тот же день обнаружилось за Трофимом еще одно свойство, совершенно немыслимое у Азациса. Три девушки понесли в цех отремонтированный самописец — расходомер воздуха. Прибор был тяжелый, на пару десятков килограммов, а до цеха метров двести. Девочки только

приноравливались ухватить его понадежней, чтобы не повредить по дороге, как Трофим растолкал их, принял самописец на грудь и скомандовал:

— Одна впереди, показывай дорогу. Да шагай осторожно, в цеху на полу всякого навалено.

Вскоре ни одна девушка не бралась за тяжелые аппараты, а только кричала в угол:

— Трофим, бери сразу три термопары с гальванометром и неси за мной.

И не было случая, чтобы Трофим отказался.

Вначале я думал, что в новом дневальном говорит угодничанье, стремление к каждому подделаться, быть нужным всем — очень ценное качество для человека, попавшего «незаконно» на легкую работешку и опасавшегося, что любая лагерная проверка может выбросить его вон. Но вскоре я убедился, что он любит саму работу. Он наслаждался любым трудом, ему нравилось напрягать свои мускулы. Он просто изнемогал, если не мог чего-то переносить, передвигать, чистить, чинить, прилаживать. И, наверное, обижался бы и страдал, если бы кто надрывался на непосильной работе, а ему не позволили оттолкнуть того неумеху и радостно взвалить на плечи ношу, которую тот и сдвинуть с места не мог. Я понимал его. Я сам был таким — страдал, если не мог потрудиться — особенно во внеслужебные часы. Правда, между нами было важное различие: он трудился одними руками, а я, до боли утомляя свои руки писанием и многократной переделкой стихов, все же присовокуплял к ручному труду и мыслительный — рифмы рождались в голове, а не только на кончиках пальцев.

Все же его искреннее трудолюбие казалось удивительным в лагере, где увиливание от труда числилось доблестью, а не грехом. Кантовка, замастыривание, туфта, показуха, чернуха — сколько многообразных названий придумано для главного лагерного занятия — где бы ни работать, лишь бы поменьше работать. Работа должна прежде всего иметь вид работы — такова бодрая заповедь для каждого настоящего лагерного трудяги.

Не прошло и двух недель пребывания Трофима в лаборатории, как он продемонстрировал еще одну удивительность своей натуры.

Именно продемонстрировал. Однажды он явился в лабораторию с утреннего развода свирепо избитый. Один

глаз заплыл, под другим переливался цветами радуги огромный синяк, нос и губы распухли, уши, багровые и вздувшиеся, свисали до подбородка. Вероятно, и на всем теле были следы такого же рода, но и одного взгляда на лицо было достаточно, чтобы понять, что его мордовали долго, усердно, и не только кулаками.

— Напился и подрался, Трофим,— констатировал я сурово.

Он опустил голову.

— Не... Не пил... И не дерусь, вы это напрасно. Просто побили.

— Вот так — просто побили. А за что, скажи на милость, просто бьют? Без всякой вины, я так понял?

Он по-прежнему старался не глядеть на меня.

— Почему без вины? Без вины не бывает. Играли в колотье, ну в стыри, понял? В карты, по-вашему. Плохо передернул...

— А зачем играешь в карты, если не умеешь?

Он вдруг обиделся.

— Не умею! Еще мальцом играл, на любой заклад соглашался. Не то, что старье, дай новую колоду, через час любую карту назову, только раньше погляжу на них.

— Знаю. Будешь накалывать сзади иголкой и ощупью определять, сколько наколок.

Он все больше обижался.

Зачем накалывать? В колотый бой мы не играем. Тем более у нас старье, все стыри — рвань. Глазами надо работать, это главное.

— И берешься любую новую карту узнать, только поглядев на ее рубашку?

Он ощутил мою заинтересованность и оживился.

— Само собой, каждую надо посмотреть, подержать в руках. Без этого как же? И если за выгоду...

Мне нестерпимо захотелось наказать его за хвастовство — очень уж оно не вязалось с изуродованной физиономией. В шкафу у меня хранилось небольшое сокровище, добытое еще перед войной, — колода нераспакованных атласных карт, пятьдесят две штуки плюс два джокера для игры в покер. Я достал пакетик и положил на стол.

— Сколько тебе нужно времени для предварительного изучения?

— Часа хватит.

— Действуй. Угадаешь из двадцати карт половину, поставлю пятьдесят граммов неразбавленного.— Я швырнул карты на стол.— Засекаю время. Час пошел.

Для осторожности я не вышел из комнаты, чтобы не дать ему «махлевать», и попросил лаборантов некоторое время меня не беспокоить. Трофим деловито изучал карты — брал каждую в руки, бросал взгляд на картинку и внимательно разглядывал рубашку, поворачивая карту под разными углами. Для меня рубашки всех карт были одинаковы — повторяющаяся на каждой невыразительная сетка еще не испытала на себе прикосновения грязных и сальных пальцев и поворот под углом к свету ни на одной не показывал отличия от другой. Но Трофим, видимо, что-то находил — вдруг клал несколько карт рядышком и молча сравнивал их рубашки, потом, покончив с изучением одной карты, рассматривал десяток других, снова возвращался к оставленной — и долго что-то высматривал на точно такой же сетке линий, какие были на всех других рубашках. Несколько раз он озадаченно покачивал головой, словно открывалось что-то совсем уж чрезвычайное, и откладывал заинтересовавшую карту в сторону, чтобы минут через пять снова воротнться к ней. Прошел заданный час, а он и не думал отрываться от рассыпанной на столе колоды. Мне надоело следить за ним, я стал читать какую-то книгу, лишь изредка поглядывая, только ли он изучает рисунок на рубашках или старается оставить на нем свои следы.

— Готово, спрашивайте,— сказал он наконец.

Я сложил колоду, тщательно перетасовал ее, затем аккуратно разложил на столе параллелограмм из двадцати карт рубашками вверх. И постарался, чтобы Трофим, стоявший поодаль от стола, не смог увидеть даже краешка их лицевой стороны.

— Вот эта,— сказал я, ткнув пальцем в одну из карт.

Он подошел, вгляделся в рубашку и уверенно объявил:

— Туз червей.

Это, точно, был туз червей. Я ткнул в другую карту, лежащую посередине:

— А вот эта?

— Десятка бубей,— сказал он после такого же осмотра, и снова угадал.

Мы перебрали с ним все двадцать заготовленных карт — и он лишь раз ошибся — назвал какого-то валета шестеркой. Пораженный, я восхищенно покачивал головой. Довольный своей удачей, Трофим заулыбался избитым лицом.

— Да ты великий мастер!— воскликнул я.— Вполне можешь стать гением карточной игры. Специалисты шулерского дела побоятся сесть с тобой, ты же все их карты заранее определишь!

— Кое-что могу,— согласился он скромно.— С мальцов воложусь со стырями... Играю, короче.

— Как же случилось, что ты так оплошал в игре? Новые карты угадываешь с первого взгляда, а на старье, где и я разгляжу, по разной потертости и трухлявости, что за карта, так погорел! Или глаза отказали? Где-нибудь в темноте сражались? В лагере ведь за карточную игру наказывают — и вы прячетесь, так?

— Дак видишь ли, Сергей Александрович, не одно дело — глаза. Ребята тоже видят не хуже моего, а которые и получше. К глазам и руки нужны. Что на что поменять — видел. А руки ловко не сработали. Ну, и били меня все трое. Особенно Лешка Гад старался, этот всегда готов калечить. Думал, не отойду, нет, под утро даже заснул.

— Значит, так, Трофим. Пятьдесят граммов твои. Еще немного своих добавлю. Вечером, когда дневные уйдут и останется только смена, мы с тобой посидим. Хочу поговорить о жизни.

5

— Говори,— предложил Трофим, когда спирт был выпит и съели закуску — хлеб с сухим луком. Мы с ним сидели в моей комнатушке, за дверью, в пирометрической, две девушки переносили в журнал записанные на листике показания спиртовых тягомеров на обжиговых печах — обход и снятие показаний приборов совершались раз в час, на это тратилось минут десять, остальное время дежурные проводили в лаборатории — кто вязал, кто читал, а чаще всего тихо болтали. Они мне не мешали, и я к ним не выходил.

— Первый вопрос, Трофим — почему получил новый срок? Да еще такой большой — двадцать лет, а до побега

было десять. Пойманным возвращают старый срок с его начала, он теряет только то, что уже отсидел.

— Пашка-нарядчик тебе же говорил — пошуровали в каптерке. По новой — разбой пришили. Штука серьезная.

— Не спорю — серьезная. Да ведь Паша говорил еще, что ты бежал из побега обратно и сам сдался вохровцам. За добровольную сдачу — скидка, а не добавка срока.

— Смотря почему бежал обратно. У нас ведь побег был особенный.

— В чем особенность?

— Бежали мы трое. Васька Карзубый, Сенька Хитрован и я.

— Групповой побег. Отягчает дело, что трое, а не один. Но большой особенности пока не вижу.

— Да ведь бежали не просто, а с коровой.

Я уже что-то слыхал о таких побегах, но как-то не сработало нечеткое знание, и я глупо спросил:

— А где достали корову? Из нашего совхоза увели?

Трофим даже засмеялся, настолько диким показалось ему мое непонимание.

— В совхоз не пробирались. Одного из троих положили в коровы. Чтоб съесть, когда голодуха одолеет невтерпеж. В тундре, сам знаешь, продовольственных складов не оборудовано.

Я долго смотрел на Трофима. Он выглядел совершенно спокойным.

— Кого же определили в корову?

— Задумка на уход была Васькина. Сговорились с ним, что в корову возьмем Сеньку Хитрована.

Я помолчал, переваривая сообщение.

— Сговорились заранее съесть человека... И ты мог бы съесть своего товарища?

Он выразительно пожал плечами.

— Так ведь не сразу, а когда голодуха прижмет. Или всем подыхать, или ему одному, а двоим спастись. Простой расклад — один выручает двоих.

— Очень простой, правда. Голодуха в жизни бывает у каждого... А ты все-таки когда-нибудь ел людей?

Он ответил не сразу:

— Чтобы сам убивал на еду — нет. А по-всему — ел. Да и не я один. Было такое — всякую дрянь ели. И кошек, и крыс... Человечиной даже торговали на базарах.

— Расскажи о себе подробней.

Дальше я поведу рассказ своими словами. Так мне удобней, Трофим отвлекался в стороны, путался в своей блатной «фене». Он начал с голода 1921-22 годов — страшного соединения засухи с последствиями свирепой гражданской войны. Я тоже пережил на юге ту ужасную зиму и еще более жестокую весну. И хоть отчим и мать получали скудные продуктовые пайки и мы кое-как перебедовали до нового урожая, в моих детских глазах навеки застыли картины падающих и умирающих на улице прохожих, а детские уши сохранили разговоры взрослых о том, что по соседству, то там, то здесь, обнаруживали людоедство — пожирали недавно умерших, убивали на пищу вконец обессиленных. И второй, не менее страшный, искусственно порожденный преступной правительственной политикой голод 1932 — 33 годов я видел на Украине уже взрослыми глазами. Миллионы людей тогда погибли, я был бессильным очевидцем картин, которые нельзя принять, нельзя забыть, нельзя простить: в моем родном городе десятки иностранных судов загружали пшеницей на экспорт, а рядом с городом, на железнодорожных станциях, я сам видел это, грудные детишки ползали по телу умершей от голода матери и тихо скулили перед тем, как самим умереть на ней. И еще я видел летом того же 1933 года, как сельские чекисты гнали на работу отощавших «принудчиков» и те падали на землю и без помощи не могли подняться, а некоторым и помощь не помогала.

И в те же страшные годы, жадный книголюб, я прочел у поэта Фридриха Шиллера в его историческом трактате «Тридцатилетняя война», как погибала от голода обширная, по тем временам культурнейшая Германия, вконец разоренная противоборством католиков и лютеран. А у историка Александра Трачевского, в его «Новой истории» с ужасом узнал, что съедание трупов было в те годы нормальной жизненной операцией в опустевших и озверевших немецких деревнях. Скорбные слова старого петербургского профессора:"не только питались трупами, но матери жарили и ели собственных детей"— в тяжкой своей нетленности навечно сохранились в моей памяти. И Трачевский добавлял, что за годы великой религиозной войны, которую обе стороны вели во имя провозглашенных ими высоких идеалов,

население в Германии сократилось с 17 до 4-х миллионов, а сельское хозяйство лишь через двести лет, в 1818 году, достигло того уровня, на котором стояло в 1618. И в дни разговора с Трофимом совсем уже немного времени оставалось до освобождения Ленинграда — и тогда устрашенный мир узнал, что и там, и ныне, в двадцатом веке, совершалась во время блокады и охота на людей, и человекоедение.

Всю жизнь я мыслил не так красиво выстроенными логическими силлогизмами, как яркими стихами. И я хорошо помнил гениальное стихотворение Максимилиана Волошина о голоде двадцатых годов в Крыму и часто твердил про себя его неистовые, мучительные строки:

Хлеб от земли, а голод от людей:
Засеяли расстрелянными — всходы
Могильными крестами проросли:
Земля иных побегов не взрастила.
. . . .
Землю тошнило трупами — лежали
На улицах, смердели у мертвецких.
В разверстых ямах гнили на кладбищах,
В оврагах и по свалкам костяки
С обрезанною мякотью валялись.
Глодали псы отгрызенные руки
И головы. На рынке торговали
Дешевым студнем, тошной колбасой,
Баранина была в продаже триста,
А человечина по сорока.
Душа была давно дешевле мяса,
И матери, зарезавши детей,
Засаливали впрок: «Сама родила —
Сама и съем. Еще других рожу..."

Не знаю, читал ли Волошин Трачевского, но нарисованная ими картина совпадает даже в своих чудовищных деталях: матери поедали собственных детей. Давно печалились: голод не тетка. Но голод, когда становится массовым, не раз приводил к утрате того главного, что отличает человека от животных: потере им своей человечности.

Так что признания Трофима не были для меня столь уж невероятными. Я и не собирался морализировать по поводу его нравственного падения. Но было все же важ-

ное отличие между каннибализмом обезумевших от голода людей и холодным расчетом сытых здоровых парней, заранее деловито наметивших сожрать своего товарища, когда исчерпаются запасы захваченной пищи. Здесь было нечто, недоступное моему пониманию. И я потребовал:

— Рассказывай с самого начала, Трофим.

Начало, оказывается, было в побеге нескольких десятков заключенных из котлована, вырытого на окраине нашего никелевого завода. Бригада землекопов из бывших военных напала вдруг на «попок» — четырех стражей на вышках, обезоружила их и с захваченными автоматами ушла в тундру. Цель побега, по рассказам, была простая — прорваться к Енисею, по дороге разжиться продовольствием и новым оружием в поселках, захватить какое-нибудь суденышко и уплыть на нем за рубеж. И хоть добытым оружием бывшие солдаты и офицеры, посаженные в лагерь, владели несравненно лучше, чем так за всю войну и не понюхавшие пороха вохровцы, беглецов после нескольких настоящих сражений всех переловили — кого сразу убили, кому навесили новые сроки, кого после возвращения расстреляли по приговору суда. Побег заключенных военных наделал много смятения в Норильске. И первоначальные шансы побега, и его трагический исход горячо обсуждались во всех бараках, особенно среди уголовников, всегда мечтающих о «заявлении зеленому прокурору» — как они между собой называют побеги.

— Фофаны эти офицеры!— доказывал Трофиму его сосед по нарам Васька Карзубый, вор из «авторитетных», одно время примыкавший к стае Икрама, потом рассорившийся со своим паханом.— Диспозицию по-военному выработали — накоротке переть отрядом на воду. А до воды — одни голые льды. Первый же самолет всех застукал, а куда на равнине деться? На автоматы понадеялись, дурье! И вышло — их четыре автомата против сорока у вохряков. Нет, не на бой им было дуть всей командой, а прятаться от боя. Уходить только через тайгу, и только на юг. Не так, Фомка?

Трофим согласился с товарищем, что через тайгу бежать безопасней и на юг, в населенный мир, разумней, чем на Енисей, открытый обзору с воздуха. О реальном побеге он тогда и

не задумывался — просто, по характеру, соглашался всегда с тем, кто был умней и решительней.

Так и шли поначалу разговоры о побеге. А потом играли в карты, Трофим попал в крутую «замазку» — Васька Карзубый перешулерничал товарища. Захотелось, «отмазать» проигрыш, Васька потребовал играть на побег — либо квиты, если выиграешь, либо уходим вдвоем, если проиграешь во второй раз. Трофим сгоряча рискнул — и проиграл.

Вот тогда и началась подготовка побега. Васька уже давно разрабатывал план ухода — выспрашивал у знающих людей о реках, озерах, горных барьерах и городах на пространстве между Норильском и Красноярском. Даже школьную карту края достал для уверенности. Расстояние было немалое — полторы тысячи километров по прямой до железной дороги, больше двух тысяч по таежному бездорожью. Именно такой маршрут — через тайгу, реки и горы, далеко обходя все крупные поселения, лепившиеся к Енисею, — и выбрал Васька, как единственно надежный. Трофим поначалу ужаснулся. Никто в лагере, свято хранившем предания об удачных «уходах», еще не слыхал, чтобы беглецы удалялись в глухую тайгу, вместо того, чтобы пробираться к единственной надежной магистрали на волю — всегда оживленному, полному судов и поселков Енисею.

— Топать ногами — это три месяца до железки,— спорил Трофим.— Загнемся, не дойдя до Ангары.

— Правильно, надо прихлять до Ангары, там полегчает,— соглашался Васька.— Без запасов жратвы не доберемся. Подзапасемся из лагерных паек, пошуруем перед уходом в каптерке — нагрузимся, сколько выдюжим нести. Я так прикинул — до Нижней Тунгуски полняком хватит, а пощастит, так и до Подкаменной добредем, пока не выпотрошим сидора.

— До одной Нижней Тунгуски — месяц топать. А как дойдем до Подкаменной, до Ангары, а от Ангары до железки? В сидорах тю-тю! А ведь еще два месяца ходу.

Тогда Васька Карзубый высказал свой основной козырь удачи.

— Без нового запаса жратвы от Подкаменной до Ангары не дотопаем, верно. Надо прихватить кусок мяса на своих ногах, чтоб самим не таскать на спине. И пусть мясо топает с нами до крайнего края, понял?

— С коровой идти?— снова ужаснулся Трофим. В отличие от меня он хорошо знал, что в побеге именуется коровой.

— С коровой,— хладнокровно подтвердил Васька.— Подберем солидного фофана, чтобы в тягость не стал, пока с полными сидорами канаем по тайге. А потом, уже на Подкаменной, заделаем, засолим и располовиним — чтобы каждому хватило уже до Ангары и дальше.

— И выбрал кого в корову?— поинтересовался Трофим.

— Мозгую помаленьку,— уклонился от прямого ответа Васька.— Двух-трех наметил, да ведь надо уговорить, чтобы пошел на свободу по своей охотке, а не дожидался звонка. И поверил, что с ним не разделаемся потом.

Картина побега стала вырисовываться с определенностью. Разговоры шли в середине зимы, но «Заявление зеленому прокурору» Васька решил подавать в марте, когда солнце уже понемногу греет, а в воздухе — морозно и реки и озера еще прочно скованы: по льду любую реку перейдем легко, а по шалой весенней воде и ручеек не осилить. В конце апреля — добраться бы до Подкаменной Тунгуски, там наполним опустевшие сидора мясом, что сопровождает их на своих ногах, и айда напролом до Ангары, пока ее не расковал май. А после Ангары уже как придется. Ну да там весна прибыльная, и рыбой, и зверьем богатая, да втихаря кое-чего и у местных можно прихватить. А доберемся до железки — все, полная воля, от края на восток, до края на запад — свобода!

Такая перспектива мутила Трофима — стало невтерпеж в зоне, когда вдруг замаячила свобода — до звонка оставалось еще целых семь лет, срок вдруг показался непролазным. А когда Васька определил в коровы Сеньку Хитрована, Трофим сам заторопил уход. Сеньке, высокому жилистому парню, раза три или четыре судимому за дела по пятьдесят девятой, в сроке за последнее «мокрое» предприятие — очистили втроем, завалив сторожа, районное сельпо, двоих убийц расстреляли, ему по молодости выдали пятнадцать лет — звонок на окончание срока в этой жизни практически уже не «светил». Он чуть не с радостью вызвался в спутники к Ваське и Трофиму и активней всех принялся готовить еду на дорогу. Из лагерного пайка и барахольных обменов в бараке наготовили только сахар и сухари, удалось раздобыть и несколько

банок тушенки. Все нажитое брал на хранение Сенька, у него в аккумуляторной подстанции — он «пахал» электромонтером — была в подполе глухая заначка, туда сваливали раздобытое.

В день ухода все трое вышли в ночную смену, но на рабочие места и не подумали являться. В полночь выпилили лаз в продовольственной каптерке, добавили в мешки съестного и тихонько выбрались в заранее назначенном месте из зоны. На вышке, правда, торчал «попка», но он обычно дремал — не изменил своему обыкновению и в эту ночь. К утреннему разводу все трое ушли от Норильска на восток до нетронутой тайги. По прикидке, их отсутствия раньше вечера не обнаружат, а на ночь глядя погоню не пустят. Вторым же утром погоня, естественно, помчится на запад, к Енисею, так все бегали до них,— даже мысль об уходе на восток, в нетронутую глухомань, не могла придти лагерному начальству, хорошо понимавшему, что такое предприятие в принципе сумасбродно.

Два выигранных дня давали хорошую фору беглецам перед погоней. Но впереди подстерегала самая грозная опасность — три больших озера: Лама, Кета и Хантайское. Ламу еще можно было обойти, хотя и в опасной близости от Норильска, но выходить на открытые просторы двух других озер было рискованно — если пустят и самолеты в погоню, летчики быстро обнаружат на пустом льду человеческие фигурки. Такую же опасность сулили и широкие реки, преодолевать их ледяной покров Васька Карзубый решил только в сумерки или перед рассветом. Но судьба сыграла за беглецов — и с озерами справились, и реки не подвели. Беглецы вышли вскорости за Курейку и зашагали к первой значительной границе безопасности — крупнейшему на севере восточному притоку Енисея, таежной Нижней Тунгуске.

Но к этому времени ноша с провизией основательно съежилась. Дорога, вспоминал Трофим, была отличной, все те первые недели морозец днем не опускался ниже пятнадцати-двадцати градусов, ветер свирепел — ни одной не сотворилось пурги,— а наст под ногами был тверд, как подлинный лед, и для ходьбы был даже лучше льда — нога не проваливалась в поднастовый снег и не скользила на голых местах, как на открытом льду. И хоть еще до полярного дня было около двух месяцев,

солнце трудилось на небе уже с полсуток — хорошо открывало окрестности и в полдень подогревало тело — снег, конечно, и не думал таять, но над сугробами уже вздымался парок, первый предвестник полярной весны. В Заполярье (это я уже сам потом разъяснил Трофиму) чуть больше трети снега уходит на таяние, остальное еще до таяния испаряется на открытом солнце. В общем, все в природе благоприятствовало, рассказывал Трофим, — и лучшего времени для побега нельзя было выбрать, и весна, как по молитве, показала себя другом, а не врагом.

Но все же все предварительные расчеты «ухода», так убедительно сработанные Васькой и ими двумя одобренные без споров, оказались нереальными для двухтысячекилометрового перехода от Норильска к «железке», несмотря на благоприятствующие внешние обстоятельства.

— На льду и в тайге жралось вдвое против зоны,— с сокрушением вспоминал Трофим.— Васька экономил, я тоже воли себе не давал — брюхо брало свое. На втором месяце дотыркали, что до Нижней Тунгуски еще доберемся на лагерных харчах, а дальше — ни-ни! А прошли пока меньше половины. Впереди — Подкаменная, за ней Ангара, жуть, сколько переть!

— Тогда и решили воспользоваться коровой, идущей рядом на своих двух ногах, да еще с поклажей на спине?— уточнил я.

Трофим покачал головой.

— Не. По-другому вышло, ничего не решили. Просто я дал деру от тех двоих.

Однажды после полудня Трофим высмотрел на горной речке, через которую они перебирались по ослабевшему льду, какую-то естественную лунку, где можно было поживиться рыбой. Хариус, оголодав за зиму, весной стремится в верхние слои на свой промысел. Трофим, умелый рыболов, не только брал рыбу на крючок, но и приманивал наживкой, водя ее над водой, — хариус вылетал в воздух, норовя схватить добычу.

Удочек с собой не взяли, но веревка с куском сухаря вполне годилась для приманки ошалевшего после зимнего сна главного обитателя горных речек. Трофим попросился на первую рыбалку, Васька обещал подождать, пока он промышляет. Они вдвоем с Сенькой разлеглись на

южном скате холмика, там местами уже очистился от снега дерн.

Трофим быстро понял, что ни удить, ни выманивать наружу хариуса еще не время — вода была мертва, рыба в ней еще не проснулась. Он воротился, а когда подходил с обратной стороны к холмику, услышал свое имя, громко выкрикнутое Сенькой.

Дальше расскажу словами самого Трофима.

— Сенька, он на всю зону псих, каждый знает. То день молчит, то с ничего разорется. Не духарик, нет, на рожон не прет, но брать на оттяжку, хватать на хапок — его всегдашнее дело. И тут слышу ор: «Пора заделать Фомку!»— и снова тихо. Ну, я притулился у кусточка, оба уха вострю. Васька тихонько спорит, Сенька тоже тихонько, только через десяток словечек по-новой ор в пару слов. В общем, дотыркал — сговариваются меня кончать. Сенька доказывает: «Кто тебя на уход уломал? Я! Кто корову в дорогу надумал? Обратно я! Кто этого шустрика Фомку в корову определил? Или не я? Как ты еще тогда шатался — и уходить страшно, и Фомку жалко! Столько потов на тебя израсходовал, пока согласился. Нечтяк, вышло по-моему. Пошел ты тогда по-хорошему с Фомкой темнить, два раза в стыри обвантажил лопуха, он и сдался. Слово ты давал слушаться меня? Давал, а сейчас чего? Говорю, мочи нет больше! Не подкрепимся, копыта отвалятся!» А Васька ему в ответ: «Надо, конечно, разве я спорю? Да пока силенка есть, лучше подождать. Больше запасов у нас с тобой нету, кроме Фомки, надо до крайности его поберечь». И постановили: еще три дня протопаем, а там, перейдя Подкаменную, пока не вскрылась, на том берегу и заделать меня. И Сенька слово дал, что честно дотерпит до Подкаменной. Он, между прочим, на слово тверд, это в зоне знают. Так что три дня у меня были, только я не стал тех дней дожидаться.

— Ты сказал своим товарищам, что слышал их разговор?

— Еще чего? Они бы сразу схватились за «пики» — и тут же хана мне. И вида не показал, отошел назад, переждал часок и нарисовался: « Так и так, ребята, не идет еще хариус». Натурально, обматерили меня и пошли обратно.

— Обратно?— Я не всегда быстро соображал, а по «фене» особенно.— Почему назад?

— Не назад, а вперед. По-новой пошли, короче — опять. И в ту же ночь я подорвал от них, целые сутки, еще до восхода и потом до захода солнца, без остановки канал. Конечно, прихватил, что было в их сидорах, ни крошки им не оставил, пусть лапу сосут, раз такие.

— Не боялся, что они ринутся в погоню?

— Нечтяк! Куда им? Я же канал на запад, на Енисей, к людям — сдаться, потому что другого хода не стало. А им зачем снова в зону? Наверное, потопали дальше на юг, через Подкаменную, она уже была неподалеку.

— Значит, благополучно встретился с людьми, раз снова очутился в зоне?

— Благополучно, скажешь тоже! Вот уж когда и не думал, что еще поживу на свете.

— Провизия у тебя кое-какая все же была — все у дружков забрал.

— Да не голодал я! Хуже было. Уже на третий день повстречался с двумя охотниками на лыжах — один постарше, другой пацан, сынишка старшого. Тащат сани, полные зверья — шкур, натурально, а не туши. И сами по шею нагруженные оружием и добычей. Я к ним с душой: «Ребята, примите к себе. Я беглый, сдайте меня в лагерь. Вам за меня пятьсот рублей премии дадут». Это такса была такая — кто приволок беглого, вохровец или чистый вольняшка, тому денежная награда.

— Они и согласились на премию?

— Переглянулись, молчат. Потом сели обедать, меня угостили жареной олениной. Вкуснятина, сроду такой не едал. У костра старшой говорит: «А зачем нам тебя двести километров переть с собой? Мы и без хлопотни получим за тебя законную премию». Я помертвел, чую — полная хана! Уже не раз бывало — вохра или вольняшки догоняют беглого, убивают, чтобы не возиться с ним в дороге, отрезают палец и предъявляют в зоне: мол, застрелили при попытке к бегству, проверяйте линии". И если линии на пальце сходятся с личной карточкой беглого,— норма. Им и благодарность, и премия, а тот догнивает, где убит, либо растаскивают на куски зверье и птицы.

Как же ты выкрутился из такой сложной ситуации?

— Пришлось крепенько пошуровать в мозгах. Говорю старшому: «Правильно раскинули — кончать меня проще. Да вам невыгодно. Вот вы — из последней силы пре-

те поклажу. А вы впрягите меня в санки, навалите на меня свои сидора́. Я вместо вас тащу, вы налегке с ружьями. Куда я денусь — шаг в сторонку, вы мне пулю в спину!» Старшой посмотрел на второго: «Соображает бегляк! Используем, что ли?» И нагрузили меня так, что еле переставляю копыта. Но шел, смертушка моя вела меня за руки. Неделю так топали по тундре и лескам. Зато кормили охотники от пуза — пока сам не отвалюсь. Даже сдружились в дороге. Старшой пригласил в гости, когда освобожусь, адресок дал, он и сейчас у меня в заначке. А в милицию сдал честно, премии не захотел упускать. Меня в поселке сразу в карцер, потом в навигацию сюда — шел этап на север, к нему приткнули. Я старшому, между прочим, письмишко наворотил уже из зоны, не знаю, ответит ли, пока молчит. Думаю, ответит, очень душевный был человек.

— Не знаешь, что сталось с твоими товарищами — Васькой Карзубым и Сенькой Хитрованом?

— Слухов не доходило. Верней верного — погибли оба от голодухи. Или один заделал другого, засолил и попер дальше. Их оперы в зоне давно списали, уже не ищут.

Я долил еще немного Трофиму за рассказ о странствиях в тундре и тайге и себе столько же, за то, что спокойно выслушал и отпустил его на ночной развод в лагерь. Сам я имел бесконвойный пропуск и мог оставаться на заводе сколько хотел.

Трофим недолго прожил в лаборатории. В управлении заводов обокрали какой-то кабинет. Трудяги из НКВД, естественно, воров не нашли, но основательно почистили список заключенных, причисленных к производству. И обнаружив, что в лаборатории пристроился «пятидесятидевятник», немедленно отправили его куда-то на тяжелые работы. Больше — до самого моего ухода из нее — в лаборатории уже не было хорошего дневального.

ПОД ВЕЧНЫМИ ЗВЕЗДАМИ

Их было семеро — семь отказчиков, семь доходяг, еле передвигавшихся по земле, тот народ, о котором шутят презрительно и жалостно: «фитили — дунешь, погаснут!» Еще их почему-то называют «дикой Индией», насмехаясь над любым их сборищем: «там вечно пляшут и поют». Все семеро дремали вокруг крохотного костра, разложенного у железнодорожной выемки. В стороне теплился другой костер, побольше, для стрелка. Сам стрелок, запахнув шубу и обхватив руками винтовку, сонно мотал головой от дыма, евшего глаза. На «фитилей» своих он и не смотрел. Каждый еще с лета сидел в карцере штрафного лаготделения за отказ от работы. И хоть для формы их ежедневно выгоняли на очистку полотна от снега, лопаты они держали в руках лишь во время ходьбы, а на месте втыкали их в сугробы. Принуждать их к труду было бесполезно, следить за ними — бесцельно: зима не время для побегов.

Декабрьское утро тащилось над белой и во тьме землей, в ложбинках шипел переметаемый злой поземкой снег, мороз каменел почти полусотней градусов. Подслеповатые звезды хмуро мигали на окостеневшую землю, на западе приплясывало неяркое сияние. «Фитили» кутались в рвань телогреек, совали руки в костер. Сияющий дым штопором вворачивался в небо, от него падал неверный свет — фигуры сидящих колебались, расплывчатые, как тени.

Один — высокий, страшно худой, с носом, похожим на клюв, — встрепенулся и поднял голову. На все стороны простиралась полярная пустыня — безмерный снег, один снег, без деревца, без огонька, без птицы, без зверя. Отказчик долго глядел в небо. Звезды при каждом мигании словно обрывались с низкой высоты и,

не упав, цеплялись за темный купол и снова, вспыхнув, рушились. Небо наваливалось и грозило сотнями враждебных глаз, кричало безмолвными вспышками, пронзало иглами сияния. Отказчик закашлялся и отвел глаза, звезда ударила его лучом, как кинжалом. На земле было не лучше, она притаилась, как зверь перед прыжком, угрюмо следила каждым бугорком, готовясь наброситься на плечи.

— Доходим!— пробормотал отказчик.

Другой отозвался, не открывая лица:

— Доплываем, Митька! Скоро всем хана.

Третий, тяжело шевельнувшись, прохрипел на второго:

— Не канючь, Лысый!

Остальные молчали, окуриваемые холодным дымом костра, сложенного из мха.

В одиннадцать по выемке простучал поезд из четырех вагонов. Красноватый свет сумрачно озарил семерых отказчиков и стрелка. Стрелок, обнимая покрытую инеем винтовку, тихонько посапывал. Отказчики заворочались,— мороз, оледенив кожу, добирался до тела.

— Митька, сволочь, чего кимаешь!— застонал один.— Огня, сука!

Он толкнул дремавшего рядом носатого отказчика. Тот, пошатываясь, побрел за мхом. Он ползал по снегу, пробивая рукавицей одеревеневший наст, с усилием выдирал из-под него ягель. За бугорком он споткнулся о столетнюю березу, карликовое существо — змеившийся по земле ствол, судорожно, как руки, выброшенные в стороны ветви. Березка отчаянно дралась за жизнь — царапалась и выгибалась, цеплялась за грунт узловатыми корнями, опутавшими камни и лед, и — уже вырванная — шевелилась и вздрагивала. Митька швырнул ее в снег, бешено ткнул ногой.

— Падла!— хрипел он, тяжело дыша.— Завалю, как пса! Будешь знать, проститутка!

Он приволок березку к костру и бросил, как мертвое тело, в ноги товарищам. На юге, над гребнем невысоких гор, засветилось багровое зарево, от него потянулись дымные языки, слизывавшие звезды, как льдинки. Ночь вяло превращалась в полдень, серый, как вечер,— люди из теней стали телами.

— Порядок!— объявил Лысый, с трудом поднимаясь на ноги.— Ребята, живем! А ну, навались!

Один за другим поднимался и открывал лицо — семеро отказчиков, семеро «своих в доску», когда-то известные и авторитетные, духарики и паханы, ныне собрание «огней» или «фитилей», «дикая Индия, где вечно пляшут и поют». Каждый был особ не похожим на других уродством. У Васьки — сворочена скула и рассечен лоб, у Пашки Гада не хватало верхних зубов, Монька Прокурор сверлил одним глазом, Лысый светил голой бабой, вытатуированной на щеке. Только самый страшный из них, Лешка Гвоздь, не носил на себе внешних воровских примет, да еще седьмой, совсем молоденький, с женским именем Варвара, был человек как человек.

Варвара, потопав ногами, с тоской оглянул враждебный мир.

— Господи, жить же!— сказал он.— Родился на свет!

Монька Прокурор прикрикнул на него:

— Тоже следователь нашелся — чего родился, от кого родился, по собственному желанию или по вражескому заданию! Живем, слышал!

Страшноносый Митька расшевелил мох, бросил в жар ветки, сверху навалил ствол с синими, как жилы, корнями. В дыму прорезался огонек, от костра потянуло теплом. Один за другим отказчики уходили в тундру раздобыть мха. Очнувшийся стрелок поглядел на них и вновь апатично свесил голову. Пашка Гад натрамбовал в чайник снегу почище и поставил чайник на ветки костра. Чайник был покрыт густым слоем окаменевшей в глубине, липкой снаружи копоти,— он уже не раз торчал так в недрах костра, охваченный скудным жаром.

— Чифиря бы!— пожаловался Монька Прокурор.— С сахарком... Век свободы не видать, палец бы дал — режь!..

Тогда Лешка Гвоздь полез за пазуху и вытащил оттуда пачку грузинского чая «экстра». Под хриплые крики товарищей он извлекал их одну за другой, повертывал в воздухе, чтобы видели все — пять свеженьких пачек по пятьдесят граммов в каждой, подлинный клад для любителя.

— Утречком на разводе начальнику заказ везли из магазина,— объяснил Гвоздь.— Ну, кое-чего начальничек не досчитается...

— Сыпь!— скомандовал Лысый, снимая крышку с чайника.

Одна за другой пачки раздирались, и мелкий, пахучий чай исчезал в нагретой воде. Лысый помешивал густое, как каша, варево ложкой. Чаинки разбухали, запах становился резче и горячей. Семеро отказчиков, сгрудившиеся вокруг костра, с жадностью вслушивались в глухое ворчание набиравшего силу «чифиря». Варвара, не выдержав, заматерился и с мольбой протянул свою кружку. Лысый ударил его ложкой по руке.

— Лапы! Поперед батька в пекло лезешь!

Запах «чифиря» донесся до стрелочка. Он с трудом поднялся, потопал закостеневшими ногами и подошел к костру отказчиков. Монька скосил на него пылающий глаз и заворчал. Пашка Гад выбросил из пустоты верхней челюсти пронзительный плевок. Лысый презрительно отвернулся. Гвоздь оказался самым миролюбивым.

— На чифирек потянуло!— сказал он.— Тебе первому нальем, стрелочек, мы не жадные.

— Кружки!— скомандовал Лысый, с осторожностью извлекая чайник из костра.

Густой, как смола, навар полился тонкой струйкой в ряд сомкнутых кружек. Лысый наливал чифирь артистически, ни одна из драгоценных чаинок не выпала из чайника в кружки. А когда жидкости осталось немного, он прижал к носику чайника ложку и нацедил остатки себе. Потом, поставив свою кружку, он опять набрал в чайник снега, плотно умял его и водрузил чайник на старое место в жар. Лишь после этого он уселся ближе к теплу и хлебнул из кружки.

Стрелок, стоя над отказчиками, ругался:

— Скоты, не народ! Деготь же, как вы пьете!

— Не хочешь, отдавай!— сказал Гад.— И вообще — проваливай, попка!

Для усиления слов он плюнул стрелку под ноги.

— Навали в кружку снега,— посоветовал Гвоздь.— Будет пожиже.

Разбавлять снегом навар стрелок не захотел. Он отошел к своему костру и, морщась, отхлебывал из кружки маленькими глотками. Потом, вспомнив, достал из кармана кисет с сахаром и густо сдобрил им чифирь. Напиток утерял большую часть горечи, пить стало легче. Стрелок повеселел. Он мурлыкал себе под нос однообразную и длинную, как железнодорожная колея, песню и раскачивал головой перед штыком: винтовка была уткну-

та прикладом в снег, штык поочердно заслонял то правый, то левый глаз. Стрелочек смежал веки не заслоненного глаза и глядел сквозь штык. Было забавно: узенькая полоска стали вырастала в целый мир, перекрывая горы и зарю, земля вдруг становилась железной и ледяной до крика. Стрелок захохотал и любовно погладил штык. Никто из отказчиков не обернулся на его смех. Стрелок был шебутной и неумный, его не уважали, только терпели.

Первым одолел свою порцию нетерпеливый Варвара. Он обжигался, хрипел, жадно посапывал, потом уперся мутными глазами в костер и уронил кружку в снег. Остальные не торопились. Лешка Гвоздь и Лысый раза по три гоняли во рту навар, наслаждаясь его теплотой и терпкостью, и лишь после проглатывали. Монька и Митька цедили чефирь сквозь зубы, как сквозь соломинку Васька и Лешка Гад старались, чтобы глотки были маленькими.

Варвара откинулся в снег на спину и испуганно сказал:

— Братцы, земля вертится, как карусель! И небо проваленное... Яма, а не небо!

Митька мотнул на Варвару клювообразным носом и прохрипел:

— Варьара — все! Больше ни крошки.

Один за другим они кончали с напитком и прятали кружки в карманы, чтоб железо не оледеневало. Вслед за Варварой одурел Васька. Он закачался, сидя, закрыл глаза и замурлыкал что-то. Монька Прокурор жадно воткнул в чайник побагровевший глаз, дотронулся рукой.

— Лысый! Еще стаканчик... Завалю, если не хватит!

Лысый, помешивая второе варево, успокоил его:

— Почифиряем на славу! Не торопись, братцы, день долгий.

Митька мечтательно сказал, стараясь не глядеть, как Лысый погружает ложку в чайник:

— На воле были, не понимали. Водку жрали, с бабами спали. Чтоб правильно чифирнуть — куда там!.. Выйду, вот заживу!

Гвоздь засмеялся, с насмешкой взглянув на хищный нос Митьки:

— Выйдешь! Раньше свои двадцать лет отмотай. И что от тебя толку бабе? Сам же болтал, не успеваешь за сиську схватить, все, спекся! Из-за этого и Людку зава-

лил, что она тебя на все кодло обсмеяла! А еще к такой девке лез!

— Я же думал, справлюсь!— пробормотал Митька.

— Думал! Ты с одним ножом справляешься, это да!

— А я на волю не хочу,— сказал Пашка Гад, шепелявя.— Мне на воле не светит. Опять кого проиграю. Не могу без картишек... Вспомню ту старушку — страх!

Лысый оторвался от чайника и гневно сплюнул в снег.

— Кто тебе поверит? Витька Хлюст мотался у прилавка, все видел. Ты ее с одного маха завалил на чистяк, не рюхнулась. В охотку ударил! С бабой справиться легче, не подождал мужика

Гад разволновался до того, что слюна брызнула желтыми комками сквозь выбитые зубы, и слова стали неясными. Он вскочил и снова сел.

— Врет он, Хлюст! Не было так, вот же падло! Я к ней вежливо, кто, значит, последний в очереди? А она улыбается добренько, сука: «Я крайняя!» — и еще «пожалуйста» сказала. Я отошел, руки затряслись — не могу такую! Хожу, жду, чтобы мужик или фраерок подошел. Второй раз к очереди: «Кто последний?» Обратно она, удивленная: «Я же вам объяснила — я!» По-новой отошел, голову режь, если вру! Даже так думаю — уйду, пусть она свою очередь выстоит спокойно, а там разберемся. А тут Хлюст нарисовался, улыбается, тля, подмаргивает — поглядим, мол, как платишь. Тут я в остатний: «Кто последний?». Она аж рассердилась: «Я же, я, сколько вам говорить?» Раз ты, говорю, получай, что тебе приходится!" А выскочить не успел, в дверях мужик здоровенный как гакнет по черепу, земля перевернулась! Хлюст же в сторонке, проститутка, скалится, что меня бьют... Выйду когда, первое дело — с ним... Мне — хана, а его не пожалею!

— Ты же на волю не хочешь,— заметил Гвоздь.— Тебе же не светит на воле...

— Не светит,— сказал Гад, опустив голову.— Не светит...— Он обвел дикими глазами товарищей и крикнул, снова вскакивая:— А Хлюста порешу! Все одно — в лагере он появится!.. Первый нож — ему! Зубами в хайло вопьюсь!..

— До чего же хочется на волю!— с тоской проговорил Васька.— У него дернулись изуродованные скулы, слезящиеся глаза были скорбны. Он всхлипнул и утер рукавицей нос.— К печ-

ке, братцы, в тепло! И чтоб водочка на столе... И куренка за ноги — хрясь! Как же я курей люблю, не поверишь. Еще у матери, огольцом, в рот меня,.. кажный праздник, не поверишь, не то, чтобы пасха, нет, все воскресенья — курица... Неслыханно жили!

— Это правда, что тебя замели, когда ты жрал индюшек?— полюбопытствовал Лысый.— Сторожа прикончили и тут же расселись, как в ресторане? Воры!..

Васька насупился. Он недобро глядел на Лысого. Как и другие воры, он ненавидел этого насмешливого, острого на язык, известного на весь Союз грабителя. Но связываться с Лысым было рискованно, ножом тот владел, как мало кто из них. Без ножа Лысый тоже легко справлялся с двоими, один Гвоздь ему не уступал. Но Гвоздь не уступал никому.

— Вранье! Накрыли нас в ховире у Катьки Крысы. А жрали — точно. Индюшек мороженых — пять штук. Я тащил, Сенька Лошадь подсоблял. До чего же Катька на жарку способная — ну, баба! Жир тек по губам... А гады с собаками в тот час весь балок окружили, мышь не проскочит.

Гвоздь сказал, посмеиваясь:

— Два лба на старика! Ну к чему вы сторожа ухайдакали?

Васька криво усмехнулся.

— Нельзя было, Гвоздь. Знаешь, как он смотрел? Сперва мы по-хорошему — связали его, мордой в землю — лежи, пес! А он вывернулся и глядит. Я в карманы консервы, масло, мороженных индеек цепляю к поясу — глядит. Уходим — опять выворачивает на нас харю. Ну, я ткнул легонько под дых — успокоился...

— Кружки!— сказал Лысый.— Всем, кроме Варвары, по чарочке!

Варвара крикнул, просовывая вперед свою кружку:

— Шути у меня! Первому наливай, понял!

Гвоздь примирительно сказал:

— Будет, Варя. Итак на ногах нетверд, куда еще?

— Лей, пока жив!— бушевал Варвара.— Ухи оборву, глаза выгрызу! Лей, Трухач!

Гвоздь усмехнулся и пожал плечами. Лысый, покорясь, налил Варваре полную кружку. Стрелок, услышав спор, что-то крикнул — никто к нему не обернулся. На этот раз Варвара пил не с такой жадностью. Он делал два-три быстрых глотка и

замирал над кружкой, уставя в нее остекленевшие глаза. Монька доставал пальцами из кружки разбухший чай и жевал его, глотая. Лицо его становилось черным, глаз все больше багровел. Бросив опустевшую кружку в огонь, Монька затянул невнятную песню. Лысый ловко извлек кружку из жара и швырнул ею в Моньку.

— Не вой!— сказал Лысый.— Не волк.

— Ты! — бешено крикнул Монька, пытаясь встать и не держась на расползающихся ногах.— Сунь грабки в карманы, пока не выдрал с костью. С кем сидишь, оторва? Меня уважать надо, понял!

Лысый тоже встал, неторопливо сбросил рукавицы и спокойно засунул руки в карман. Он был готов к драке. Ему хотелось с кем-нибудь побиться смертным боем — рвать тело зубами, выламывать руками кости. Как Монька ни разбесился, он понял, что борьба пойдет на жизнь и стрелок не сумеет их разнять. Он на секунду заколебался — кидаться ли?

Гвоздь, поднявшись, властно положил руку на плечо разъяренного Моньки.

— Спокойно, Монька! Все мы здесь авторитетные, ни сявок, ни шестерок. А толку что? И ты подохнешь, и я, и Лысый.:. Может, один Варвара выдюжит — молоденький, крепче нас...

— Крепче, конечно,— зло бросил Митька, наклоняясь через костер ближе к Лешке Гвоздю.— Думаешь, не видим отчего? Четырехсотку каждому дают, а ты от своей пайки завсегда кусок ему отколупнешь. Спите вместе — платить приходится...

Гвоздь кротко сказал:

— Вот и хорошо, что увидел. А сейчас проглоти ботало, а то вырву из глотки с корнем. Ты меня, вроде, знаешь — два раза не повторяю.

Митька замолчал и отодвинулся. Разговоры на минуту оборвались. Даже стычка между Лысым и Монькой не произвела такого действия, как короткая перебранка Митьки и Лешки. Митька уже жалел, что слишком свободно коснулся того, о чем надо было держать язык за зубами. У Лешки Гвоздя от слов до дела дорога была в один прыжок, и живым из его рук в драке еще никто не выбирался. Кротость в его голосе считалась особо плохим знаком. Один Варвара мало считался с настроениями Лешки, ему одному Лешка спускал то, что другим не проходило.

Обиженный грубостью Лысого, Монька на время притих, как и все. Потом он снова забормотал, злобно посверкивая глазом на Лысого:

— Я тебе не Андрюшка с бабой и выблядками своими. Духарик — годовалую пацанку топором рубить! Я прямо иду. С Васькой Фокиным — нож на нож, ни он, ни я в сторону, не тебе чета — Васька... Другого такого не бывало, богатырь, сволота! Где Васька, спрашиваю? Нет, ты скажи, где Васька? А я — вот он, я! Ваську сгноил, еще не одного сгною!

Гвоздь, усмехаясь, поинтересовался:

— Глаз ему, однако, выплатил. Не жаль?

— Или! У меня глаза были те! Пики! Нечтяк, и одним вижу. Он меня пером по щеке, настоящая боевая финка, не что-нибудь, а я коротенькой самоделкой в орла — ноги кверху! Сколько крови вылилось! Тринадцать штук резал, другого такого не попадалось кровянистого!

— А вот Касьян вовсе был без кровей,— задумчиво проговорил Гвоздь.— Жижа черная полилась — со стакан, не больше. Я так думаю, кровь у него вся перегорела, пока я с ним баловался.

Пашка Гад поднял опухшее от чифиря лицо и попросил:

— Расскажи, как вы Касьяна кончали. Тот пахан был! Начальник лагеря без охраны в его барак не ходил, правда? И чтоб его на работу — ни-ни! Ни один нарядчик не смел.

Лешка Гвоздь закрыл глаза, вспоминая приятную историю расправы с Касьяном. На лице его блуждала темная улыбка. Митька взглянул на эту зловещую улыбку и поспешно опустил глаза. Гад повторил свою просьбу. Лысый молча подбросил в костер веток и пошуровал в нем. Он сам не раз убивал, когда другого выхода не было, но не стремился к убийству. Смерть была накладным расходом воровского дела, но не предметом наслаждения. Касьяна он знал хорошо, даже дружил с ним. И он видел собственными глазами, что сотворили с Касьяном — мороз на секунду пронзил его всего.

— Было, было,— негромко сказал Гвоздь.— Он ведь как хотел? В шестерку меня обернуть, только врешь, Лешка Гвоздь никому не шестерил. Ну, пошло... Или он, или я — так стало. Кому-то одному надо воров в

руке держать, чтоб суки не осилили... только умные доперли — ему хана, а не мне, перышко у меня играет куда почище его. Кто только полезет к себе в заначку, а я — четыре сбоку, и ваших нет — полняком меж ребер... Тут лорд один из инженеров врезал дуба у самой вахты, ну, обобрали, конечно, а мне в голова́ барахлишко подкинули. Касьяновой шестерни работа, сразу дотыркал. Туда, сюда, выхода нет — попал в непонятное! Чистяком протащили за сухаря и на всю катушку — налево! Нет, смиловался Калинин, двадцать пять отвалил взамен вышака и из них год строгача. Я и передал Касьяну, встретимся — пощады не будет! И на простую смерть чтоб не надеялся. А через три месяца его к нам в камеру — раз! Тоже за что-то полгода ШИЗО схватил.

— Нарочно подвели, чтоб вместе,— сказал Монька.— Все знали, как ты забожился насчет Касьяна.

— Нарочно, конечно,— согласился Гвоздь.— Понимали, что кому-то из нас не жить. Одним будет меньше, вот их план. Ну, я вежливо ему: «Здорово, Касьян, гора с горою, а человек с человеком, очень, очень приятно и вообще — как здоровье?» Бледный он был — хуже снега. Но нечтяк, крепился. И я не тороплюсь, ждал ночи. А ночью схватились.

Он на меня с кулаками, только куда, минуты две продержался, не больше. Я для начала рукавицу в рот, чтобы без крику, потом руки вывернул, одну за другой, и за ноги принялся. Ну и крепкая кость в ногах, повозился, пока выломал. Так он и лежит, лицом вниз, ни руками, ни ногами, одной спиной трясется — мелко-мелко... А я содрал брюки и на глазах у всех оформил. Откуда силы взялись — шесть раз в ту ночь позорил... И все хохочу, до того приятно было. Ребята взмолились: «Кончай ты его, больше глядеть не можем». Вон Лысый чуть не расплакался, что муторно... На коровьем реву я Касьяна и прирезал куском стекла. Крови же не было... нет. Думал, теперь уж от вышака не отвертеться. А тут как раз смертную казнь отменили — живу... И сколько еще жить надо — невпроворот!

— Как же он трепыхался, Касьян-то!— с содроганием проговорил Лысый. Его совсем замутило от страшных воспоминаний и чифиря.— Руки, ноги — мертвечина, а животом елозит. И плечи, плечи — не кости, студень трясучий!..

— Расписховался, оторва!— с насмешкой прохрипел Монька.— Сосунка резал, не покривился, а здесь — ах, я нервная!..

Лысый прикрыл веками мутные печальные глаза. У него были тяжелые, нависающие почти на зрачок веки. Когда Лысый смотрел прямо, виднелась лишь половина глаза, верхняя была словно завешена шторкой. Во время разговора он совсем закрывал глаза, лицо от этого становилось слепым и жестоким. От его недавнего боевого настроения не осталось ничего. Он качался у костра туловищем. Ему было до слез обидно, что думали, будто он мог кого-то резать без крайней необходимости. Он любил свою доброту и страдал, когда его упрекали в жестокости.

— Сосунка!— сказал он заплетающимся языком.— Ну и что — сосунка? Она же спала в колыбельке, а уговор был такой — всю Андрюшкину породу под комель. Жил он в тундре, в балочке, все равно ей хана без мамки, пока кто забежит. Может, я еще пожалел девчонку, а ты мне суешь, падло!.. Ну, и рубану, секунд и все, а здесь же цельную ночь и кто — Касьян, понял?

Задремавший было Варвара вдруг вскочил и в бешенстве ударил валенком в костер. Искры и зола взметнулись темным облаком. Варвара дергался, размахивал руками, дико матерился.

— Гады! Сволота несчастная! Проститутки!— орал он.— Ножа — всех бы пересчитал! Только одно — убивать, убивать!.. Видеть вас не могу!

Гвоздь смеялся неподвижным, полубезумным смехом, а Монька прикрикнул на Варвару:

— Ша! Имей уважение, сопляк! С кем ботаешь, спрашиваю? Задница с мозгами!

Варвара запустил чайником в Моньку, тот увернулся и бросился на Варвару. Варвара кинулся наутек в тундру. Стрелок в два прыжка пересек ему путь. Стрелок был много сильнее любого из своих «фитилей». Он поймал Варвару за воротник и потащил, как куль, по снегу — в огромной тундровой тишине отчетливо разносился треск расползавшегося по швам ватника и тихий плач сразу раскисшего Варвары.

— Гады!— сказал стрелок, бросая Варвару в снег.— Шизоики доходные!— Он клокотал от гнева. Если бы кто

сказал хоть слово, стрелок пустил бы в ход приклад. Он славился своей жестокостью, добрым стрелкам не поручали конвоирование штрафников.

Шестеро отказчиков в оцепенении сидели у потухающего костра. Всхлипы уткнувшегося лицом в снег Варвары становились глухими, потом оборвались. Короткий день снова превратился в ночь. На черном небе замигали звезды. Они были похожи на когти, готовые вцепиться в землю, отказчики страшились смотреть на эти слишком враждебные звезды. Еще больше боялись они всматриваться в землю, земля стерегла их со всех сторон, немая и настороженная — сделай шаг в ее ледяную темень, зверем бросится на спину. Мир пахнул кровью и смертью.

— Замерзнет же, фофан!— бесстрастно сказал Васька, кивая на Варвару.— Мурло попортит.

— Все дойдем!— мрачно отозвался Гад.— Всем могила.

Гвоздь неторопливо поднялся и валенком толкнул Варвару. Тот поднял голову, отупело оглянулся.

— На, возьми!— сказал Гвоздь, стаскивая с себя полушубок и бросая в снег рукавицы.— Наверни сверх своего и будет теплее. Мне уже не надо.— Он повернулся к товарищам.— Я пошел.

— Один далеко не ускачешь,— проговорил Митька и тоже встал.— Поймает, как Варвару, и назад притащит. Двоим надо.

Стрелок, заметив среди отказчиков движение, угрожающе заворчал. А когда Гвоздь и Митька неторопливо двинулись в разные стороны, он свирепо заорал и защелкал затвором. Беглецы не остановились и после предупредительного выстрела в воздух. Митька еще был виден, а Гвоздь расплывался в морозной мгле — что-то темное расплывчато качалось на снегу. Секунду стрелок набирался духу, потом припал на колено и прицелился. В казармах он часто брал призы за меткую стрельбу. Первым рухнул Гвоздь, за ним свалился Митька. Они недвижимо лежали метрах в пятидесяти от костра, ногами к товарищам, головами в ночь.

Только сейчас стрелок дал волю своему бешенству. Он проклинал мать и бога, землю и воду, кожу и потроха. В ярости бросившись к костру, он ударил Моньку прикладом — тот свалился в еще горячую золу.

— Стройсь!— ревел стрелок.— Выдумали, гады —

легкой смерти захотелось!— Он отбежал в сторону и снова защелкал затвором.— Шаг вправо, шаг влево — не пощажу!

Отказчики один за другим поднимались на ноги. Только Варвара все также лежал на снегу, уткнув лицо в полушубок Гвоздя.

— Теперь пошел я,— сказал Лысый, качаясь на нетвердых ногах.— Братцы, все! Некуда больше, братцы!

— И я с тобой,— сказал Монька Прокурор.— Ну, алле!

Они не шли, а бежали, и стрелок не решился тратить время на предупредительный выстрел. Лысый свалился около Гвоздя, а Монька чуть впереди Митьки. А когда с ними было покончено, с места сорвались Васька и Пашка. Морозную тьму снова озарили две вспышки, и два выстрела далеко разнеслись в угрюмом молчании тундры. Стрелок, не помня себя, подскочил к Варваре, бил его ногами и прикладом, то рывком поднимал на ноги, то в неистовстве снова валил в снег. Отупевший Варвара мотался под его ударами, как ватный.

— Что же вы со мной сделали!— кричал с рыданием стрелок.— Мне же отчитываться за вас! Убить за это мало!

Немного успокоившись, он приказал Варваре идти вперед. Варвара с трудом передвигал ногами. Земля наклонялась и опрокидывалась, звезды разъяренно сверкали то сверху, то с боков, то под ногами. У трех тел — Лешки Гвоздя, Лысого и Пашки Гада — Варвара замер. Тела лежали лицами вниз, головами вперед. Стрелок бешено матерился.

— Шире шаг! Не смей останавливаться!

Варвара прибавил шагу. Он шел все быстрее, потом побежал. Вначале стрелок нагонял его, затем стал отставать. Варвара мчался исступленно и безрассудно, с каждым шагом увеличивая разрыв между собой и стрелком. На вершине какого-то пригорочка Варвару настигла пуля. Стрелок рухнул в снег недалеко от Варвары. Он задохнулся, выронил винтовку, в ярости сорвал с себя шапку. А когда воздуха в его легких набралось на голос, он зарыдал тонко и пронзительно. Он запрокинул вверх голову, как худой пес, и выл на зловеще сверкавшие звезды.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЯЗЫК, КОТОРЫЙ НЕНАВИДИТ

•

ФИЛОСОФИЯ БЛАТНОГО ЯЗЫКА

ЯЗЫК, КОТОРЫЙ НЕНАВИДИТ

Философия блатного языка.

Это, конечно, профессиональный жаргон, а не язык. Он предназначен обслуживать деловые потребности воровства и проституции. Он использует общенародный русский и прячется от него за системой намеков и переиначивания слов и смысла слов. Он зашифровывает себя от постороннего понимания. Это лишь практическая сторона. Есть и другая — и не сторона, а суть. Воровской жаргон, ставший основой лагерного языка, есть речь ненависти, презрения, недоброжелательства. Он обслуживает вражду, а не дружбу, он выражает вечное подозрение, вечный страх предательства, вечный ужас наказания. Этот язык не знает радости. Он пессимистичен. Он не признает дружбы и товарищества. Ненависть и боязнь, недоверие, уверенность, что люди — сплошь мерзавцы, ни один не заслуживает хорошего отношения — такова его глубинная философия. Это язык — мизантроп.

Я бы указал на такие главные особенности блатного жаргона:

1. Словесный камуфляж

Блатная речь предназначена для профессиональной информации, к тому же такой, чтобы в нее не вник посторонний. Естественно, жаргон перегружен терминами ремесла. Это общая особенность всякого профессионального жаргона. Но если иные жаргоны — заводские, моряцкие, горняцкие, научный и т. д.— придумывают для своих операций, инструментов и понятий новые слова, то блатной язык применяет метод наивней и примитивней — он переиначивает известные слова. Так появляются орел (сердце), балда (луна), бацилла (масло), во-

лына (ружье), букет (набор статей), туз (задница), гроб (сундук), генерал (сифилис), гад (милиционер), замазка (проигрыш), свист (болтовня), копыто (нога), лапа (взятка), кукла (подделка), лоб (здоровяк), медведь (сейф), мелодия (милиция), угол (чемодан) и т. д. Словотворчество в принципе чуждо блатному языку. Оно просто непосильно для блатных, это не для их интеллектуальных возможностей. Лагерные варианты языка в этом смысле много содержательней. Лагерники придумали такие новообразования, как вертухай, доходяга, кантовщик, филон, духарик, заначка, мастырка, дрын, кир, кимарить, зека, оторва, отрицаловка, нечтяк, чифирь и т. д. Типично воровские новообразования — шалава, биксы, фиксы, поит, локш и пр.— не образуют специфики языка. Именно бедность неологизмами делает блатной язык малоэффективным в своей информационной функции. Ремесло шире обслуживающего его жаргона. Вору сложно передать адекватно специальными терминами свое дело и цели, он должен переходить к общему языку, а это создает опасность дешифровки. Поэтому намек является важнейшим элементом речи и часто поминаемое многозначительное словечко «понял» становится чем-то вроде тире или восклицательного знака, обращающего внимание слушателя на тайный смысл речи, полностью не выраженной даже кодированными терминами. Подтекст, подспудность речи становится не оригинальным приемом, а серой нормой. Любителям двойного течения речи нашлось бы много любопытного в разговорах воров и даже лагерных придурков. И, вероятно, они с удивлением бы убедились, что непомерное развитие подтекста не обогащает, а обедняет речь. Язык, где слишком много значения дано тайному смыслу, становится равнодушным к явному значению слов, он не стремится развить свою информативную функцию, он консервируется, теряет стимул развития — может и прямо деградировать. Он становится внешним к содержанию. Из домика, с которым слита живая улитка — смысл,— он превращается в равнодушный к своему содержанию ящик — толкай в него, что заблагорассудится. Иные воры, свободно ориентирующиеся в интонационной многозначности своих слов, теряют дар речи, когда говорят с теми, кому до лампочки их профессиональные подтексты. Я с ворами довольно часто беседовал. И убеждался, что в обычной речи они становятся косноязычны-

7 Зак. 3931

ми, мучительно подыскивают недающиеся слова, пытаются многочисленными «понял, понял?» восполнить скудость, неточность и невыразительность языка. Пустая вымученная болтовня — таково впечатление от их разговора. И тем, кто восхищается красочностью и меткостью блатного жаргона, я мог бы, на основании своего многолетнего опыта общения с ворами, возразить, что не надо путать два-три десятка ярких словечек с языком, слагающимся из десятков тысяч слов. Блатной жаргон скуден. Блатная музы́ка давно не звучит по Бодуэну де Куртене, как она, возможно, звучала когда-то у мастеров ремесла. И чем дальше, тем блатной жаргон сильней вырождается. Это связано не только с деградацией воровства как профессии. Деградация речи — внутренняя тенденция воровского жаргона. Был тяжкий период в нашей истории, когда раковая опухоль лагерей расползлась по всему телу страны. И лагерный говор захлестывал тогда живую речь, становился общепринятым жаргоном молодежи, приобретал черты какого-то чуть ли не «неорусского» языка. Зараза лагерей преодолена. Зловещее утверждение лагерного жаргона нам не грозит. Увлеченность молодежи лагерными словечками резко ослабла и все больше слабеет. Лишь немногие слова, почерпнутые из лагерей, прочно утвердились в языке, остальные вымылись и продолжают вымываться.

2. Принцип кодирования — вещность и частность

Итак, в блатном жаргоне слова переиначиваются. Но не хаотично, а согласно определенной логике. Если имеется объект А, то для его обозначения подбирается название другой вещи Б, один из признаков которой может характеризовать также и А. Название Б становится кодом А, потому что какое-то свойство, черта, особенность Б роднит его с А или позволяет их соединять по отдаленному сходству. Примеры: дымок — табак, соединение по дыму; корова — осужденный на съедение беглец: и то, и другое — мясо; котел — голова, сходство формы; лепить — придумывать: сходство в том, что рассказчик не описывает реальный факт, а лепит фантастическую конструкцию; клюка — церковь, у церкви масса старух с клюками; огонек — обессиленный, в том и в другом

случае дунь — погаснет; пришить бороду— обмануть, гримировка — форма обмана; сопатка — нос, кодировка по сопению; стукач — доносчик: доносчику надо постучаться в дверь камеры, чтобы его привели к «куму» на доклад; угол — чемодан: чемоданы, как известно, угловаты. И т. д...

Две главные особенности отличают логику словесного камуфляжа.

1. Вещность. В качестве определяющего признака слова берется какая-то зримая, обоняемая, ощущаемая черта. Абстрактное представление для кодировки не годится, за очень редкими исключениями (напр., центр — хорошая вещь, заслуживающая того, чтобы ее украли). Благодаря такому отбору язык делается образным, он рельефно изображает то, о чем говорится. Напр.: туз — задница, селедка — галстук, серьга — висячий замок, стукач — доносчик, фары — глаза, грабки — руки, ботало — язык, попка — охранник. Блатной жаргон придает утратившим конкретность словам их былую вещественность, они становятся яркими, в них реально совершается отстранение, о котором мечтает каждый писатель — вероятно, в этой возобновившейся первозданной картинности слова, в его яркости, в его меткости и таится добрая доля очарования, какое он явил для молодежи. В этом языке мыслят картинами, признаками, чертами, а не абстракциями — он апеллирует к чувству, а лишь через него — к разуму: логика дикаря или ребенка. Леви Брюль нашел бы в воровском жаргоне любопытные подтверждения своих концепций.

2. Частность. Отказываясь от общего представления о вещах и действиях, воровской жаргон заменяет их частностями. В роли целого выступает деталь, службу сущности несет признак. Мир, описываемый воровским жаргоном, чудовищно искажен. Не следует, однако, делать вывод, что названия вещей и действий в жаргоне всегда конкретней реальности, кодом которой они служат. Название может быть абстрактней, более общее, чем описываемый объект, но одновременно оно есть деталь и конкретность какого-то другого объекта. Например, чемодан — угол. Угол более абстрактное понятие, чем чемодан, но вместе с тем, для любой конкретной вещи, снабженной углами, он лишь деталь, не имеющая самостоятельного существования (если исключить геометрию,

но воры в школьной математике не сильны и геометрией не увлекаются). И получается двойное движение понятия: угол, ставший чемоданом, теряет всю свою общность, ибо отныне он конкретная вещь; но одновременно он становится и более общим, ибо отныне угол включает в себя и углы (чемоданные), он уже не деталь, а целое.

Часть, выступающая символом целого,— такова одна из формул воровского жаргона.

3. Оскорбление как гносеология

Поскольку в качестве кода объекта выбирается какой-либо признак этого или иного объекта, часть выступает как целое. Я об этом уже говорил. Но как подбираются признаки или свойства на роль целого? Об одном критерии подбора я уже упоминал — вещности. Признак должен говорить что-то чувству, он должен не только характеризовать непосредственно понятие, он, характеризуя его, должен его живописать. Конкретность становится ликом общности. Но можно пойти и дальше абстрактного констатирования конкретности. Конкретность жаргона — оскорбительна. Его вещность — издевательская. Его меткость — ненавидящая. Его яркость — глумлива. Признак для наименования объекта подбирается так, чтобы унизить, оскорбить, осмеять объект. Если некое X может быть охарактеризовано признаками А, Б, В, Г, Д, Е и ведомо, что А и Е восхваляют X, В и Г описывают с холодным равнодушием, а Д — позорит, то вор выберет в качестве характеризующего словечка именно Д. Так появляются словечки-оскорбления: гад — милиционер, балда — луна, битый — опытный, вшивка — бедняк, доходяга — ослабевший, зверь — кавказец, клюка — церковь, кобылка — веселая компания, лепило — врач, олень — северный человек, придурок — лагерный служащий, упасть — влюбиться. Достаточно перелистать словарик, чтобы убедиться, как много не названо слов-оскорблений. А если к тому добавить слова-насмешки (фанера, темнило, простячка, припухать и т. д.) и слова-презрения (тряпки — одежда, псы — охрана, вертухай, сявка и т. д.), то станет ясно, как далеко идет стремление самим строем, самим смыслом слов оха-

ять, оскорбить, обидеть, поиздеваться. Жаргон видит в мире почти исключительно скверноту и со злорадиостью ее живописует.

А к этому обязательно следует добавить, что блатной жаргон не признает высоких понятий. В мировой литературе обильно расписан аристократизм воров, их товарищество, взаимная выручка, верность воровскому долгу и т. п. Но писали о ворах отнюдь не воры. Ручаюсь, что авторы Вотренов, Рокамболей, Костей-капитанов ни разу не залезали своей рукой в карман ближнего своего. И сомневаюсь, что Эжен Сю распутывал парижские тайны в реальных малинах и ховирах (хотя его описание, вероятно, ближе других к истине). Видок — то исключение, которое подтверждает правило. Я прожил с блатными десяток лет, видел их в житье и на работе, слушал их рассказы и жалобы, наблюдал их взаимные ссоры и примирения и могу засвидетельствовать: воровское кодло — сообщество, скрепленное взаимным страхом возмездия и безвыходностью. Это царство рока. Пауки в банке ведут себя гораздо миролюбивей. Вечные взаимные подозрения, вечный ужас предательства, страх возмездия, жажда мщения, планы мщения — вот норма их взаимоотношений. Достаточно поглядеть на подозрительные, настороженные глаза любого блатного, чтобы уразуметь природу их речи. Непрерывное ожидание опасности — не только извне, но и от своих, порождает такое же непрерывное недоброжелательство. Жизнь суживается до сегодняшнего дня, который так непросто прожить. От каждого ожидают только плохого. Люди, в принципе, — подлецы. Хорошими они могут стать лишь по принуждению, лишь под угрозой и, естественно, неискренне. Гегель как-то заметил, что люди по природе злы. Вор добавил бы — не только злы, но и скверны. Тут еще есть и мотив самооправдания: если все люди подлы, то и с ними правомочно поступать подло. При такой системе взглядов любая собственная подлость приобретает розоватый оттенок доблести. Это, если хотите, моральная самозащита, и она очень важна. В печальном и поэтическом романе Олдингтона «Все люди — враги» два героя тоскуют о недостижимой высоте. Воры согласились бы с формулой: все люди — враги, но с добавкой, что высота — не выше глотки, куда надо в час удачи пихать жратву и водку. Высшие человеческие радости им не только неизвестны, они

недоступны, они в ином, непознаваемом мире, они — ноумены. Широкого мира для вора вообще нет, для него существует только окружение. Вселенная для вора — набор окружений и ситуаций, в каких довелось самому побывать. Любопытно поглядеть, как воры знакомятся (по их термину — обнюхиваются). Они окидывают один другого подозрительным взглядом, долго допытываются: «А Ваську Карзубого знаешь? А Сашку Семафора? С Фатимкой Владивостокским бегал? С дядей Костей до́хнули (спали) рядом,— кореши?» Это не только вручение визитных карточек, но и выяснение многообразия связей с кодлом, и установление масштабов мщения, которое обрушится на нового знакомого в случае предательства — чем выше ранг вора, тем злей покарают его измену. Обреченность определяет психологию, рок очерчивает пределы миропонимания. Все против меня, а что именно — сам не знаю, кругом вражьи морды, неверный шаг — и попал в непонятное. Непонятное — любимый термин воров. Он выдает агностицизм их видения или, вернее, невидения мира. А что вор и видит, то видит, ненавидя и презирая, страшась и издеваясь. Удивительны ликования воров при малейшей удаче. Я вначале поражался тому, какой взрыв восторга порождает у них любой успех. И лишь впоследствии понял, что ликуют не крохотному везению, а тому, что не осуществились опасности, зловещей тенью нависавшие над «делом», радуются, собственно, не тому, чего сами достигли, а тому, что не удалось достичь противникам.

При таком мироощущении в блатном жаргоне должны отсутствовать слова, информирующие о высоких моральных категориях. Вор не говорит о том, чего нет в его окружении, а если и случается ему порой проникнуть в мир моральных ноуменов, то, косноязыча и матерясь от затруднения, он прибегнет к общенародному языку, обслуживающему эти диковатые, далекие от него категории мира, где царит безраздельно «непонятное». Вместо «я тебя люблю» появляется цинично-издевательское «я на тебя упал», вместо друга — кореш, вместо мудреца и руководителя — пахан, вместо содружества — кодло, вместо работать — вкалывать, вместо ружья — дура, вместо уважительного смельчак — недоброжелательное духарик. А такие категории, как нежность, ласка, привязанность, честность, верность, от-

крытость, стойкость, доброта, самопожертвование, и сотни им содружественных, — вообще изгнаны из лексики, ибо нет их в жизни блатного. Высшая степень оценки человека — цедимые сквозь зубы «правильный мужик», «правильная баба». Блатной язык не признает восхвалений человека, он обслуживает лишь его унижения. Такова гносеология блатного — все сволочи, от любого жди подлости, а что сверх того — то «непонятное». И моральный императив, вытекающий из такой гносеологии, по-своему логичен: с каждым поступай подло, делать другому подлость — хорошо, и предел твоего подлого отношения к подлецам определен лишь неизбежностью кары.

Языки мира изучены подробнейшим образом с точки зрения лексики, семантики, грамматики, синтаксиса. Но, сколько я знаю, их не изучали как моральную систему, как этическую философию. А жаль. Открылось бы много любопытного. Я пробовал это сделать. Думаю, что язык — имею в виду реально существующий наш родной ру́сский — в котором имеется 50 синонимов украсть и только 5 — зарабатывать, 100 оскорбительных названий человека, вроде: дурак, мерзавец, негодяй, лентяй и т. д., и только 10, во́схваляющих его: вроде мудрец, добряк, смельчак, молодец — такой язык зарождался во времена социального антагонизма, а не социальной гармонии. Уверен, что язык будущего гармонического общества и по лексике своей будет отличаться от сегодняшнего, еще выражающего давно преодоленные стадии взаимного недоброжелательства и взаимного соперничества. И уверен также, что в любом языке и жаргоне жаргон блатных будет резко выделяться своей антигуманностью — презрением к человеку, издевательству над ним, отрицанием в человеке всего нравственно честного и высокого. По философской сути своей блатной жаргон — антиморален.

4. Информативность взамен мышления

Главная функция блатного жаргона — информативность. Это связано с высокой степенью профессионализма. Вместе с тем, он недостаточен для обслуживания ремесла во всей его полноте, благодаря чему так развита в нем система намеков и

подтекста. Практически он не справляется со своей прямой функцией, и очень многие «качания прав» исчерпываются взаимными уточнениями недосказанного и невыясненного. Очень забавно следить, как воры путаются, когда приходится объяснять друг другу что-нибудь, хоть сколько-нибудь выходящее за межи обыденного. Краткая, резкая, точная речь вдруг превращается в тягучую болтовню, рассказчик тонет в болоте тусклых слов.

И, соответственно, блатной жаргон не годится для логического мышления. Мышление невозможно без абстракций, без обобщений конкретности, без подъема над конкретностью. Именно это отсутствует в блатном жаргоне. Он даже общие понятия характеризует конкретными признаками. Благодаря такой особенности он кажется парадоксальным, поражает яркостью и меткостью. Если мы когда-нибудь откроем язык неандертальца, он, вероятно, тоже покажется нам ярким и метким. Но Гегель или Достоевский не найдут собеседника в неандертальце. Узкий прагматизм блатного жаргона делает его непригодным для мышления. Речь в данном случае идет не об абстрактном мышлении, а о мышлении логическом, замкнутом конкретной сферой. Даже если в своей профессии надо выйти за пределы деловой информации, воры обращаются к общенародному языку. Декарт не мог бы вырасти среди воров. Блатной существует не потому, что мыслит, а потому, что с недоступной нам остротой ощущает бренность существования. Бытие — всегда на пределе: и он может ежесекундно оборвать любое бытие, и его бытие могут оборвать или круто переменить. Рок ощущается всегда и всюду, это, правда, не создает фатализма, но и не стимулирует абстрактного мышления. Бытие вора слишком активно, чтобы породить фатализм, он сам выступает в роли Атропо, перерезающей нить бытия — но лишь чужого, собственное его бытие в руках зловещей Лахезис, которая тянет нить его существования, независимо от его стараний, по унылой формуле «поволокло по кочкам». Бытие трагично и неожиданно, практически вся жизненная энергия тратится на то, чтобы уцелеть. Абстрактного мышления такая обстановка не стимулирует.

Оно невозможно и по иной причине. Я знал лишь одного блатного — Сашку Семафора — имевшего за собой несколько лет студенчества. Даже человека со средним

образованием среди них встретишь редко. Обычно блатные — недоучки. И они остро ощущают, что недоучки и неудачники. Когда я был начальником лаборатории на лагерном производстве, многие мои работники-блатные поступали на курсы и в школу — мы подталкивали их на учение. Получение свидетельства или диплома было равнозначно уходу из кодла. И, наоборот, те, что оставались ворами, бросали ученье. Это не значит, что они были лишены способностей. Среди воров типичны сообразительность, быстрота реакции, энергия, решительность — все это необходимые в их ремесле качества. Просто духовная культура и воровская профессия — понятия несовместимые.

В качестве примера употребления блатного жаргона прилагаю ироничную «Историю отпадения Нидерландов от Испании», созданную Львом Гумилевым. Я значительно дополнил его легкий, яркий, остроумный рассказ, он стал тяжелее и педантичней, но полнее. В нем представлены самые общеупотребительные словечки лагерно-воровского жаргона. Текст Гумилева дан прописными буквами, мой — в скобках — строчными.

Во втором приложении постараюсь выяснить моральный облик и обстоятельства житейского существования народа по анализу преобладания в его языке слов бранных и критических над словами хвалебными.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕРВОЕ

Л. Н. Гумилев

История отпадения Нидерландов от Испании.

В 1565 ГОДУ ПО ВСЕЙ ГОЛЛАНДИИ ПОШЛА ПАРАША, ЧТО ПАПА — АНТИХРИСТ. ГОЛЛАНДЦЫ НАЧАЛИ ШИПЕТЬ НА ПАПУ И РАСКУРОЧИВАТЬ МОНАСТЫРИ. РИМСКАЯ КУРИЯ, ОБИЖЕННАЯ ЗА ПАХАНА, ПОДНАЧИЛА ИСПАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. ИСПАНЦЫ СТАЛИ КАЧАТЬ ПРАВА — НАХАЛЬНО ТАЩИЛИ ГОЛЛАНДЦЕВ НА ИСПОВЕДЬ: (совали за святых чурки с глазами). ОТКАЗЧИКОВ САЖАЛИ В КАНДЕЙ НА ТРЕХСОТКУ, ОТРИЦАЛОВКУ ПУСКАЛИ НАЛЕВО. ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПОШЛИ ШМОНЫ И СТУК. СПЕШНО СТРЯПАЛИ ЛИПУ. (Гадильники ломились от случайной хевры. В проповедях свистели об аде и рае, в домах стоял жуткий звон). ГРАФ ЭГМОНТ НА ПАРУ С ГРАФОМ ГОРНОМ ПОПАЛИ В НЕПОНЯТНОЕ. ИХ ПО ЗАПАРКЕ ЗАМЕЛИ, ПРИШИЛИ ДЕЛО И ДАЛИ ВЫШКУ.

ТОГДА РАБОТЯГА ВИЛЬГЕЛЬМ ОРАНСКИЙ ПОДНЯЛ В СТРАНЕ ШУХЕР. ЕГО ПОДДЕРЖАЛИ ГЕЗЫ (урки, одетые в третий срок). МАДРИДСКАЯ МАЛИНА ПОСЛАЛА СВОИМ НАМЕСТНИКОМ ГЕРЦОГА АЛЬБУ. АЛЬБА БЫЛ ТОТ ГЕРЦО́Г! КОГДА ОН ПРИХЛЯЛ В НИДЕРЛАНДЫ, ГОЛЛАНДЦАМ ПРИШЛА ХАНА. АЛЬБА РАСПАТРОНИЛ ЛЕЙДЕН, ГЛАВНЫЙ ГОЛЛАНДСКИЙ ШАЛМАН. ОСТАТКИ ГЕЗОВ КАНТОВАЛИСЬ В МОРЕ, А ВИЛЬГЕЛЬМ ОРАНСКИЙ ПРИПУХ В СВОЕЙ ЗОНЕ. АЛЬБА БЫЛ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ. СОЛДАТЫ ЕГО ГУЖЕВАЛИСЬ ОТ ПУЗА, В ОБОЗЕ ШЛО ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ ШАЛАШОВОК. (На этапах он не тянул резины, наступал

без показухи и туфты, а если приходилось канать, так все от лордов до попок вкалывали до опупения. На Альбу пахали епископы и князья, в ставке шестерили графья и генералы, а кто махлевал, тот загинался. Он самых высоких в кодле брал на оттяжку, принцев имел за штопорил, графинь держал за простячек. В подвалах, где враги на пытках давали дуба, всю дорогу давил ливер и щерился во все хавало. На лярв он не падал, с послами чернуху не раскидывал, пленных заваливал начистяк, чтоб был полный порядок).

НО АЛЬБА ВСКОРЕ ДАЖЕ СВОИМ ПЕРЕЕЛ ПЛЕШЬ. ВСЕ ЗНАЛИ, ЧТО ГЕРЦОГ В ЗАКОНЕ И ЛАПУ НЕ БЕРЕТ. НО КТО-ТО СТУКНУЛ В МАДРИД, ЧТО ОН СКУРВИЛСЯ И ЗАКОСИЛ КАЗЕННУЮ МОНЕТУ. АЛЬБУ ЗАМЕЛИ В КОРТЕСЫ НА ОБЩИЕ РАБОТЫ, А ВМЕСТО НЕГО НАРИСОВАЛИСЬ АЛЕКСАНДР ФАРНЕЗИ И МАРГАРИТА ПАРМСКАЯ — (два раззолоченных штымпа), РЯДОВЫЕ ПРИДУРКИ ИСПАНСКОЙ КОРОНЫ.

В ЭТО ВРЕМЯ В АНГЛИИ ПОГОРЕЛА МАРИЯ СТЮАРТ. МАШКЕ СУНУЛИ ЛИПОВЫЙ БУКЕТ И ПУСТИЛИ НА ЛУНУ. ДОХОДЯГА ФИЛИПП II ПОСЛАЛ НА АНГЛИЮ НЕПОБЕДИМУЮ АРМАДУ (но здорово фраернулся. Гранды-нарядчики филонили, поздно вывели Армаду на развод, на Армаде не хватило пороху и баланды. Капитаны заначили пайку на берегу, спустили барыгам военное барахлишко, одели матросов в локш, а ксивы выправили на первый срок, чтоб не записали промота. Княжеские сынки заряжали туфту, срабатывали мастырку, чтоб не переть наружу). В БИСКАЙСКОМ МОРЕ АРМАДУ ДРАЛА ПУРГА. МАТРОСЫ ПО ТРОЕ СУТОК НЕ КИМАРИЛИ, ПЕРЕД БОЕМ НЕ ПОКИРЯЛИ. АНГЛИЙСКИЙ АДМИРАЛ ИЗ СУК СТЕФЕНС И ЗНАМЕНИТЫЙ ПОРЧАК ФРЕНСИС ДРЕЙ РАЗЛОЖИЛИ АРМАДУ, КАК БОГ ЧЕРЕПАХУ. ПОЛОВИНА ИСПАНЦЕВ НАТЯНУЛА НА ПЛЕЧИ ДЕРЕВЯННЫЙ БУШЛАТ, ОСТАВШИЕСЯ ПОДОРВАЛИ В ХОВИРУ.

ГОЛЛАНДЦЫ (обратно зашуровались) И ВУСМЕРТЬ ПОКАТИЛИСЬ, КОГДА ДОТЫРКАЛИ ПРО АРМАДУ. ИСПАНЦЫ ЛЕПИЛИ ОТ ФОНАРЯ ПРО ПОБЕДУ, НО ИМ НЕ ПОСВЕТИЛО — ССУЧЕННЫХ СТАНОВИЛОСЬ МЕНЬШЕ, ЧЕСНОКИ ШЕРУДИЛИ

РОГАМИ. ГОЛЛАНДЦЫ ВОССТАЛИ ПО НОВОЙ, А МАРГАРИТА ПАРМСКАЯ И АЛЕКСАНДР ФАРНЕЗЕ СМЫЛИСЬ ВО ФЛАНДРИЮ, ГДЕ НАРОД КЛАЛ НА ЛЮТЕРА.

ТАК ВЛАДЫЧЕСТВО ИСПАНЦЕВ В ГОЛЛАНДИИ НАКРЫЛОСЬ МОКРОЙ ...

ПРИЛОЖЕНИЕ ВТОРОЕ

О «тонком строении» обыденного языка

В химических науках есть термин «тонкое строение». Когда-то господствовала теория, что каждое вещество состоит из одинаковых молекул, как здание из равноценных кирпичей. Например, вода — конгломерат двух атомов водорода и одного атома кислорода — H_2O — и этим все сказано о ней, ибо все молекулы между собой равны. Потом химики установили, что некоторые молекулы несут электрические заряды, что вокруг этих молекул, ионов, сгущается много других. Прежнее представление о веществе, состоящем из множества одинаковых молекул, равномерно натыканных в пространстве, отвергнуто. Вещество образовано облаками молекул и пустотами между ними. Такое строение названо тонким, хотя верней его назвать строением сложным. Простое вещество — вода, оказалось, имеет очень тонкую, то есть очень сложную структуру. В ней трехатомные молекулы слипаются в кучки молекул, в ней — обыкновенной воде — имеются такие сочетания, что больше характерны для льда, а не для жидкости,— молекулярные разновидности льда содержатся даже в паре. Таким представляется ныне сложнейшее строение воды.

Человеческий язык относится к структурам, имеющим гораздо более «тонкое» строение, чем материальные вещества. Он не только состоит из неоднородных словесных образований, но и демонстрирует определенное иерархическое строение. В нем отчетливы слова главные и второстепенные, слова командующие и подчиненные, слова определяющие и дополняющие, слова сильные и слова слабые, слова абсолютно необходимые и необязательные, слова второ- и третьестепенные, привешиваемые к основным, как мелкие украшения и детали. В языке слова сгущаются вокруг основных, вершинных, определяющих своей первенствующей вырази-

тельностью свое окружение — слова, примыкающие к ним, составляющие как бы свиту. Когда тридцать с лишком лет назад в «Новом мире» печаталась моя повесть «Взрыв», Александр Трифонович Твардовский говорил мне, что как имени Господа нельзя произносить всуе, так нельзя частить и словами сильными, они должны произноситься редко, ибо впечатление от каждого из них много больше, чем от десятка обычных, менее выразительных слов. «Мне как-то Фадеев сказал,— говорил Твардовский, указывая, что я напрасно дважды повторил очень сильное слово,— что если ты, Саша, в первой главе трехтомного романа напишешь, что кто-то перднул, то снова этого слова повторять нельзя, ибо и без него вонь пойдет по всем трем томам.»

Неравноценность слов, их иерархическая взаимоподчиненность является не только анатомической картиной современного языка, но отражает его историческое движение: все зарождение и развитие речи выражено в нынешнем взаимодействии отдельных слов и разделов речи. Уверен, что язык возник как указания на вещи, как обозначение вещей. Не столько крик и междометие — импульсивные выражения эмоций — являются началом языка, как именно потребность в различении окружающих объектов. Речь возникла как фиксация многообразия внешнего мира, как выражение его материальной вещности. Все древние слова и словосочетания выражают эту вещную природу языка, составляющую его изначальную сущность и естественное назначение. Слово «речь» в русском языке означает разговор, взаимный обмен словами, а в украинском, сохранившем более древностей, рич — просто предмет, вещь. И в русском раньше для обозначения торжественной речи, что-то показывающей, в чем-то убеждающей, применялось слово «вещать», то есть демонстрировать вещи, изначально лежащие в сути слова. Мы и сейчас говорим об ораторе — он держит речь — и это напоминает об исконном манипулировании вещами. А вождь племени или шаман выходил к народу увешанный разными предметами — и тем самым держал перед народом очень содержательную речь, хотя не произносил ни звука. Сановник, увешанный лентами или орденами, или современный генерал, забронированный наградными колодками, тоже молча держит перед зрителями речи в их первоначаль-

ном смысле. Слово — обозначение вещи, таково его изначальное историческое значение.

Слово существительное в силу этого является не только формально первой частью в современной структуре языка, но и генетически первой. Именно со слова существительного исторически начинался сам язык. И второй стадией в развитии языка, столь же очевидно, должен был стать глагол, то есть обозначение действия, которое можно совершить с предметом либо которое само совершается в предметном мире. Современному человеку обсервирование окружения куда свойственней, чем активное барахтанье среди предметов. Мы в нашей интеллектуальной взрослости не столько деятели мира, как созерцатели его. Созерцание природы и людей — важнейшая особенность мышления, оно не так толкается о вещи, как пристально вглядывается в них, наблюдает их, отыскивает порядок в их хаотическом мельтешении. Но первобытное мышление, творившее язык, не углублялось во второстепенности, а ухватывалось за самое яркое, самое выразительное, самое важное для понимания мира и искусства обращения с ним. Так совершенствуется язык: фиксация окружающего превращается в речь об окружающем — со словом существительным сращивается глагол.

Интересно, что когда евангелист, философствуя, довольно туманно определил создание мира — «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»,— то Фауст у Гете очень тонко подметил слабость такого словосочетания. Слово «было» явно указывает на присутствие какого-то объекта, и этот объект Слово имелся у такого же наличного объекта Бога, а при дальнейшем рассмотрении эти два объекта оказывались одним нерасчлененным, лишь бытийно существующим и по одному этому непонятным единством. И Фауст смело — в точном соответствии с наставлениями своего духовного отца Иоганна Фихте — приписывает лишь статично существующему Единству действенность, оглаголивает его: «И вижу я деяние вначале бытия». Философский огромный шаг вперед Фауста был, в сущности, упрощенным повторением реального шага, которое совершало историческое развитие любого человеческого языка.

Дальнейшее совершенствование языка характеризуется появлением новых частей речи — прилагательных, наречий и

пр.— дополнительно, с разных сторон рисующих то основное, что дано существительными и глаголами. И чем язык многозначней и богаче оттенками, тем многочисленней в нем черты обсерватизма, наблюдения за миром, а не активного действия в мире. Язык перегружается прилагательными, числительными, наречиями, зоркость наблюдения в нем преодолевает энергию действия. Сколько помню, Паустовский заметил, что одно прилагательное к существительному может позволить себе каждый, два допустимы у таланта, а три разрешит себе только гений. У многих, отнюдь не гениев, речь перегружается прилагательными до того, что превращается в нечто тягучее и трудно воспринимаемое. Еще в «Литературных мечтаниях» В. Белинский иронизировал над мастерами необъятных предложений и аршинных периодов.

Вероятно, поэтому в литературе ныне типична тяга к краткой и энергичной речи, то есть оперированию, как в старых формах языка, в основном существительными и глаголами. Еще Пушкин отдавал им предпочтение перед прилагательными, как, например, в стихах:

Пришел и ослабел, и лег
Под своды шалаша на лыки.
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

либо:

Была пора. Наш праздник молодой
Сиял, гремел и розами венчался
И с песнями бокалов звон мешался...

Еще ясней у Пастернака:

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте;
До сущности прошедших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти...

Я как-то подсчитывал, что у Пушкина преобладание глаголов над прилагательными росло год от года при совершенствовании его мастерства. А у такого современного мастера речи, как Хэмингуэй, на одно прилагательное — это легко проверить — приходится 10—12 глаголов. Еще меньше прилагательных у нашего Симонова — подобный языковый пуризм у него создает явную сухость речи.

Возвращаясь к блатному жаргону, добавлю, что почти телеграфный по «служебной» сжатости и выпуклости, он структурно имеет истоки в нашем собственном изначально-примитивном языке, старательно выделявшем в речи только предметы и действия с ними. Он в этом отношении просто гиперболизирует энергичный примитивизм древних форм. Интеллектуальная бедность роднит его с давно преодоленными способами речи. И, соответственно,— обилием существительных и глаголов — сближает с наиболее модными примитизированными словарями современных писателей. Разница — в интеллектуальной высоте лишь структурно, а не семантически схожих способов изъяснения фактов и мыслей.

Что же до того, что он весь пропитан недоброжелательством, недоверием к людям и издевательством над ними, то это, как я уже указал, прямая функция ремесла, основанного на вражде, злобе и наглом использовании чужих просчетов. Добавлю, что и в любом примитивном человеческом обществе, отнюдь даже не в воровском, но просто атомизированном на самостоятельно живущие группки, на соседствующих, но отнюдь не дружественных хозяйчиков, язык, при помощи которого общались, показывал не взаимную любовь, а взаимное недоверие, подозрительность, прямую вражду. Латинское «Человек человеку — волк» в сущности не острота, не парадокс, а трезвое констатирование общественной реальности. Наше речение: «У соседа пала лошадь. Ну, что мне в этом? А все же приятно!» — из того же порядка моральных характеристик самого общества.

Много лет назад я заинтересовался — как словарное богатство языка рисует нравственный уровень общества, создававшего этот язык? Чего в языке больше — хвалы или ругни? На чем акцентировали свое внимание «звонкие забулдыги-подмастерья народа-языкотворца», выражаясь прекрасной формулой Маяковского. На открывав-

шихся повсюду совершенствах соседей или на их отдельных недостатках? Я тогда наскоро набросал список ругательных характеристик и характеристик хвалебных — и был поражен открывшейся мне картиной нравственного облика «Народа-языкотворца». Ни в коем случае не претендуя на полноту и не выстраивая слова строго по алфавиту и семантическому ранжиру, привожу эти два наскоро составленных списка.

Ругня

Авантюрист
Алкаш
Аллилуйщик
Арап
Архаровец
Аферист

Байбак
Балбес
Бандит
Бездарь
Бездельник
Бздюк
Бесноватый
Бирюк
Болван
Болтун
Бормотун
Босяк
Брехун
Бука
Бурдюк

Вонючка
Ворюга
Ворчун
Вор
Враль
Врун
Выскочка
Вшивка

Гад
Гадина
Гнусь
Говнюк
Головешка с мозгами
Грязнуха
Гундосый

Дебил
Дегенерат
Дерьмюк
Дрянцо
Дрянь
Дурак
Дурило

Живоглот
Живодер
Жид
Жопник

Забулдыга
Задница
Зазнайка
Зануда
Засранец
Зверюга

Идиот

Кат
Кацап
Костолом
Кретин
Курносик
Кусочник

Лапацон
Ленивец
Лентяй
Лизоблюд
Лизун
Ловкач
Лопух
Лжец
Лодырь
Льстец

Мерзавец
Мразь
Мурло

Наглец
Нахал
Невежа
Негодяй
Недоделыш
Недоносок
Недоросль
Недотепа
Несмысленыш
Неумека
Неумеха
Ничтожество

Обжора
Облиза
Обманщик
Оболтус
Обормот
Озорник
Олух
Остолоп

Падаль
Паразит
Параноик
Паршивец
Паскуда
Пентюх
Пердун
Плакса
Плут
Поганец
Подлец

Подлиза
Подлипала
Подлюга
Подонок
Подхалим
Пошляк
Пройдоха
Пролаза
Проныра
Прорва
Прохиндей
Проъвост
Пустобрех
Пустолай
Пустомеля

Разбойник
Разгильдяй
Растяпа
Ревун
Рожа

Самозванец
Сволочь
Серун
Скотина
Слюнтяй
Смерд
Сорванец
Стервец
Сумасброд
Сумасшедший

Тать
Тварь
Тихарь

Трус
Тупица
Тюфяк

Черномазый
Чокнутый
Чувырло
Чудак
Чудило
Чумовой
Чурбан
Чучело
Чушка

Урод

Фармазонщик

Хам
Ханыга
Хапуга
Харя
Хвастун
Хитрован
Хитрюга
Хлюст
Хлюпик
Хмурчик
Холоп
Холуй
Христопродавец
Хулиган

Шарыга
Шваль
Шельма

Шептун	Шибзик	Шпендрик
Шерамыжник	Шлюха	Шустрик

Уверен, что этот список можно значительно пополнить. Конечно, многие слова представляют обыкновенное название вещей (чучело, скот), но они уже давно наряду с обычным своим значением приобрели второй смысл ругательных и обидных выражений.

Совсем другую картину показывает — тоже крайне неполный — словарь добрых слов и прекрасных характеристик. Их, прежде всего, несравненно меньше.

Добряк	Милок	Святой
Дорогуша	Милый	Смельчак
Душка	Миляга	Солнышко
Желанный	Красавец	Трудяга
Здоровяк	Мудрец	Труженик
Ласковый	Нежный	Хороший
Любимый	Работяга	Умелец
Любомудрый	Родной	Умница

Естественный вывод из написанного: ругни в словаре больше, чем похвалы, и она разнообразней и ярче хвалебных слов. Еще важное отличие: ругали человека в целом, то есть охаивали существительным,— всего сразу опорочивали. А хвалили чаще прилагательными (умный, хороший, милый, добрый, ласковый), то есть хорошее в человеке признавали только частью его, свойством, а не целостностью. А если и хвала давалась как целостность личности, то невольно в имя существительное вкрадывалась ирония, какой-то оттенок сомнения: умник — от умного, милок и миляга — от милого, добряк — от доброго, дорогуша — от дорогого и т. д. Как если бы хвалящий остерегал себя от твердого утверждения того, что в принципе достойно хвалы. Совсем иное отношение к тому, что хулится: словарь для осуждения применяет только утвердительный, только категоричный, только существительными (дающими общую характеристику личности), а не отдельные свойства и частные черты. Человечество развивало свой язык, гораз-

до чаще охаивая своих членов, чем восхищаясь ими. Возможны два объяснения такого явления:

1. Недостатков у людей много больше, чем достоинств, потому и слов, характеризующих недостатки, тоже больше.

2. Отрицательного у людей не больше, чем положительного, но недостатки воспринимаются очень болезненно, а достоинства считаются нормой — почему язык и концентрирует свое внимание на выпадении из нормы, то есть на недостатках, а не на нормальных достоинствах. В этих двух толкованиях могут найти для себя питательную основу морализующие пессимисты и оптимисты. Иначе говоря, при одном толковании народ по анализу своего языка низвергается до подонства, а при другом — возвышается до святости. Разумеется, это крайности теоретического толкования, а не разумная констатация реальности.

Зато блатной жаргон со своей исконной недоброжелательностью к людям продолжает именно в пессимистическую сторону древнюю ругательность языка. Острую критику человеческих недостатков, типичных для первых стадий языка, блатной доводит до ненависти к людям, до презрения и отвержения, до отрицания у них всего доброго. И еще важное отличие: в историческом развитии языка недоброжелательство постепенно смягчается, общая ругань вырождается в частную критику, и сами ругательные словечки из высокоактивных и бытовых становятся реликтовыми, употребляются все реже. Ничего подобного не наблюдается в блатном жаргоне. Ненависть и недоброжелательство в нем не смягчаются. И не могут смягчаться: это противоречило бы природе ремесла, которое должен обслуживать порожденный этим ремеслом жаргон. Для примера можно привести и такую важную особенность блатного языка. В тюрьмах и трудовых лагерях заключенные должны трудиться. Труд, хотя и полезный для них самих (все же дает некоторый денежный заработок и сокращает срок отсидки), по природе своей — насилие, со всеми свойствами принудительности. И блатной язык точно реагирует на характер этого нежеланного труда: для обязательной работы имеется всего несколько общих словцов — трудяга, труженик, работяга. Но для отлынивания от нее созданы десятки разнообразных слов — и каждое точно выражает особый способ этого отлынивания.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ЛАГЕРНО-ВОРОВСКОГО ЯЗЫКА

А

АКТИРОВАТЬ	Освобождать от работы. Актированная погода — нерабочая из-за бури либо мороза.
АТАНДЕ	Сигнал опасности. Берегись! Смывайся.

Б

БАБКИ	Деньги. Они же — правда, реже — творог.
БАБОЧКА	Галстук. Он же селедка, которая также сабля.
БАКЛАН	Хулиган.
БАЛАБАС	Сало.
БАЛАНДА	Скверный суп. Плохая жидкая еда вообще.
БАЛДА	Луна.
БАЛДОХА	Солнце.
БАЛОЧКА	Базар, толкучка.
БАН	Вокзал.
БАНДЕРОЛЬ	Пачка денег.
БАНДОРЬ	Содержатель притона.
БАРЫГА	Спекулянт, скупщик краденого
БАТЯ	Пожилой мужчина. Оттенок уважения.
БАЦИЛЛА	Многозначное словцо. Чаще — масло, сало, жиры, вообще — питательная пища. Но также выгодное дело. И одновременно — туберкулезник.

БЕГАТЬ	Воровать, но также покупать, купить для воровства. И еще — идти. Побежим — пойдем.
БЕГАТЬ ПО СОННИКУ	Воровать в ночное время у сонных.
БЕГУНКИ	Тапочки.
БЕРДАНА	Передача.
БЗДЕТЬ	Бояться. страшиться. Типичное речение: он ее тянет, а она его бздит (он ее ругает, а она его боится.)
БИКСА	Проблядь. В принципе — блядь, с оттенком пренебрежения.
БИТЫЙ	Опытный, наученный жизнью. Оттенок уважения. Битый фрей — фрайер, умеющий за себя постоять, знающий воровской закон и сам на рожон не прущий.
БЛАТНОЙ	Лагерное наименование воров. Между собой воры не употребляют этого слова. Вор у них словцо почетное, блатной, блатяк — нет.
БЛАТЯК	Презрительное наименование воров у лагерных придурков.
БЛЯДЬ	Женщина легкого поведения, но не проститутка. Нейтральный термин. По отношению к мужчине оттенок ругательства, по отношению к женщине — нет.
БЛЯДЬ БУДУ	Честное слово! Ей богу!
БОБКА, БОБИК	Рубашка.
БОБР	Зажиточный фрайер. Завидный объект для облапошивания.
БОЙ	Карты, они же колотье и стыри.
БОКА	Часы. Они же бочары, бобичи, бобочки.
БОТАЛО	Язык.

БОТАТЬ	Говорить, ботать по фене — говорить на воровском жаргоне.
БОЦАТЬ	Плясать.
БРАТЬ МЕТРО	Рыть подкоп.
БРАТЬ НА ОТТЯЖКУ	Запугивать криком, грозным видом, но без рукоприкладства.
БУГОР	Бригадир на лагерных работах.
БУКЕТ	Внушительный набор статей уголовного кодекса.
БУРКАЛЫ	Глаза. Они же гляделки и полтинники. Оттенок пренебрежения — выпятил буркалы.
БУХАРИТЬ	Выпивать.
БУХАРЬ	Пьяница.
БУХОЙ	Пьяный.
БУШЛАТ	Ватное короткое пальто без воротника, либо с намеком на него.
БЫТОВИК	Лагерник, осужденный по бытовым статьям УК.
В	
ВАНТАЖ	То же, что и кураж. Прибыль, материальное процветание.
ВАНТАЖИСТ	Карточный умелец, выигрывающий у всех. Если и шулер, то такой, что и не поймать. Удачник.
ВАСЕР	То же, что и шухер. Тревога, опасность со стороны милиции.
ВЕК СВОБОДЫ НЕ ВИДАТЬ!	Божба. Ближе всего — ей богу!
ВЕЛИК	Велосипед.
ВЕРТЕТЬ	Воровать. Отвернуть — украсть.
ВЕРТУХАЙ	Надзиратель в коридоре тюрьмы.
ВЕРХА	Наружные карманы, в том числе и брючные.
ВЗЯТЬ КАБУР	Пробить в стене отверстие.
ВИНТ, ВИНТОРЕЗ	Винтовка.

ВКАЛЫВАТЬ	Работать на тяжелых работах. То же, что лахать, но пахать звучит уважительней и работа, как правило, не из тяжких.
ВОДЯРКА	Водка, она же Ханка.
ВОЛОКЕМ	Несем. Волокем темного кишмалу на яму ямщику — несем добычу на квартиру, где принимают ворованное. Речение — только у профессионалов воровского промысла.
ВОР	Нормальное наименование профессии. Соединяется с многочисленными дополнениями. Только для тех, кто начал воровать на воле, а не в лагере. Профессионал. Никакого ругательного оттенка. Скорей — звание.
ВОР АВТОРИТЕТНЫЙ	Уважаемый вор, с мнением которого считаются все прочие воры, включая и тех, кто сам имеет в услужении шестерок, и в обучении сявок и огольцов. Если он и пожилой, то называется почтительно паханом.
ВОР ВЗРОСЛЫЙ	Опытный профессионал. Умеет самостоятельно вести воровские дела.
ВОР ПОЛУЦВЕТНЫЙ, ВОРОВСКАЯ ПРИСТЯЖЬ	Вор, еще не знающий всех воровских законов — подмастерье, а не мастер.
ВОРОЧАТЬ	Переносить, таскать. Шутка: майданы на бану ворочать
В РОТ МЕНЯ...	Тоже божба. Ближе всего — ей богу!
ВОШЛЯКИ	Они же мандовошки. Лобковая вошь.
ВОСМЕРИТ, ВОСМЕРОЧНИК	Симулирует сумасшествие, симулянт.
ВОЯКА, ВОЯК	Военный человек. К сотрудникам НКВД в военной форме не относится.
ВСЮ ДОРОГУ	Непрестанно, постоянно, все время. Вероятно, отражение этапного бытия.

ВУСМЕРТЬ КАТАТЬСЯ	Высшая степень удовлетворения: нажраться, напиться, нахохотаться.
ВЫВЕЛ НА ПЕРЕЛОМЕ	Вытащил наполовину (из кармана, из заначки).
ВЫКУПИТЬ	Украсть из кармана.
ВЫТЕРКА	Железнодорожный билет.
ВЫШКА, ВЫШАК	Высшая мера наказания — смертная казнь.
ВШИВКА ВШИВЫЙ ПОНТ, ФУРМАНА	Бедняк, оскудевший, безденежный.
ВШИВЫЕ	Народу мало, все безденежные.

Г

ГАД	Милиционер.
ГАДИЛЬНИК	Отделение милиции.
ГАРАНТИЯ	Гарантированное довольствие заключенного, не создающего себе приработка трудом. Скудный паек — шестьсот граммов хлеба и один раз в день баланда для тех, кто отказывается от работы в тюрьме или лагере, либо систематически не выполняет нормы.
ГЕНЕРАЛ	Сифилис.
ГЛОТНИЧАТЬ	То же, что тянуть. Орать. Надрывать глотку.
ГЛЯДЕЛКИ	Глаза. Также буркалы и полтинники.
ГОВОРИТЬ С ПОНТОМ	Обманывать, забивать баки. Заведомая неправда. Прямое значение — беседовать с кучкой людей.
ГОЛЬЕ	Деньги. Еще мазута, творог, а также гроши.
ГОРБУШКА	Полновесная порция хлеба. Пайка что надо. Получать горбушку — высшая мера рабочего довольствия.
ГОЛУБЯТНИК	Мелкий вор белья с чердаков.

ГОСПОДА УДАВЫ! ГОСПОДА ВОЛКИ! — Дружеское обращение к товарищам.

ГРОБ — Сундук.

ГРОШИ — Деньги.

ГУДОК — Задница, он же туз.

ГУЖЕВАТЬСЯ — Ублажать себя. Гужуюсь от пуза — по горло удовольствий.

Д

ДАВИТЬ ЛИВЕР — Наблюдать. Оттенок высокомерия и превосходства, а не простой внимательности. Иногда ирония, смешанная со злорадством.

ДАВАТЬ ДУБАРЯ — Умереть.

ДВОЙНЯ, ДВОЙНИК — 20 рублей.

ДЕЛАТЬ — Резать человека. Заделали — зарезали.

ДЕКАН, ДИКАН — 10 рублей.

ДЕРЕВЯННЫЙ БУШЛАТ — Гроб. Натянуть на плечи деревянный бушлат — помереть.

ДЕСЯТИМЕСТКА — Раньше 100 рублей. Тоже — десятник. Воры устойчиво считают на червонцы, когда их в обычном хождении уже не было.

ДЕШЕВКА — Одно из многочисленных названий проституток, характеризующих разные особенности их профессии. К ним относятся — шалавы, шалашовки, биксы и пр. В данном случае — пренебрежение, в других названиях этого нет, хотя воры мало уважают своих подруг.

ДИКАЯ ИНДИЯ — Собрание доходяг. Они же фитили и огни. Сборище, где «вечно пляшут и поют». Обычно без сочувствия к бедствующим. Ироническая констатация факта.

ДОМАШНЕЧКА	Местная, не залетная воровка. Добрый оттенок.
ДОМУШНИК	Он же скокарь и слесарь — специалист по ограблению квартир, где нет хозяина, а на двери висит замок.
ДОХНУТЬ	Спать с кем-то в одном бараке.
ДОХОДЯГА	Обессиленный, готовый отдать концы. Словечко, ставшее общелитературным. Во многие годы нашей истории слишком уж распространено было явление, обозначавшееся этим словом.
ДРАЙКА	Трешка.
ДРЮКАТЬСЯ	Соскакивать, прыгать. Дрюкнулся с ходу — соскочил на ходу поезда или машины.
ДРЫН	Палка, но чаще дубина. Отдрыновать — отделать дубиной.
ДУБАК	Сторож магазина или склада.
ДУБАРЬ	Мертвец.
ДУДЕРГА	Винтовка или ружье.
ДУЕТ	Не профессиональный осведомитель, но добровольный доносчик — чаще всего из тех, что бегут извещать о краже.
ДУРА	Ручное огнестрельное оружие. Оно же волына.
ДУРКА	Женская сумочка-ридикюль. Разбить дурку — открыть сумочку.
ДУХАРИК	Разбитная голова, смельчак, отчаянная натура — из тех кому море по колено и в трезвом состоянии. Обычно народ не только смелый, но и истеричный. Всегда легок на драку.
ДЫМОК	Курево. Все виды папирос, а также табак. Нет ли дымка?— одолжи табачку.

Е

ЕБАЛЫ	Губы.

ЕБАЛЬНИК — Рот. Он же хавальник.

ЕБАТЬ — Мучить. в общежитейском смысле применяется очень редко, Для обозначения полового сношения употребляются словечки: перепихнуться, запистонить, пошворить, попхать, употребить, загнать дурака под кожу, а всего чаще оформить и задуть. Зато нормальны фразы: заебу на общих (замучаю на тяжелых работах), ебать мозги (задуривать), пурга ебет (ужасная метель с морозом), заебла попа грамота (перемудрился) и т. д.

Ж

ЖЕЛЕЗКА — Железная дорога.

ЖЕНА — Чаще всего — сожительница, которой помогают материально. Профессиональные воры нормальных семей не заводят — не до того. Семья — большое препятствие для успешного ремесла.

ЖОПНИК — Он же очко. Задний карман на брюках.

З

ЗАБИТЬ ВЕРХА (ИЛИ ОЧКИ) — Карманы заколоть булавкой.

ЗАБУРИТЬСЯ — Тоже — буранулся. Не выйти на работу, самовольно остаться в лагерной зоне.

ЗАГНУТЬСЯ — Погибнуть, умереть.

ЗАДЕЛАТЬ — Зарезать.

ЗАДУТЬ — Всунуть. Термин не только для интимных дел.

ЗАЖАТЬ — Скрыть, утаить что-либо.

ЗАДЕЛАТЬ МАКЛИ — Переодеться, замаскировать обличье.

ЗАКОН	Строгие правила воровского поведения. Те, кто в «законе», не занимают административных должностей в тюрьме и лагере, не делают ничего, что могло помешать бы лагерным делам. Альтернатива вору в законе — сука или ссученный. Вор в законе — чеснок или чесняк. Борьба чесноков и сук за власть в лагере и за командование бытовиками является драматической главой истории Исправительно-трудовых лагерей НКВД. В заводских и строительных лагерях верх брали суки, на лесоповале и сельских лагерях — чесноки. И это были самые страшные лагеря.
ЗАКОСИТЬ	То же, что зажать, но только от своих. И, как правило, не свое, а уворованное или полученное от других.
ЗАЛЕПИТЬ СКОК	Обокрасть квартиру. Примерно однозначно — застукать ховиру.
ЗАЛЕТНАЯ ШАЛАВА	Проезжая воровка. Гастролер.
ЗАЛОЖИТЬ	Предать, выдать. Свою вину свалить на другого.
ЗАЛЫСИТЬ	Проиграть. То же, что попасть: попал в непонятное.
ЗАМАЗКА	Проигрыш, потеря. Остался в большой замазке — крупно проиграл.
ЗАМЕСТИ	Забрать, удалить, отправить подальше. Замести на этап, замести на общие — удалить по этапу, направить на тяжелые работы.
ЗАНАЧКА	Укромное место. Часто и сама утайка. Слово стало общенародным.
ЗАНАЧИТЬ	Утаить — в смысле сохранить, а не уворовать. Заначивают свое, а не чужое.
ЗАПАРКА	Поспешность. По запарке — ошибка, вызванная поспешностью.
ЗАПИСКА	Письмо. (Не смешивать с пиской).

ЗАПОЛО-СКАТЬ БУХАРЯ	Обокрасть пьяного.
ЗАПОРОТЬ, ЗАДЕЛАТЬ	Зарезать человека ножом, но не размозжить голову и не застрелить. Впрочем, второе словцо — заделать — иногда употребляется и в общем смысле — убить.
ЗАТУРИТЬ	Подавить, оттеснить, заставить стушеваться. Примерно в этом же смысле и словечко затуркать.
ЗАЯЦ	Трус.
ЗВЕРЬ	Восточный человек. Предпочтительно кавказец, а не из Средней Азии.
ЗВОН	Шум, сплетни, слухи. Звонить — разглагольствовать и сплетничать.
ЗЕКА, ЗЕКИ	Заключенные. Делятся на блатных, воров и «пятьдесят восьмую» (политики)
ЗИМА	Одно из многочисленных названий ножа.
ЗМЕЯ	Пояс. Иногда — поезд.
ЗОЛА	Она же локш. Плохое, не стоящее внимания.
ЗОНА	Огороженное место работы или обитания. Промзона. Лагерная зона зовется просто зоной и различается по номерам (первая зона, вторая, третья...)
ЗУБР	Очень важная лагерная особа. Выше лорда. Придурок высокого производственного или административного чина. И не из воровского кодла, а «пятьдесят восьмая», гораздо реже — бытовик. Такого и комендант зоны за шиворот не схватит.
ЗЫРИТЬ	Глядеть.

И

ИЗ БРЯНСКОГО ЛЕСА — Ни от кого. Письмо из Брянского леса — письма нет. Волк из Брянского леса тебе товарищ — нет у тебя товарища.

ИМЕЮ ДЕСЯТНИК — Выиграл сто рублей.

К

КАБУРНУТЬ — Пробить стену, сделать отверстие.

КАЗАЧИТЬ — Раздевать, обирать, грабить. Казачнули фрайера — обобрали человека.

КАНАТЬ — Убегать. Сильное слово, требующее немедленного действия или описывающее такое действие. Канали на пару с Петькой с кичмана — удирали вдвоем с Петькой из тюрьмы. Канаем посадку держать — идем воровать пассажиров при посадке в поезд, канаем работать по мокрому — идем на грабеж с убийством.

КАНДЕЙ — Он же пердильник. Карцер. Штрафной изолятор — шизо.

КАНДЫБА — Хромой.

КАНТОВАТЬСЯ — То же, что филонить. Увиливать от труда. Пренебрегать работой.

КАНТОВЩИК — Иначе — филон. Уклоняющийся от работы, но не открытый отказчик, а хитро избегающий дела. Однако, не прямой лентяй. Иногда хорошая кантовка требует больше труда и стараний, чем работа.

КАПТЕР — Заведующий материальным складом — каптеркой. Каптеры бывают — хлебные, вещевые, продовольственные, горюче-смазочные. Каптер в лагере — вельможа, герой и первый любовник. Простячки и биксы жаждут связи с ним.

КАРЗУБЫЙ	Беззубый, лишенный нескольких передних зубов.
КАТАТЬ, КАТИТЬ	Играть в карты.
КАТРАНЬ	Притон для игры в карты.
КАТУШКА	Максимальный срок наказания, полагающийся по предъявленной статье. Навернули на всю катшку, дали всю катушку — получил максимальный срок.
КАЧАТЬ ПРАВА	Выяснять отношения. Разоблачать. Допрос товарища с большим пристрастием, обычно шипом или ором. Но иногда и с ножом в руках. Качают права только воры в законе и только у своих. Однажды в нашем бараке так качали права, что обвиняемый в неистовстве опроверг древнюю пословицу — укусил себя за локоть.
КВАРТИРА	Камера.
КИМАРИТЬ	Спать. Покимарить — поспать. Кимарнул — поспал.
КИР	Пьянка. Кирять — выпивать. Пьянка несколько крупней, чем бухара. Но иногда и наоборот: бухарить сильней, чем кирять.
КИЧМАН	То же, что кича. Тюрьма.
КЛАСТЬ	Пренебрегать. Положил на него — плевал на него.
КЛИФТ	Пальто, иногда пиджак. Вообще — мужская верхняя одежда.
КЛЮКА	Церковь. Клюкарь, клюкушкин — грабитель церкви.
КНАЦАТЬ	Смотреть, глядеть, наблюдать, приглядываться — важная операция воровского ремесла, она описывается многообразием слов. Иногда применяется и довольно странный глагол — ливировать. Давить ливер — наблюдать. Еще чаще похожее словечко — кнокать. Также и зырить.

8 Зак. 3931

КОБЕЛ	Женщина, играющая мужчину в лесбианском действии. Так же — баба с яйцами, мужик в юбке. У мужчин явное недоброжелательство к коблам, но и признание их самостоятельности. Они что-то среднее между уважаемой бабой и мало уважаемым мужиком.
КОБЫЛКА	Веселое сборище. Кобылка ржет — компания хохочет.
КОВАЛЬ	Одноногий.
КОДЛО	Воровская компания. Из «своих в доску».
КОЛЕСА	Сапоги, иногда — ботинки. Аналогично — чеботья. Они же лопаря и прохоря.
КОЛОТЫЙ БОЙ	Крапленые карты.
КОЛОТЬЕ	Карты. Они же колотушки, бой, стыры.
КОМЕЛЬ, КЕМЕЛЬ	Кепка, фуражка. Так же комелюк.
КОМСЮК, КОМСЮЧКА	Комсомолец, комсомолка.
КОМЕНДАНТ	Заключенный — надзиратель лагерной зоны. Важнейший из сук. Лагерный аристократ.
КОНДЮК	Кондуктор на железной дороге.
КОНЬ	Веревка, при помощи которой передают из камеры в камеру еду и записки. Иногда — повело.
КОПЫТО	Нога. Чо-то презрительное — в смысле глупый. В этом последнем значении также фанера, олень, сохатый, фофан.
КОРЕШ, КЕРЯ	Товарищ, друг. Слово стало общенародным.

КОРОВА	Человек, которого берут в дальний побег, чтобы в дороге съесть. Соответствующий термин — побег с коровой.
КОРОЧКИ	Туфли.
КОСАЯ, КОСУХА, КОСЯК	Тысяча рублей. Иногда кусок или штука.
КОСИТЬ	Утаивать от своих деньги или вещи. К утаиванию сведений не относится.
КОСЯК	Русская рубаха — косоворотка. Также косой карман в «москвичке» или другой одежде.
КОТ	Сутенер.
КОТЕЛ, ЧУГУН С ЛАПШОЙ	Часы карманные простые.
КОТЕЛ РЫЖЫЙ СО ЗМЕЕЙ	Часы карманные золотые с цепочкой.
КОТЫ	Валенки вообще, чаще — укороченные валенки.
КОШАРЬ	Он же сидор. Мешок, котомка.
КРАСНУШНИК	Вор, вскрывающий товарные вагоны или взламывающий их на ходу.
КРАСЮК, КРАСЮЧКА	Красивый человек. Оттенок пренебрежения.
КРАХ	Нищий.
КРИЧАТЬ	Говорить. И как правило — не громко. Мне как-то сказал сосед по бараку: «Я Варьке (это был мужчина) тихо кричал на ухо, понял!»
КРУТАНУТЬ	Забрать. То же, что прихватить. Крутануть с делом — забрать с поличным.

КСИВА	Документ. Ксиву ломают — проверяют документы. Также липа, очки, шпаргалка.
КУБЛО	Постель, место для ночлега.
КУКЛА	Подделка вещи, в основном пачек денег, консервов, ткани и пр. Ловко сработанный муляж товара.
КУЛЬТУРУ ХАВАТЬ	Читать книгу.
КУМ	Оперуполномоченный — тот, кто сватает со статьей УК. Куманек бревноватый, зря бабки получает — посмеиваются над неопытным оперуполномоченным. Еще их именуют оперсосами.
КУРАЖ	Материальный успех, процветание, довольство. В куртажах — с прибылью.
КУРОЧИТЬ	Растаскивать по частям, грабить, уносить добытое.

Л

ЛАКШАТЬ В СТИРЫ	Играть в карты.
ЛАПА	Взятка. Лапочник — взяточник.
ЛЕПЕНЬ	Он же лепеха, лепня. Костюм.
ЛЕПЕШНИК	Сотрудник «органов», берущий у воров взятку.
ЛЕПИЛО	Медработник. Санлепило — старший врач, начальник санчасти. Лепушок — младший врач. Лепком — санитар фельдшер (не лекпом, а лепком!).
ЛЕПИТЬ	Придумывать, привирать. Лепить от фонаря — нести явную ложь. Но не просто нудно и уныло врать, а стройно сочинять. Обязательный элемент убедительности, временами вдохновенной увлеченности собственным враньем.
ЛЕТУН	Летчик.
ЛИНЯТЬ	Уходить, скрываться. Линяй!— уходи. Эквивалент — смываться.

ЛИПА	Фальш, подделка, обман. Примерно, то же, что и туфта, но туфта — выше рангом, обобщенней.
ЛИТЕРКА	Она же шестерня. Холуй, прислуга на побегушках.
ЛИЧИТ	Подходит к делу, соответствует облику.
ЛОБ	Он же реже — хобот и хоботяга. Здоровый, физически крепкий, нестарый мужчина. Из тех, кто умеет использовать свою силу для безделья. Не очень уважаемая, но заметная фигура всякого энкаведистского лагеря. Что до натурального лба, то он у лбов невысокий и неширокий — с поясок.
ЛОКШ	Плохая одежда. В принципе локш — дрянцо.
ЛОПАТА, ЛОПАТНИК	Бумажник, иногда — портмоне.
ЛОПАРЯ	Они же прохаря. Сапоги.
ЛОРД	Важный заключенный. Либо придурок высокого чина, либо ответственный работник на лагерном производстве, в общем, тот, с кем комендантам и нарядчикам приходится считаться. Правда, пониже и пожиже зубра — тот тоже лорд, но крупней.
ЛЮСТРА	Зеркало.
ЛЯГАВЫЙ	Милиционер, сыщик.
ЛЯРВА	Она же — оторва. Блядь, но плохая, хуже простячек. Женщина — хуже некуда.

М

МАГАЗУШНИК	Мастер обворовывать магазины.
МАЙДАН	Поезд.
МАЙДАННИК	Поездной вор.
МАЛИНА	Воровской притон. Синонимы — ховира, хата, хаза.

МАЛЬЧИК	Ключ.
МАЛЬЦЫ	Пальцы.
МАНДЕР	Вор, уводящий фрайера в местечко, где ждут грабители. Проститутка мандрует, уводя фрайера к «своим в доску».
МАНДРАЖ	Дрожь, озноб. Мандраж пробирает — холодно, бьет озноб.
МАНДРО	Хлеб.
МАНТО	Всякое женское пальто.
МАРКА	Трамвай.
МАРОЧКА	Носовой платок.
МАРЬЯЖИТЬ	Завлекать мужчину, чтобы обмануть. Марьяжный фрайер поддающийся обману. Подмарьяжить фрайера — подманить и оплести глупца. Марьяж — лживое согласие на близость. Но иногда и искусственно созданная выгодная близость.
МАРЬЯНА	Женщина. Без особых уточнений — всякая.
МАСЛИНА	Пуля.
МАСТЫРКА	Фальшивая рана или ложное заболевание, дающее возможность уклониться от работы. Также — небольшое реальное ранение или легкая хворь, специально приобретенная для той же цели. В лагере на приобретение мастырок иногда затрачивают больше труда, чем стало бы на работу, от которой «замастыриваются».
МАСТЫРЩИК	Мастер изготавливать разнообразные мастырки. Высоко уважаемая и хорошо оплачиваемая специальность. Особенно ценятся эферюги — мастырщики ксив и фальшивых талонов на продукты, одежду и курево.
МАХЛЕВАТЬ	Обманывать. Сбивать с панталыку.
МЕДВЕДЬ, МЕДВЕЖОНОК	Сейф. Несгораемый шкаф.

МЕДВЕЖАТНИК	Взломщик сейфов и несгораемых шкафов.
МЕЛОДИЯ	Милиция.
МИЛИЦИЯ	Вообще всякая администрация, в том числе тюремная и лагерная. Но для разных должностей администрации, особые назваиия.
МОЙКА	Оиа же письмо.
МОЙЩИК	Вор деиег у спящих иа вокзале и в поезде.
МОКРУШНИК	Вор—убийца. Вообще тот, кто идет на «мокрое дело».
МОЛОДЯК	Юноша.
МОСКВИЧКА	Ватное полупальто с косыми карманами и воротником. Лагериый шик. Любимая одежда каптеров и комендантов.
МОХНАТКА	Женский половой оргаи.
МУЖ	Сожитель, который материально помогает своей подруге. Противоположное понятие — кот.
МУЖИК	Фрайер—работяга или черт-работяга. В слове чувствуется уважение, ииогда даже почтеиие: «Ну, он — мужик!»
МУРЛО	Лицо.
МУСОР	Он же мусорило, мусоренок, старший мусор — изваиия для милициоиеров, дежурных и старших надзирателей.

Н

НА БАН ЗМЕЯ ПРИКАНАЛА	На вокзал поезд пришел.
НАБОЙЩИК	Помогающий спекулянту сбывать вещи.
НАДЫБАТЬ	Найти, нащупать. Надыбать слабинку — отыскать уязвимое место.

НАКЛАДКА	У шулеров колода карт.
НАКРЫВАТЬСЯ	Кончаться. Погибнуть. Накрылся мокрой...— попал в безвыходное положение, все потерял, пропал.
НА ПАРУ	Вдвоем.
НАРИСОВАТЬСЯ	Появиться, показаться.
НАРЯДЧИК	Человек, выводящий бригаду на работу. У каждой производственной бригады заключенных свой нарядчик. Нарядчик — важный лагерный придурок следующий по значению после каптера и коменданта.
НАСУНУТЬ	Забрать, украсть, увезти.
НА ЧИСТЯК	Полностью, до конца. Совершенно, начисто, намертво. Завалить на чистяк — зарезать насмерть.
НАТУРА ЧОКНУТЫЙ	Психически больной.
НЕПОНЯТНОЕ	Затруднительно положение. Неприятная неожиданность: попал в непонятное — нахожусь в стесненных обстоятельствах. Философская категория, охватывающая девять десятых мира воров. Формула: чего не принимаю, того не понимаю. Гносеология неандертальского Канта, а в философии воры дальше неандертальцев не двинулись.
НАХАЛКА, НАХАЛОВКА	Выгодное начальству ложное обвинение: Что ты мне, начальничек, нахаловку шьешь?
НЕ СВЕТИТ, НЕ ЛИЧИТ	Не проходит. Не удается. Не соответствует. Весьма многозначное междометие. Удовлетворение. Одобрение. Похвала. Возражение. Легкомысленное отрицание. Ближе всего: пустяки! Будет в порядке! Молодец! Вот еще скажешь! Не волнуйся! Не расстраивайся! Содержание определено интонацией, которая для этого словца, как и для всех междометий, очень многообразна.

НОГИ	Пропуск для бесконвойного хождения вне лагерной зоны. Получил ноги — выдали пропуск.
НУТРЯК	Внутренний замок.

О

ОБВИНИЛИ	То же, что землянули. Выгнали из воров за поступок, нарушающий «закон».
ОБЖАТЬ	Выклянчить, выпросить. Обжал на пару — выпросил два рубля.
ОБЕЗЬЯНКА	Фотография для паспорта.
ОБРУЧИК РЫЖОЙ	Золотое обручальное кольцо.
ОБЩИЕ	Общие работы, то есть не требующие специальной выучки. Обычно тяжелый ручной труд на лесоповале, копание земли, переноска грузов и т. п.
ОГНИ	Злостные отказчики от работы. Огонь, также — доходной, доплывающий. Физически ослабевший, отощавший. Другое название — фитиль. Доходяга высокой степени.
ОГОЛЕЦ, ОГОЛЬЧИХА	Вор—мальчишка. Воровка—девчонка.
ОЛЕНЬ	Человек северной национальности — ненцы, долгане, нганасане, саха, якуты и др. Также — дурак, недотепа.
ОПЕРАЛ	Он же опер и кум. Оперуполномоченный. Иногда презрительно — оперсос.
ОПУПЕТЬ	Изнеможение. Страшная усталость. Ошеломление.
ОРЕЛ	Сердце. Дам пером в орла — ударю ножом в сердце.
ОТ ПУЗА	Досыта, по горло.

ОТВАЛИВАТЬ — Уходить.

ОТВЕРТЧИК, ВОЗУШНИК — Вор в магазине с прилавка. Вор на базаре с возов.

ОТКАЗЧИК — Лагерник, отказывающийся идти иа работу. Такие «сидят на гарантии»— минимальиом (кроме карцерного, тот бывает еще меньше) продовольствениом пайке.

ОТВОД — Отвлечение внимания. Важиая операция при воровстве. Сявкам ее не поручают.

ОТМАХИВАТЬСЯ — Обороияться.

ОТРИЦАЛОВКА — Сообщество воров на «штрафиике». Группа отказавшихся работать, но тем не менее выводимых под усиленным конвоем на особо тяжелые работы. Обычно — обитатели ШИЗО.

ОТМАЗАТЬСЯ — Отыграться в карты.

ОЧКАРИК — Мужчииа в очках.

ОЧКИ ЛОМАТЬ — То же, что ксивы ломать. Проверять документы.

ОЧКО — Задний карман иа брюках.

П

ПАДЛО — Что—то среднее между падалью и подлецом. Ругань относится только к людям.

ПАЙКА — Она же птюшка, птенчик. Порция, паек. Ежедиевная выдача. Чаще всего относится к хлебу.

ПАРАША — Деревянное ведро для оправки в тюремных камерах и бараках строгого лагерного режима — например, каторжных. И совсем другое — с презрительным оттеиком: слух, сплетня, недостовериое известие, чаще всегополитического, реже — общелагерного характера.

Раньше такие известия назывались радиопарашами, потом просто парашами.

ПАРАШУТ — Шляпа.

ПАХАН — Пожилой вор из авторитетных. Хранитель и знаток воровского закона. Мнение пахана спрашивают во всех сложных воровских проблемах. Часто, но не обязательно — руководитель шайки.

ПАХАТЬ — Работать. Слово уважительное. Относится к любому виду работы, которая совершается не из—под палки. Где пашешь?— где трудишься? Вообще к крестьянству воры относятся уважительней, чем к рабочим, особенно к горнякам. Возможно — наследие старины и особенно эпохи раскулачивания, превратившее многих малышей из детей сосланных в воров и грабителей.

ПАЦАН, ПАЦАНКА — Мальчик, юноша. Девочка, девушка.

ПЕРДИЛЬНИК — Карцер, ШИЗО.

ПЕРДЯЧИЙ ПАР — Ручная тяжелая работа. Идти на пердячем пару — работать без механизмов.

ПЕРЕЕСТЬ ПЛЕШЬ — Смертно надоесть.

ПЕРЕПИХНУТЬСЯ — Совершить коитус.

ПЕРЕТЬ — Орать с нажимом на психику. Давить, запугивать, в общем — тянуть, оттягивать.

ПЕРО — Нож.

ПЕС, ПСЫ — Тюремная либо лагерная охрана. Преимущественно надзиратели, а не вохра — конвойные стрелки, и не попки на вышках.

ПИКА — Заостренный напильник.

ПИСКА	Лезвие бритвы-самобрейки. Писать — резать.
ПИСТОН	Карман для часов на поясе брюк. Но реже и коитус: поставить бабе пистон.
ПИСЬМО	Бритва. Другое название — мойка. Вообще бритва имеет больше названий, чем нож. Но зато применяется реже ножа.
ПОВОЛОКЛО ПО КОЧКАМ	Ряд последовательных неудач.
ПОГОРЕТЬ	Попасться.
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОМУ ПРОКУРОРУ	Бежать из места заключения. Первоначальное значение, вероятно, было бежать весной.
ПОДНАЧКА, ПОДНАЧИТЬ	Поддеть, подзудить, хитро настроить. Иногда — розыгрыш. Словечко давно стало общенародным, хотя проф. Ушаков его не признает. Словари всегда отстают от языка.
ПОДОРВАТЬ	Удрать, убежать, скрыться вовремя. Очень важная профессиональная операция. Умело и своевременно показать спину — воровская доблесть. Здесь свои понятия о рыцарстве.
ПОКАЗУХА	Весьма важный элемент лагерного бытия. Раньше говорили: лагерь держится на трех китах: мате, блате и туфте. Туфта — синоним показухи. Показуха ныне термин всенародный, ибо стала зеркалом общественного бытия. И киты, на которых она фундируется, не изменились.
ПОКАЗУХА РЫЖАЯ С КАМНЕМ	Перстень с бриллиантом.
ПОЛЕВИК	Полевая сумка.

ПОЛТИННИКИ	Глаза.
ПОЛТОРА ИВАНА	Высокий мужчина.
ПОЛУЦВЕТНОЙ	Еще не мастер воровства, не знающий всех воровских законов. Воровская пристяжь. Полувор-полуфрайер, но не загрязненный ссучиванием.
ПОЛШТУКИ	Пятьсот рублей.
ПОМЫТЬ	Украсть.
ПО НОВОЙ	Снова, повторно, опять. Вероятно, от первоначального «попал по новой статье в заключение».
ПОНТ	Группа людей, сборище. Типичное: говорить с понтом у мазина. Большой понт на майдане. Иногда — обман, надувательство, наглое очковтирательство. Мне кажется, второе значение — обман — фрайерское, а не воровское: лексика придурков.
ПО ОДНОЙ	Однажды. Мотивировка, вероятно — попался по одной статье. Вообще воровское «по такому-то» становится народным слововыражением: по-быстрому, по-легкому, по-малому, по-сильному, по-простому, по-доброму
ПОНЯЛ	Чрезвычайно важное словцо в воровской речи. Всего ближе оно передается термином sie, но не исчерпывается им. Для мастеров подтекстов оно было бы незаменимо, ибо всегда обозначает, что в речи подтекст — предупреждает слушателя об ином, тайном смысле фразы. Пошли, понял?— не просто пойдем, а пойдем с целью, кото-

рую нельзя открыто высказать — например, ограбить, убить, свести счеты. У молодого поколения воров «понял» стирается, понемногу превращаясь в паразитное слово. И интонация произнесения этого «понял» (совершенно разные: Что ты, понял! Значит, так, понял?) становятся невыразительными и однообразными.

ПОПАСТЬ	По другому — влупиться. Проиграться.
ПОПАСТЬ В НЕПОНЯТНОЕ	Оказаться в затруднительном положении.
ПОПКА	Он же попугай. Охранник на вышке.
ПОПОЛОСКАТЬ ЗА ГРОШИ	Украсть у сонного.
ПОРОСЕНОК	Он же лопатник или лопата. Бумажник, в частности — туго набитый.
ПОРТ	Портфель.
ПОРЧА, ПОРЧУШКА	Выгнанный из кодла. Нарушивший воровской закон, но не ссученный.
ПОРЧАК	Испорченный фрей, начавший воровать, подделываться под воров, вести их образ жизни. Оттенок презрения.
ПОРЩАК	Он же домашняк, иногда амбал. Вор, живущий дома, не приставший к систематической воровской жизни, ворующий всего 2—3 раза в год.
ПОРЩЕНЫЙ ФРАЙЕР	Иногда — воровская пристяжь. Фрайер, уже судимый и придерживающийся воровской жизни, но еще далекий от профессионализма.

ПОТРОХ	Ребенок.
ПОТЕРПИЛО	Потерпевший.
ПРАВА КАЧАТЬ	См. качать права. Важное и частое занятие воров.
ПРАВИЛЬНО	Здорово, сильно, хорошо, верно. Правильно дал по харе — сильно ударил.
ПРАВИЛЬНЫЙ МУЖИК	Умелый, ловкий, удачливый, сильный, дотошный, надежный.
ПРЕСС	То же, что бандероля. Пачка денег.
ПРИДУРИТЬСЯ	Уклониться от общих тяжелых работ, выпроситься в «тепло». Настоящему вору можно придуриться только на технических либо подсобных работах, не связанных с командованием над своим братом лагерником.
ПРИДУРОК	Лагерный служащий из заключенных. Всяческая лагерная обслуга.
ПРИПУХАТЬ	Сидеть на своем месте. Затаиться в укромном углу.
ПРИТЫРИТЬ	Заслонить, загородить. Спрятать что-либо.
ПРИХВАТИТЬ	Забрать.
ПРИШИТЬ БОРОДУ	Обмануть, обставить, ловко надуть.
ПРИЩИТЬ ДЕЛО	Обвинить в проступке, в котором неповинен. Вообще, пришить — связать с поступком, к которому не имеешь отношения.
ПРОМОТЧИК	Растратчик. Лагерник, спустивший илн пронгравшнй казенное обмундирование.
ПРОПАЛЬ	Отданная партнеру добыча.
ПРОСТИТУТКА	По отношению к мужчине, иногда и к женщине — очень сильное ругательство. Оскорбление хуже мата: ух ты, проститутка! Для обоз-

	начения профессии почти не употребляется. Проститутка без намерения ее оскорбить, а деловым указанием на специальность — шалашовка, бикса.
ПРОСТЯЧКА	Честная давалка. Блядь не из воровок. Не обязательно проститутка, но иногда и она, если «работает» и по душе, а не только за плату.
ПРОФРИТКА	Молодая младшая медсестра.
ПРОФУТА	Пожилая старшая медсестра.
ПРОХОДИТЬ ЗА СУХАРЯ	Получить срок заключения за чужое дело.
ПУЛЕМЕТ	Карты. Довольно редкое среди многих наименований карт.
ПУЛЬНУТЬ, ПОДВЕРНУТЬ	Разок отдаться.
ПУСТИТЬ НА ЛУНУ	Расстрелять.
ПУСТИТЬ НАЛЕВО	Также расстрелять, но и направить обходным путем. Левак — специалист по обходным делам. Не вор, но и не черт чистой воды: оттенок презрения.
ПЫЛЬ	Мука
ПЯТКА	50 рублей.

Р

РАБОТА	Квартира. Работа стоит — квартира на замке. Работу вывернул — обобрал квартиру.
РАБОТЯГА	Систематически работающий. Относится, главным образом, к работающим на тяжелых работах. Нейтральное выражение. Аналогичное трудяга — с оттенком насмешки.
РАЗБИТЬ ДУРКУ	Открыть сумку и вытащить деньги.

РАЗВЕСТИ РЕШКУ	Выломать либо разогнуть решетку.
РАЗВОД	Священнодействие вывода рабочих бригад на производственные объекты. В солидном лагере каждый развод — утренний и вечерний — длится час-два, а порой и побольше. Всех выходящих из зоны пересчитывают отдельно в каждой бригаде. То же и для возвращающихся.
РАЗДЕЛАТЬ ПОЛЕВИЧ	Разобрать пол.
РАСКИДЫВАТЬ ЧЕРНУХУ	Врать. Забивать баки, задуривать мозги. Пускать по ложному следу. Притворяться непонимающим.
РАСКРУТИТЬСЯ	Сидя в лагере, добавить себе сроку.
РАСПИСАТЬ ШИРМУ	Разрезать карман бритвой.
РАСПИСУХА	Вышитая рубаха.
РВАТЬ КОГТИ	Бежать из мест заключения.
РЕДИК	Дамская сумка.
РЕЖИМ	Начальник режима.
РЕЗИНА	Не вещь, не материал, но действия, заключающиеся в старательном бездействии. Длительное невыполнение обещания, обязательства, приказа. Тянуть резину — ничего не делать, сохраняя видимость дела. Работа должна иметь вид работы — точная формула резины. Одна из разновидностей более общего явления — показухи.
РИДУЛА	То же, что нарядчик (название встречается реже основного — нарядчик).

РОГА	Телесно не существующая, но философски реальная часть тела, которой обладают все черти (см.) и которая характеризует только их. Черти и упираются рогами (протестуют и сопротивляются), и шерудят рогами (примерный эквивалент — раскидывают мозгами). Им — при нужде — свирепо грозят: смотри, посшибаю тебе рога!
РОГАТКА	Корова.
РОМАН	Занимательный рассказ, устное повествование, реже — книга. Роман тискать— рассказывать увлекательную историю. Блатные хорошо слушают, но сами почти ничего не читают, библиотека не их стихия. Это для фрайеров — Уксус Помидорычей и Сидоров Поликарпычей
РОСПИСЬ ИЗ ПЕХИ	Вырезать из внутреннего кармана.
РУКА	Безрукий.
РЫЖЬЕ, РЫЖАЯ, РЫЖИК	Золото. Золотая вещь.

С

САДИЛЬНИК	Посадка на поезд. Держать садильник — обирать во время посадки.
САМ ЗНАЕШЬ!	Весьма многозначительное восклицание из категории тех же, что и «понял». Не просто «разъяснений не требуется», но с намеком на важные подспудные обстоятельства.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА	Живущая с одним мужчиной. Уважительный оттенок.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ МУЖЧИНА	Мало пьющий, мало лгущий, мало таскающийся по бабам. Элемент уважения.

САНЛЕПИЛО	Старший врач.
СБЛОЧИТЬ	Снять с человека вещь, отнять, ограбить. Эквивалент — погорел, крутанули. Поймали с украденным. Также во время кражи.
СВЕТИТЬ	Удаваться. Посветило — удалось
СВЕЧА	Сабля, шашка.
СВИСТЕТЬ	Разглагольствовать. Свист — болтовня. Речь.
СДАТЬ	Вариант — заложить. Предать, выдать.
СЕЛЕДКА	Галстук.
СЕРЬГА	Висячий замок.
СКАМЕЙКА	Лошадь.
СКОК	Дом. Скок с серьгой — дом на замке.
СКОКАРЬ	Квартирный вор. Он же — слесарь.
СКРИП	Корзина. Скрип с прицепом — корзина с чем-то к ней привязанным.
СКУЛА, СКУЛЕНКА	Внутренний нагрудный карман пиджака.
СКУРВИТЬСЯ	Испортиться. Только по отношению к человеку, а не к вещи. Также — отойти от воровского закона. Но если связь с администрацией, то применяется определение более резкое — ссучился.
СЛЯМЗИТЬ, СПУЛИТЬ	Украсть.
СМОЛА	Табак.
СМЫКАТЬ	Вариант — трухать. Онанировать.
СОННИК	Квартирная кража ночью через окно.
СВЕТЛЯК	В квартире спят при свете.
СОРМАК ВЯЧИТ	Деньги есть.

СОХАТЫЙ	Он же фанера, копыто, олень. Глупый, недотепа.
СОЦКИЙ	Десятник.
СРОК	Мера наказания в годах заключения. Также степень изношенности вещи. Первый срок — новое. Третий срок — тряпье, рванина. Баба первого срока — девушка.
ССУЧИТЬСЯ	Перейти из чесноков в суки. Отказаться от выполнения воровского закона.
СТАРШАК	Начальник тюремного или лагерного корпуса.
СТАРШИЙ МУСОР	Старший надзиратель. Вообще — ответственный чин в администрации (но не заключенный придурок, как бы ни было высоко его положение).
СТРЕМА	Своя охрана. Стоять на стреме — находиться на страже во время воровской операции. Наблюдать за обстановкой, следить за чем-то подозрительным. Варианты стремы — вассер, шухер, атанда, атас,— но в них больше чувствуется подозрительность и опаска.
СТИРАЛО	Шулер из блатных, но не вор. Специальность более высокая, чем обычное воровство.
СТУК	Донос. Стучать —доносить.
СТУКАЧ	Доносчик.
СУКА	Антипод чесноку (чесняку). Вор, связавшийся с милицией и тем нарушивший воровской закон. Отличается от чесноков свободой поведения — занимает лагерные административные должности, может не уплачивать карточные долги и

	т. п. Вместе с тем суки стоят один за другого корпоративно. Когда нашего коменданта зарезали чесноки и мы подбежали к нему, он прохрипел на последнем дыхании: «Передайте нашим — умираю как честный сука».
СХЛЕЩИТЬ	То же, что выкупить: украсть. Схлещил шмелишко вшивенький — украл кошелек, но денег в нем мало.
СШИБИТЬ РОГА	Переломить, напугать, заставить делать по-своему. Рога посшибаю — угроза, которую говорят лишь фрайеру или иному черту.
СЯВКИ	Молодые неопытные воры.

Т

ТАРОЧКА	Папироса.
ТЕЛЕГА	Автомобиль.
ТЕМНАЯ	Краденая вещь.
ТЕМНИЛО	Человек, который числится на работе, но ничего не делает. Умело наводящий тень на плетень.
ТЕМНИТЬ	Врать, обманывать. Не исполнять обещанного.
ТЕМНОТА	Он же чернушник. Враль, свист, надувало.
ТЕМНЯК	Свет в квартире потушен.
ТЕСТО	Подушка.
ТИХАРЬ	Шпик в штатском.
ТИХУШНИК	Вор, промышляющий утром, когда передняя открыта, а хозяева в комнате.
ТОРБА	Изолятор, ШИЗО, карцер. Иногда, но редко — трюм.
ТОРБИТЬСЯ	Сидеть в изоляторе.
ТОРГОВАТЬ	Стараться украсть.

ТОРОПЛЮСЬ, АЖ ВСПОТЕЛ	Плевал на твое предложение (или просьбу). Говорится, не шевеля ни одним членом.
ТОТ	Чрезвычайно многозначное и распространенное словцо в лагере. Утверждение высшей степени какого-либо свойства — удали, ухарства, ловкости, пронырливости, злости и т. п. Похвала, утверждение, усиление. Тот парень, понял?— человек высокого качества обсуждаемых свойств. Употребляется больше порчаками, а не блатными. Словцо, вводящее в воровской жаргон, а не из него.
ТРЕХМЕСТКА, ТРОЙКА	Тридцать рублей (три червонца).
ТРЕХСОТКА	Штрафной поек за невыполнение норм или отказ от работы. Триста граммов хлеба.
ТРУДИЛО	Прораб.
ТРУХАТЬ	Онанировать.
ТРЯПКИ	Одежда.
ТУЗ	Он же гудок. Задница.
ТУФТА	Подделка, обман. Заправлять туфту — обманывать. Туфтач — обманщик.
ТУШЕВАТЬ	Эквивалент — тормозить. Отвлекать внимание для облегчения кражи.
ТУЧА	Рынок. Преимущественно вещевой.
ТЯНУТЬ	Орать, брать на хапок.
ТЯНУТЬ ФАЗАНА	То же, что тянуть резину, но с издевательством. Почти явное пренебрежение обещания, приказа, обязательства.

У

УГОЛ	Чемодан.

УПАСТЬ	Влюбиться. Я на тебя упал — я в тебя влюблен.
УРКА	Он же уркаган. Вор.
УТЮГ	Вор, грабитель инкассаторов.

Ф

ФАЛУЕТ	Уговаривает женщину идти к нему. Вероятно, от фала — веревки, при помощи которой тянут предметы.
ФАНЕРА	Дурак, глупец, недотепа.
ФАРМАЗОН	Крупное мошенничество. Фармазонщик — крупный мошенник.
ФАРТ	Счастье, удача. Фартовый, удачливый.
ФАРЫ	Они же шнифты, буркалы, гляделки и т. д. Глаза.
ФЕНЯ	Воровской жаргон. По фене ботать,— говорить по блатному.
ФИГУРА	Пистолет, наган. Также — волына, шпалер.
ФИКСЫ	Вставные зубы.
ФИЛОН	Уклоняющийся от работы, хотя формально не отказчик. Филонить — хитро увиливать от труда.
ФИТИЛЬ	Доходяга.
ФОМИЧ, ФОМКА	Ломик. Железный предмет, годящийся для взлома замка.
ФОРТ	Форточка.
ФОФАН	То же, что фанера. Остолоп.
ФРАЙЕР, ФРЕЙ	Вольный — преимущественно из интеллигенции. Но и заключенный из интеллигентов. Порода «чертей», отличающаяся особенной наивностью. Кто самой природой приспособлен к тому, чтобы его бессовестно облапошивали.
ФРАЙЕРНУТЬСЯ	Допустить промах.

ФРЕЙ ШУРУЕТСЯ	Фрайер чувствует, что его обворовывают. Беспокоиться.
ФРЕНЧ, ФРЕНЧИК	Пиджак.
Х	
ХАВАЛО, ХАВАЛЬНИК	Рот.
ХАВАТЬ	То же, что шавкать. Есть, кушать.
ХАЙЛО	Оно же мурло, харя, морда. Лицо. Оттенок пренебрежения и недоброжелательства.
ХАЛЯВА	Эквивалент — шалава. Воровка.
ХАНА	Конец. Гибель. Хана нам — пропали!
ХАНОЧНИК	Алкоголик из безнадежных.
ХАТА, ХАЗА	Квартира.
ХЕВРА	Компания людей. Преимущественно «своих в доску»
ХЕЗАТЬ	Оправляться «по большому».
ХИЛЯТЬ	Идти, брести. Прихилять — придти, явиться.
ХИПИШ	Шум. Смятение.
ХЛЕБАТЬ	Проходить по делу. Сказываться в яви.
ХЛЕБАТЬ ЗА ЦИНКУ	Отвечать за своих, проходить по их делу.
ХОБОТ	Он же лоб, здоровяк. Иногда — шея.
ХОВИРА	Укромная квартира. Жилье для своих.
ХОЗЯИН	Большой начальник — тюрьмы, лагеря и т. д. Для придурков и стукачей оперуполномоченный — хозяин.
ХРУСТ	Рубль.
Ц	
ЦЕНТР	Хорошая вещь.

ЦЕПУРА	Цепочка.
ЦИЛИНДРА	Шляпа.

Ч

ЧАЙНИК	Триппер. Наварить чайник — заболеть триппером.
ЧАЛИТЬСЯ	Сидеть в тюрьме.
ЧЕЛОВЕК	Авторитетный вор.
ЧЕРДАК	Наружный грудной карман.
ЧЕРНУШНИК	Враль. Свистун.
ЧЕРТ	Всякий, не принадлежащий к воровскому миру. В слове оттенок недоброжелательства. Черт чистой воды — первозданный фрайер, отличающийся наивной доверчивостью и непростительной порядочностью. Черт мутной воды — фрайер с наклонностью к жульничеству, комбинатор, ловкач.
ЧЕТВЕРТАК	25 рублей.
ЧЕСНОК, ЧЕСНЯК	Вор в законе.
ЧИФИРЬ	Начерно крепкий чай. Пьют, чтобы одуреть. Эквивалент пьянства. Легкая форма наркомании.
ЧИФИРИТЬ	Накачиваться до одурения крепчайшего чайного пойла.

Ш

ШАЛАВА	Воровка. Также и проститутка.
ШАЛАШОВКА	Проститутка.
ШАЛМАН	Притон. Шумное сборище.
ШАРАБАН	Также кумпол, котелок. Голова.
ШАРАШКА, ШАРАГА.	Место работы, где отлично можно не работать. Учреждение для энергичного ничегонеделания: мощная деятельность без полезной отдачи. Воры пренебрежительно называют

	шарагами и закрытые учреждения,где заключенные производят какие-то специальные работы: припухают в шарашкиной фабрике.
ШАХТЕР	У воров в законе самое страшное ругательство. Крепче любого мата. После выпада: «Ты, шахтер!»— надо бросаться в драку. Словами такое оскорбление не смыть. Вероятно, сказывается страх подземелий, как тюрьмы sui generis. И еще то, что в ворах много от крестьянства (в частности, многие — дети раскулаченных). И тот, кто способен профессионально работать под землей — ниже всех воровских моральных критериев.
ШЕЛЬМА	Шинель.
ШЕПЯТНИК	Вор куриц, гусей и пр.
ШЕРУДИТЬ РОГАМИ	Обмозговать, размышлять, задумываться.
ШЕСТЕРИТЬ	Быть в услужении, холуйствовать.
ШЕСТЕРКА	Слуга, холуй.
ШИЗО	Штрафной изолятор. Карцер, пердильник, трюм.
ШИПЕТЬ	Ругаться.
ШИРМА	Боковой карман в брюках.
ШИРМАЧ	Он же щипач. Карманник. Из мелких воровских профессий.
ШКАРЫ, ШКЕРЫ	Брюки.
ШКЕТ	Малыш.
ШМАЛЯТЬ	Стрелять.
ШМЕЛЬ	Кошелек.
ШМОН	Обыск.
ШМУРАК	Сопляк.
ШНИФТ	Окно. Глаз. Шнифт выстеклить — выставить окно.

ШНИФЯРА	Одноглазый.
ШНУРИТЬ	Душить. Шнурнули — задушили.
ШПАНА	Сомнительное сборище, трущееся около воров. Эквивалент — хевра.
ШТЕВКАТЬ	Есть.
ШПИЛЕВОЙ	Картежник.
ШТОПОРИЛО	Ночной вор. Также дневной грабитель из нахальных, дерзких. Вообще штопорить — грабить.
ШТРУНДЯ	Медсестра.
ШТУКА	1000 рублей. Она же — косая.
ШТЫМП	Он же фрайер. Простак. Вообще человек. Штымповатый — простоватый.
ШУГАТЬ	Отгонять.
ШУЛЮПКА	Баланда.
ШУТИЛЬНИК	Палка. Метелить шутильником — бить палкой.
ШУХЕР	Смятение, суматоха, волнение в толпе.

Ю

ЮРЦЫ	Нары.

Я

ЯМЩИК	Скупщик краденых вещей.
ЯРМО	Срок заключения. Заярмиться по новой — получить новый срок.

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «П Р О С В Е Т»

Серия «Преступление и наказание в мировой практике» знакомит читателя с историей тюрем и лагерей, каторги и ссылки, криминального мира и полицейского сыска. Огромная сфера человеческого бытия, зловещая и трагическая, но близко касающаяся, увы, слишком многих... Она предстает на страницах этих книг в истинном, неприкрашенном и поэтому особенно волнующем виде.

В 1992—1993 гг. из печати выйдут:

С. СНЕГОВ. Язык, который ненавидит.
Ж. РОССИ. Справочник по ГУЛАГу. В двух томах.
Я. ШПРЕНГЕР, Г. ИНСТИТОРИС. Молот ведьм.
Д. Г. БЕРТРАМ. История розги. В двух томах.
Н. ЕВРЕИНОВ. История телесных наказаний в России.
Я. КАНТОРОВИЧ. Средневековые процессы о колдовстве.
В. ДОРОШЕВИЧ. Сахалин.
И. СОЛОНЕВИЧ. Россия в концлагере.
П. ЩЕГОЛЕВ. Охранники, агенты, палачи.
Ванька Каин (сборник).
Подлинное описание жизни французского мошенника Картуша.
Ф. БРЕНТАНО. Бастилия. Ее архивы и легенды.
Железная маска. Двухсотлетняя тайна. Антология.
Злодеяния Робеспьера.
Ф. ВОЛЬТЕР. Парижский террор.
В. ДИКСОН. Тауэр.
И. ФРАНК. Людоедство.
Убийства и убийцы.
Смертная казнь: против и за.
И. МАЛИНОВСКИЙ. Кровная месть и смертная казнь.
И другие.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «П Р О С В Е Т»

Жак Росси. СПРАВОЧНИК ПО ГУЛАГУ

Выдающийся французский политолог и лингвист, приехавший в СССР по путевке Коминтерна, Жак Росси провел в сталинских лагерях, тюрьмах и ссылках с 1937 по 1961 год. Его «Справочник по ГУЛАГу» (Лондон, ОПИ, 1987), труд всей жизни,— воплощение тягостного народного опыта этих роковых десятилетий.

«Справочник» Росси — исчерпывающей полноты толковый словарь советских лагерно-тюремных терминов. В нем по алфавитному порядку приведены не только слова и выражения, но и географические названия, имеющие отношение к ГУЛАГу.

Все, о чем писали А. Солженицын, В. Шаламов и другие, сконцентрировано, спрессовано в «Справочнике». Метод Ж. Росси беспристрастно знакомит нас с жаргоном блатных и надзирателей, политзаключенных и официальных лиц, правительственных документов. Превосходно подобранные примеры использования ненормативной лексики ставят книгу в один ряд с работами Даля и Бодуэна де Куртенэ. Однако, читая «Справочник», мы с ужасом постигаем, что лагерный жаргон зачастую лежит в основе нашей повседневной речи, он прочно въелся в стихию родного языка и мышления. И труд Росси стал, таким образом, ключом к нашей современной истории.

«Справочник» рассчитан на широкие круги культурных читателей, а также на специалистов — филологов, психологов, историков. Его второе, дополненное издание выходит в 2-х книгах, ориентировочной стоимостью до 33 рублей за комплект. Отличным дополнением к «Справочнику» Росси служит одновременно выходящая книга его солагерника, писателя Сергея Снегова, «Язык, который ненавидит». (1 квартал 1992 г.)

Ориентировочная цена: Росси — 35 р.
Снегов — 10 р.

**Оптовые
и розничные
заказы на литературу,
издаваемую «Просветом»,
направляйте по адресу:
115142, Москва, а/я № 1**

С 53 Сергей Александровнч Снегов. Язык, который ненавиднт.— М.: Просвет, 1992.—224 стр.—(Преступление н наказанне в мировой практнке).

ISBN 5-86068-005-8 ББК 81.2

В оформленнн нспользован рнсунок Ж. Россн.

Председатель редакцнонного совета *А. Н. Севастьянов*
Художннк *С. С. Водчиц*
Техннческнй редактор *А. М. Токер*
Корректор *Т. Л. Сологуб*

Подписано в печать 30.01.1992. Формат $60 \times 84^1/16$. Бумага офсетная. Гарннтура Лнтературная. Печать офсетная. Условн. печ. л. 12,55.

Издательство «Просвет», 117334, Москва, Ленннский пр-т, 36. Для корреспонденцнн: 115142, Москва, а/я № 1.

Зак. 3931—91/12 ЦТ МО



В СЕРИИ "ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ" ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ КНИГИ: ЖАК РОССИ "СПРАВОЧНИК ПО ГУЛАГУ", П.Е. ЩЕГОЛЕВ "ОХРАННИКИ, АГЕНТЫ, ПАЛАЧИ", ВЛАС ДОРОШЕВИЧ "САХАЛИН" И ДРУГИЕ.

ПРОСВЕТ